

ISSN 2073-6681

2019

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ

Том 11. Выпуск 3



ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

PERM STATE UNIVERSITY

Volume 11. Issue 3

PERM UNIVERSITY HERALD
RUSSIAN AND FOREIGN PHILOLOGY

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Редакционный совет

Александрова О. В., д. филол. н., проф. (Россия, МГУ)
Балина М., д-р, проф. (США, ун-т Иллинойс Везлиан)
Березович Е. Л., д. филол. н., проф. (Россия, УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина)
Богданова-Бегларян Н. В., д. филол. н., проф. (Россия, СПбГУ)
Буле О., д-р, доц. (Нидерланды, ун-т Лейдена)
Вендина Т. И., д. филол. н., проф. (Россия, Москва, Институт славяноведения РАН)
Войтак М., д-р, проф. (Польша, Люблинский ун-т)
Ерофеева Т. И., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Котельников В. А., д. филол. н., проф. (Россия, СПб., Институт русской литературы РАН)
Краузе М., д-р, проф. (Германия, ун-т Гамбурга, Институт славистики)
Мызников С. А., д. филол. н., проф. (Россия, СПб., Институт лингвистических исследований РАН)
Овчинникова И. Г., д. филол. н., проф. (Израиль, ун-т Хайфы; Россия, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова)
Полякова Е. Н., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Рут М. Э., д. филол. н., проф. (Россия, УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина)
Савкина И., д-р, проф. (Финляндия, ун-т Тампере)
Саксена Р., д-р, проф. (Индия, ун-т Дели)
Ушакова О. М., д. филол. н., доц. (Россия, ТюменГУ)
Фэвр-Дюпэр А., д-р, доц. (Франция, ун-т Пуатье)
Чернявская В. Е., д. филол. н., проф. (Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)

Редакционная коллегия

Новокрещенных И. А. (гл. ред.), к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Русинова И. И. (зам. гл. ред.), к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Шутёмова Н. В. (зам. гл. ред.), д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Абашев В. В., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Абашева М. П., д. филол. н., проф. (Россия, ПГТГУ)
Алексеева Л. М., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Арустамова А. А., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Баженова Е. А., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Боронникова Н. В., к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Бочкарёва Н. С., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Братухин А. Ю., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Бурдина С. В., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Данилевская Н. В., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Дускаева Л. Р., д. филол. н., доц. (Россия, СПбГУ)
Ерофеева Е. В., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Кондаков Б. В., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Кочкарева И. В., к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Кушнина Л. В., д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)
Мишланов В. А., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Нестерова Н. М., д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)
Подюков И. А., д. филол. н., проф. (Россия, ПГТГУ)
Проскурнин Б. М., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Серова Т. С., д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)

Адрес учредителя и издателя: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15.

Адрес редакции: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 (Факультет современных иностранных языков и литератур, Филологический факультет). E-mail: langlit2009@mail.ru.

Сайт журнала: <http://press.psu.ru/index.php/philology>. Администратор сайта А. В. Пустовалов, контент-редактор англоязычной версии сайта Е. В. Исаева.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС 77-66482 от 14.07.2016 г.

Издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (10.01.01 – Русская литература, 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы), 10.01.08 – Теория литературы. Текстология, 10.01.09 – Фольклористика, 10.01.10 – Журналистика, 10.02.01 – Русский язык, 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи), 10.02.03 – Славянские языки, 10.02.04 – Германские языки, 10.02.14 – Классическая филология, византийская и новогреческая филология, 10.02.19 – Теория языка, 10.02.20 – Сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное языкознание, 10.02.21 – Прикладная и математическая лингвистика).

Founder: Perm State University

Editorial Council

Olga Aleksandrova (Russia, Moscow State University)
Marina Balina (USA, Illinois Wesleyan University)
Elena Berezovich (Russia, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin)
Natalya Bogdanova-Beglarian (Russia, Saint Petersburg State University)
Otto Boele (Netherlands, Leiden University)
Tatyana Vendina (Russian Academy of Sciences, Moscow, Institute of Slavic Studies)
Maria Voytak (Poland, Lublin University)
Tamara Erofeeva (Russia, Perm State University)
Vladimir Kotelnikov (Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Institute of Russian Literature)
Marion Krause (Germany, University of Hamburg, Institute for Slavic Studies)
Sergey Myznikov (Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Institute of Linguistic Studies)
Irina Ovchinnikova (Israel, University of Haifa; Russia, I. M. Sechenov First Moscow State Medical University)
Elena Polyakova (Russia, Perm State University)
Mary Rut (Russia, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin)
Ranjana Saxena (India, University of Delhi)
Irina Savkina (Finland, University of Tampere)
Olga Ushakova (Russia, Tyumen State University)
Anne Faivre Dupaigne (France, University of Poitiers)
Valeriya Chernyavskaya (Russia, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University)

Perm Editorial Board

<i>Irina Novokreshchennykh</i> – <i>Editor-in-Chief</i> (Perm State University)	<i>Natalya Danilevskaya</i> (Perm State University)
<i>Irina Rusinova</i> – <i>Associate Editor</i> (Perm State University)	<i>Liliya Duskaeva</i> (Saint Petersburg State University)
<i>Natalya Shutemova</i> – <i>Associate Editor</i> (Perm State University)	<i>Elena Erofeeva</i> (Perm State University)
<i>Vladimir Abashev</i> (Perm State University)	<i>Boris Kondakov</i> (Perm State University)
<i>Marina Abasheva</i> (Perm State Humanitarian- Pedagogical University)	<i>Irina Kochkareva</i> (Perm State University)
<i>Larissa Alekseeva</i> (Perm State University)	<i>Ludmila Kushnina</i> (Perm National Research Polytechnic University)
<i>Anna Arustamova</i> (Perm State University)	<i>Valeriy Mishlanov</i> (Perm State University)
<i>Elena Bazhenova</i> (Perm State University)	<i>Natalya Nesterova</i> (Perm National Research Polytechnic University)
<i>Natalya Boronnikova</i> (Perm State University)	<i>Ivan Podyukov</i> (Perm State Humanitarian- Pedagogical University)
<i>Nina Bochkareva</i> (Perm State University)	<i>Boris Proskurnin</i> (Perm State University)
<i>Alexandr Bratukhin</i> (Perm State University)	<i>Tamara Serova</i> (Perm National Research Polytechnic University)
<i>Svetlana Burdina</i> (Perm State University)	

Address of the founder and publisher: 15, Bukireva st., Perm, 614990, Perm Krai

Address of the editorial office: 15, Bukireva st., Perm, 614990, Perm Krai
(Faculty of Modern Languages and Literatures, Faculty of Philology). E-mail: langlit2009@mail.ru

Web-site of the journal: <http://press.psu.ru/index.php/philology>

Site administrator A. V. Pustovalov, content editor of the English version of the site E. V. Isaeva

СОДЕРЖАНИЕ

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО	5
Белюсов К. И., Обухова И. А. ВЛИЯНИЕ ПОЛА И САМООЦЕНКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМОТИКОНОВ И ЭМОДЗИ В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ	5
Гайдамашко Р. В. МАТЕРИАЛЫ К ЭТИМОЛОГИИ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО СЛОВА «БИЧУЛЬ» ‘КЛУБНИКА’	19
Гранова М. А. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ПОСЕЛКА СЕВЕРНЫЙ КОММУНАР СИВИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДОВОМОВЕ	27
Колмогорова А. В., Вдовина Л. А. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЭМОЦИЙ В КАЧЕСТВЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕКСТОВ	38
Малькова Я. В. СОПЕРНИЧЕСТВО В ЛЮБВИ В ЗЕРКАЛЕ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ (на материале говоров Русского Севера)	47
Нестерова Н. М., Аристова Е. А., Протопопова О. В. АФФИКСАЛЬНЫЕ ЭМОТИВЫ В СКАЗАХ П. БАЖОВА И ИХ ПЕРЕВОД	57
Свалова Е. Н. ЗАПРЕТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ В РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕРМСКОГО СТАРООБРЯДЧЕСТВА	71
Ягафарова Л. Т. КОНЦЕПТ «ЛЕЙБЛ» В СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТОСФЕРЫ «МОДА» МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА	80
ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ	86
Ажель Ю. П. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОСПРИЯТИЯ ТВОРЧЕСТВА БЕНДЖАМИНА ДИЗРАЭЛИ В РОССИИ 1840–1915 гг.: К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА	86
Бячкова В. А. СМЕРТЬ РЕБЕНКА КАК СЮЖЕТНЫЙ ХОД В ВИКТОРИАНСКОМ РОМАНЕ	96
Голубицкая Н. В. SIMULTANEITÀ, SIMULTANÉISME, SIMULTANÉITÉ: КОНЦЕПЦИЯ СИМУЛЬТАННОСТИ И ЕЕ МОДИФИКАЦИИ В АВАНГАРДИСТСКОЙ ЭСТЕТИКЕ	111
Григоровская А. В. ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА ГЕНРИ ФОРДА В РОМАНАХ Э. СИНКЛЕРА «АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОРОЛЬ» И АЙН РЭНД «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ»	123
Синило Г. В. МОТИВЫ ЭККЛЕСИАСТА И ПЕСНИ ПЕСНЕЙ В ПОЭЗИИ И. К. ГЮНТЕРА (к вопросу о библейской архетекстуальности)	131

CONTENTS

LANGUAGE, CULTURE, SOCIETY	5
Belousov K. I., Obukhova I. A. THE INFLUENCE OF SEX AND SELF-ESTEEM OF SOCIAL MEDIA USERS ON THE USE OF EMOTICONS AND EMOJI IN SPEECH COMMUNICATION	5
Gaidamashko R. V. MATERIALS TO ETYMOLOGY OF THE KOMI-PERMYAK WORD «BICHUL'» ('STRAWBERRY')	19
Granova M. A. MYTHOLOGICAL TRADITION OF THE SEVERNY KOMMUNAR VILLAGE (SIVINSKY DISTRICT, PERM REGION): IDEAS AND BELIEFS ABOUT THE HOUSEHOLD SPIRIT	27
Kolmogorova A. V., Vdovina L. A. LEXICAL AND GRAMMATICAL MARKERS OF EMOTIONS AS PARAMETERS FOR SENTIMENT ANALYSIS OF INTERNET TEXTS IN RUSSIAN	38
Malkova Ya. V. REFLECTION OF LOVE RIVALRY IN DIALECT LEXIS (Based on Examples from the Russian North Dialects)	47
Nesterova N. M., Aristova E. A., Protopopova O. V. EMOTIVE AFFIXES IN PAVEL BAZHOV'S TALES AND WAYS OF THEIR TRANSLATION	57
Svalova E. N. EVERYDAY PROHIBITIONS AND PRESCRIPTIONS IN THE SPEECH CULTURE OF THE PERM OLD BELIEVERS	71
Yagafarova L. T. THE CONCEPT 'LABEL' IN THE STRUCTURE OF THE CONCEPTOSPHERE 'FASHION' OF THE POPULAR 20 th CENTURY LITERATURE	80
LITERATURE IN THE CULTURAL CONTEXT	86
Azhel Yu. P. MAIN PERIODS IN THE RECEPTION OF BENJAMIN DISRAELI'S FICTION IN RUSSIA, 1840–1915: PROBLEM STATEMENT	86
Byachkova V. A. THE DEATH OF A CHILD AS A PLOT DEVICE IN THE VICTORIAN NOVEL	96
Golubitskaya N. V. SIMULTANEITÀ, SIMULTANÉISME, SIMULTANÉITÉ: CONCEPTION OF SIMULTANEITY AND ITS MODIFICATIONS IN THE AVANT-GARDE AESTHETICS	111
Grigorovskaya A. V. THE INTERPRETATIONS OF HENRY FORD'S IMAGE IN U. SINCLAIR'S NOVEL 'THE FLIVVER KING' AND AYN RAND'S NOVEL 'ATLAS SHUGGED'	123
Sinilo G. V. THE MOTIFS OF 'ECCLESIASTES' AND 'THE SONG OF SONGS' IN J. CHR. GÜNTHER'S POETRY (on the Issue of Biblical Archetextuality)	131

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО

УДК 81'33

doi 10.17072/2073-6681-2019-3-5-18

ВЛИЯНИЕ ПОЛА И САМООЦЕНКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМОТИКОНОВ И ЭМОДЗИ В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ¹

Константин Игоревич Белоусов

д. филол. н., профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. belousovki@gmail.com

SPIN-код: 3300-9167

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4447-1288>

ResearcherID: A-4891-2016

Ирина Андреевна Обухова

магистрант, инженер-исследователь лаборатории прикладных

и экспериментальных лингвистических исследований

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. ireneobukhova@gmail.com

SPIN-код: 9448-2814

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7574-7833>

ResearcherID: V-5985-2019

Статья поступила в редакцию 14.05.2019

Про́сьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Белоусов К. И., Обухова И. А. Влияние пола и самооценки пользователей социальной сети на использование эмодзи и эмодзи в процессе речевой коммуникации // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 5–18. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-5-18

Please cite this article in English as:

Belousov K. I., Obukhova I. A. Vliyanie pola i samootsenki pol'zovateley sotsial'noy seti na ispol'zovanie emotikonov i emodzi v protsesse rechevoy kommunikatsii [The Influence of Sex and Self-Esteem of Social Media Users on the Use of Emoticons and Emoji in Speech Communication]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 3, pp. 5–18. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-5-18 (In Russ.)

В исследовании ставится проблема поиска взаимосвязи социально-психологических характеристик с речевым поведением пользователей социальных сетей. Комплексное описание пользователей социальных сетей основывается на моделях интеграции социального, поведенческого, психологического и речевого компонентов профилей пользователей. Пол информантов и уровень их самооценки в данной статье выступают в качестве социально-психологических параметров; графический аспект собранного корпуса текстов (эмодзи и эмодзи) рассматривается в качестве параметра речевого поведения пользователей. Материал исследования представляет собой обезличенные данные профилей 299 участников психологического опроса по установлению уровня самооценки личности и их тексты (комментарии) в социальной сети ВКонтакте (<https://vk.com>). Пользовательский контент собирался автоматизированно с помощью API социальной сети. Общий объем контента составил 19179 комментариев.

Экспертный анализ графических средств (эмодзи и эмодзи) пользовательского контента осуществлялся в информационной системе «Семограф» (<https://semograph.org>). На основании библиотек эмодзи и эмодзи, собранного речевого материала и с учетом существующих теорий эмоций

был разработан классификатор эмодзи и эмодзи, включающий 15 рубрик (категорий). Классификатор использовался для разметки пользовательского контента и последующей генерации результатов исследования соответствий графических (эмодзи и эмодзи) средств, параметров самооценки и пола информантов. В частности, были выявлены: частотность обращения пользователей социальной сети к выделенным категориям эмодзи и эмодзи, зависимости между использованием тех или иных категорий и уровнем самооценки у мужчин и женщин; определено влияние пола на речевое поведение информантов с разным уровнем самооценки. Было установлено, что на обращение в сетевом общении к графическим средствам ряда выделенных категорий влияние пола оказывается более значимым, нежели психологические свойства личности.

Ключевые слова: социальные сети; сетевая коммуникация; эмодзи; эмодзи; самооценка личности; пол; ИС «Семограф».

1. Эмодзи и эмодзи в контексте расширяющегося арсенала средств электронной коммуникации

Эмодзи и эмодзи принято рассматривать в качестве графических знаков, способных выражать эмоции, мимику и настроение пользователей в интернет-коммуникации. Они претендуют выполнять роль невербальных средств такой коммуникации, передающих совместно с вербальными средствами смысловую информацию в составе сообщения. Ср.: «Эмодзи – это пиктограммы, изображающие эмоции; графические знаки, относящиеся к паралингвистическим средствам письменной речи, не отображающие графические, лексические и другие стороны языка, но сопутствующие им с целью конкретизации и дополнения смысла высказывания» [Академик: электронный словарь]. «Эмодзи – это знаки эмоций <...> визуальные представления мимики, используемые <...> с целью показать настроение или эмоции пользователя» (перевод наш. – К. Б., И. О.) [Antonijevic 2005: 1]. Эмодзи символизируют не только эмоции; по мере своего развития они начали отображать социально-культурную атрибутику повседневной деятельности. «Эмодзи <...> обычно представляют собой цветное изображение, введенное в текст. Они могут символизировать лица, погоду, транспортные средства или здания, продукты питания или напитки, растения или животных, а также чувства или действия» [Весна 2017: 10]. Эмодзи используются в электронных сообщениях для выражения идеи или эмоции [Дубровская 2016]. «Эмодзи становятся способом невербального общения. <...> Они выполняют ту же роль, что и тон голоса при разговоре по телефону или жесты и выражение лица при личном общении» [там же: 102]. Помимо сходства эмодзи и эмодзи с мимикой часто отмечают их сходство с жестами (см.: [Amaglobeli 2012; Feldman 2017; Дубровская 2016; Комлев 2006]).

Таким образом, эти графические средства сопровождают вербальную часть сообщения, образно дополняют смысл высказывания и уточняют его экспрессивно-интонационную окраску,

становятся все более значимой частью арсенала средств вербальной электронной коммуникации. Их широкое использование проявляется и в постоянно расширяющемся наборе данных графических средств, а также в инструментах автоматизированной замены знаков естественного языка на эмодзи и эмодзи в современных мессенджерах.

С расширением влияния «графического письма» на электронную коммуникацию возникает много вопросов, в том числе вопрос о влиянии психологических черт личности на использование эмодзи и эмодзи. В данной статье рассматривается обращение к эмодзи и эмодзи при написании текстов социальной сети ВКонтакте пользователями с разной самооценкой.

2. Дизайн исследования

Представленные в статье результаты являются частью большого научного проекта, дизайн которого приведен на рис. 1. Проект посвящен изучению взаимосвязи речевых и неречевых параметров пользователей социальных сетей на основе многопараметрического анализа речевого поведения, социальных параметров и психологических характеристик личности. Комплексное описание пользователей социальных сетей основывалось на моделях интеграции социального, поведенческого, психологического и языкового компонентов профилей пользователей. В качестве социальных параметров рассматривалась информация из профиля пользователя (пол, возраст, образование, сфера интересов, социальное окружение и др.); в качестве поведенческих – предпочтения (например, отмеченные как понравившиеся публикации и другие материалы, размещаемые в сети) и т. п. Психологические параметры выявлялись в результате психологических опросов, а языковые – на основе анализа комментариев пользователей. В качестве психологических опросников использовались русская версия «Вопросника Большой Пятерки» (BFI – Big Five Inventory) [Shchebetenko 2017] и метода экспертных и самоотчетных показателей для выявления уровня самооценки [Вайнштейн, Щебетенко 2014].

Первый этап исследования заключался в проведении психологического опроса по установлению уровня самооценки личности информантов. В опросах, которые проводил С. А. Щебетенко, участвовали студенты одного из российских университетов². Опрос проводился в лаборатории; форма опроса – письменное анкетирование в группах от 8 до 25 человек. Участников просили указать в бланке вопросника свои имя, фами-

лию и адрес электронной почты. Эта информация впоследствии использовалась для поиска профилей в ВКонтакте.

Участникам сообщалось, что они могут отказаться от участия в исследовании, чем воспользовалось менее 1 % предполагаемых информантов. Участникам гарантировалась анонимность. Идентификаторы черт не передавались каким-либо третьим лицам, включая авторов данной статьи.

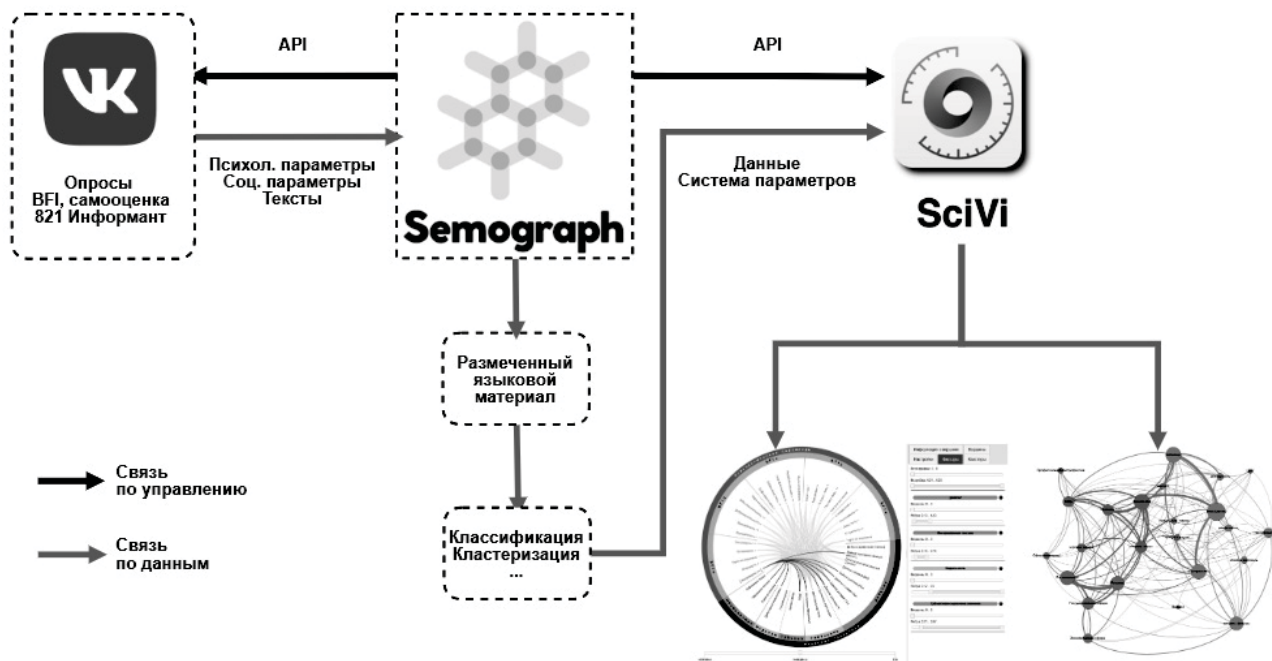


Рис. 1. Дизайн исследования
Fig. 1. Study Design

Второй этап – сбор данных (социальные параметры, тексты комментариев) участвовавших в опросе пользователей социальной сети ВКонтакте. Автоматический сбор информации из социальной сети ВКонтакте осуществлялся с помощью API – программного интерфейса этой социальной сети. API позволяет получать информацию из базы данных с помощью HTTP-запросов к соответствующему серверу. Стандартные средства API ВКонтакте при определенных условиях позволяют собирать данные из профилей пользователя, однако не предоставляют возможности получить все его комментарии при помощи одного запроса. Эта проблема решается путем автоматического перебора комментариев к записям на личных страницах пользователя и его друзей, а также проверкой их авторства.

После сбора лингвистических данных они были объединены с показателями активности, социальными характеристиками, данными черт личности и показателями самооценки пользователей в одну матрицу, после чего идентификаторы были удалены из матрицы, а строки рандоми-

зированы. Таким образом, материал был полностью обезличен.

Всего информантов, принявших участие в психологическом опросе, – 821 человек. Однако у 522 информантов (64 %) не было ни одного написанного ими текста в соцсети ВКонтакте. Поскольку эти пользователи не предоставили материала для исследования, они не вошли в число испытуемых. Таким образом, общий объем материала составил 19179 автоматизированно собранных реплик 299 пользователей, прошедших психологический опрос: 93 мужчины (31 %) и 206 женщин (69 %).

На третьем этапе осуществлялся экспорт таблицы в ИС «Семограф» [Belousov 2017] и последующая экспертная классификация реплик. Для анализа речевого поведения пользователей соцсети был разработан многоуровневый классификатор, учитывающий такие языковые параметры, как дейктические показатели, модальность, субъективно-оценочные значения, использование эмодиконов, бранной лексики и др. Процедура классификации состояла в приписывании

каждой реплики к определенным ячейкам классификатора (полям) на основании представленности в данной реплике определенного языкового параметра и / или общей семы. Одна и та же реплика могла быть приписана к нескольким полям классификатора при условии, если реплика включала в себя сразу несколько лингвистических единиц, обладающих разными признаками (например, дейксис, просторечие, эмотикон «удивление» и др.). Созданный классификатор представляет собой часть размеченного корпуса текстов «Речевые и неречевые параметры пользователей социальной сети» [Речевые и неречевые...]. В данной статье рассмотрены результаты одной «ветки» классификатора – эмотиконы и эмодзи, используемые в качестве графических средств, способных транслировать эмоциональную составляющую высказывания.

На четвертом этапе результаты полевого анализа реплик информантов обрабатывались с помощью встроенного в ИС «Семограф» инструментария, который позволяет автоматически вычислить объемы выделенных полей, создать семантическую карту, отражающую совместную встречаемость полей в репликах, и т. д.

Последний этап – визуализация полученных результатов. Результаты могут экспортироваться в систему визуального анализа SciVi [Рябинин и др. 2017], где они, в частности, представляются в виде вероятностного графа, позволяющего выявлять связи между социально-психологическими характеристиками информантов и их речевыми параметрами. Для визуального анализа

связи между языковыми и неязыковыми параметрами пользователей в зависимости от пола информантов могут использоваться также традиционные графические средства (графики, гistogramмы и др.).

3. Психологические параметры информантов

Для каждого информанта вычислялись показатели по шкале «самооценка личности». Эта психологическая характеристика описывается с помощью шкалы проявления двух противопоставленных признаков, вычисляемых на основе данных математического ожидания (M) и стандартного отклонения (SD): значимое проявление признака ($M \pm SD$), «0» – признак не выражен. Например, самооценка личности информанта может описываться как завышенная самооценка («самооценка+» – $M + SD$), или заниженная самооценка («самооценка-» – $M - SD$), или адекватная самооценка («0»). Значения математического ожидания (M) и стандартного отклонения (SD) для шкалы «самооценка личности»: $M = 3.06$, $SD = 0.44$.

Таким образом, было выделено 3 уровня самооценки личности (заниженная, адекватная, завышенная); по каждому уровню самооценки было сформировано по две выборки, учитывающие пол информантов. Объемы выборок информантов представлены в табл. 1. Относительные значения (преобразованы в проценты) вычислялись для каждой выборки отдельно для возможного сопоставления их параметров.

Таблица 1 / Table 1

Объем выборок информантов
Samples of Informants

Название выборки	Женщины		Мужчины	
	“Самооценка-”	44	21,4 %	10
“Самооценка”	137	66,5 %	68	73,1 %
“Самооценка+”	25	12,1 %	15	16,1 %
Итого	206	100 %	93	100 %

4. Создание классификатора эмотиконов и эмодзи (параметры речевого поведения)

Классификация эмотиконов и эмодзи выполнена в ИС «Семограф» по двум основным признакам – семантическому и формальному; авторами будет подробно рассмотрена семантическая классификация, поскольку именно она представляет наибольший интерес.

Идея создания семантической классификации эмотиконов и эмодзи, в основу которой положен эмоциональный признак, напрямую связана с толкованием самих терминов. Поскольку исследователи понимают под эмотиконами и эмодзи знаки, отображающие эмоции, чувства, мимику и

жесты, как универсальный способ отражения эмоций, в основу нашей классификации были положены: 1) основные эмоции человека и 2) мимические и жестовые проявления, т. е. конкретная форма выразительных действий, отражающая переживаемые эмоции.

В настоящее время существует множество электронных библиотек эмотиконов и эмодзи, позволяющих найти сведения о значениях изучаемых нами графических средств, в частности: интернет-словарь Netlingo (<https://www.netlingo.com>), интернет-сообщество MustGet (<https://mustget.ru/>), коллекция японских каомодзи (<http://kaomoji.ru/>), WhatsApp-коллекция эмодзи ([8](https://www.emoji-</p>
</div>
<div data-bbox=)

world.ru/), энциклопедия эмодзи Emojipedia (<https://emojipedia.org>) и классификации эмотиконов, предложенные интернет-энциклопедией «Википедия» (<https://ru.wikipedia.org>).

При разработке семантической классификации эмотиконов и эмодзи упор в первую очередь делался на данные собранного корпуса текстов; также учитывались психологические работы, в которых представлены различные основания классификаций эмоций [Виллонас 1986; Додонов 1978; Изард 1980, 2000; Ильин 2001; Леонтьев 1971; Симонов 1983; Ekman 1973; Plutchik 1966; Woodworth, Schlosberg 1955].

На основе существующих классификаций эмоций в собранном материале были выделены 15 эмоциональных категорий (полей) эмотиконов и эмодзи (табл. 2). Отметим, что классификацию составили первичные и вторичные эмоции (любовь), чувства (чувство вины) и физические состояния (безразличие, смущение, задумчивость), а также конкретные действия (подмигивать, благодарить). Существование такой разнородной классификации можно объяснить особенностью самого материала, т. е. активным использованием в электронной коммуникации данных знаков для выражения своего эмоционального состояния.

Таблица 2 / Table 2

Категории эмотиконов и эмодзи Emoticon and Emoji Categories

Категория	Интегральный признак	Частотность реплик в корпусе	Примеры эмотиконов и эмодзи
радость	веселое настроение и счастье, чувство удовлетворения и удовольствия	10 877	=))) ^_^ ;) xD :3 :D 😊 😄 😁 😂 😃
любовь (флирт)	глубокая привязанность, расположение, симпатия к кому-либо или чему-либо; влечение и флирт; склонность, тяготение, страсти, предпочтение к чему-либо	2 008	:* =))** =* 😍 ❤️ ❤️ 😘 🍷 🐱
печаль	чувство грусти, скорби, состояние душевной горечи; то, что печалит и вызывает беспокойство	276	=(:C (((:(😞 😓 😔 😖
подмигивание (намек)	предупреждение о чем-либо, обращение внимания, намек на что-либо	134	😉
сарказм / ирония	тонкая, скрытая насмешка либо язвительная насмешка (едкая ирония)	97	😏 😬
удивление	состояние, вызванное сильным впечатлением от чего-нибудь; то, что является неожиданным, странным или непонятным	79	O_o :0 oO @_@ o_O :O 😲
одобрение	позитивная оценка своих действий или действий окружающих	54	👍 🙌
благодарность	сильное желание показать свою признательность	22	🙏
безразличие	состояние полного эмоционального равновесия, бесстрастности и / или равнодушия	14	= 😐 😑
недоумение	растерянность, непонимание происходящего	10	=\ =/ :/:/ 😕
страх	ощущение опасности	6	😱 😨
вина	муки, угрызения совести	5	😓
смущение	замешательство, ощущение неловкости	2	^^" 😳
задумчивость	отражает процесс размышления	1	🤔
злость	чувство раздражения и сильного неудовлетворения	1	😡

Кратко остановимся на процедуре приписывания реплик пользователя к определенным ячейкам классификатора. Если в одной реплике одновременно встречались эмотиконы или эмодзи, выражающие абсолютно разные эмоции, подобные реплики относились к нескольким вы-

деленным полям классификатора. Например, в реплике «Спасибо, родная моя 😊😊очень приятно, вспоминаю наши дни и скучаю 😊» эмодзи 😊 относятся к категории, которую мы условно назвали «любовь (флирт)2», а эмодзи 😞 – «печаль». Отметим, что в корпусе встречаются эмо-

Рассмотрим связи между выделенными категориями эмодзи и частотностью (v) категорий эмодзи и эмодзи в текстах мужчин и у женщин.

5.1. Заниженная самооценка личности.

Гистограмма на рис. 3 отражает частотность (v) категорий эмодзи и эмодзи в текстах мужчин и в текстах женщин; все информанты в

данном случае характеризуются заниженной самооценкой. Каждая категория мужской выборки соотносится с соответствующей категорией женской выборки в процентном виде, однако частотность каждой категории в текстах информантов дается в относительных показателях³.

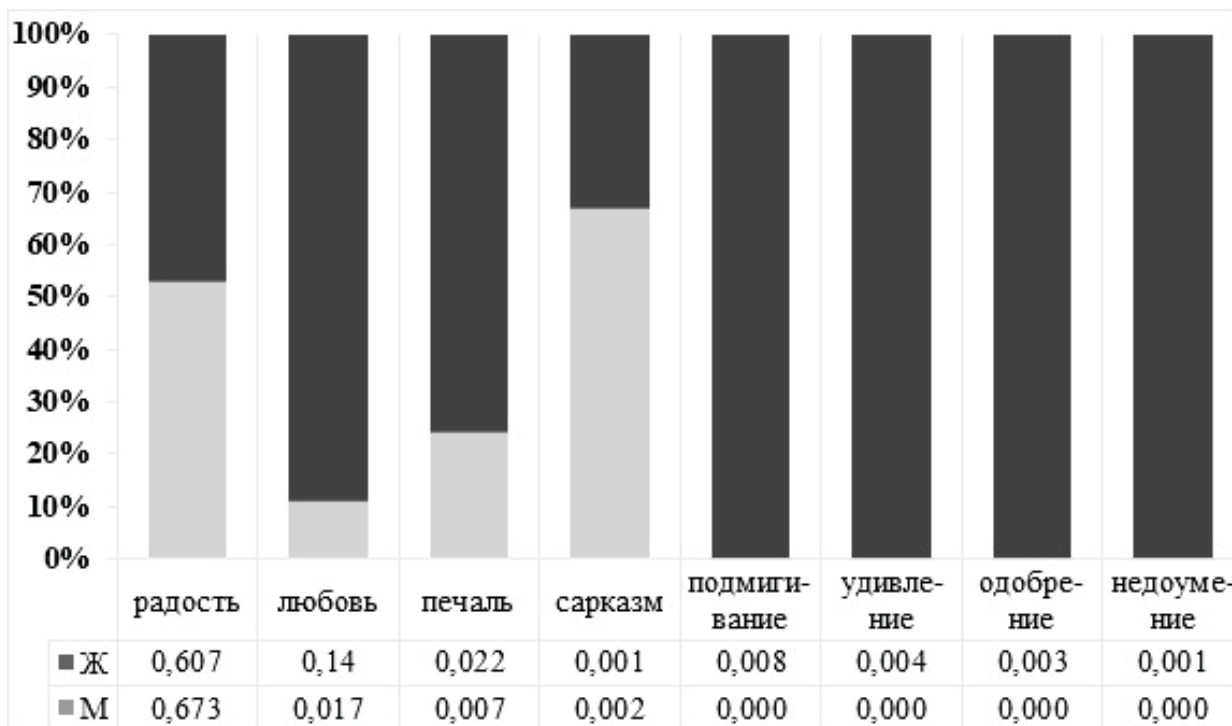


Рис. 3. Частотность категорий эмодзи и эмодзи в текстах информантов с заниженной самооценкой
 Fig. 3. Frequency of the Emoticon and Emoji Categories in the Texts of Informants with Low Self-Esteem

Информанты-мужчины с заниженной самооценкой в своих текстах используют только четыре категории эмодзи и эмодзи: «радость», «любовь», «печаль» и «сарказм». Женщины с таким же уровнем самооценки используют более широкий арсенал графических средств, включая «подмигивание», «удивление», «одобрение» и «недоумение». Отметим, что эмодзи и эмодзи, образующие категорию «радость», являются самыми частотными; мужчины используют эту категорию чаще, чем женщины (см. рис. 3: v = 0,673 у мужчин и v = 0,607 у женщин). Второй по частотности категорией и у мужчин, и у женщин является категория «любовь», причем женщины используют ее в 8 раз чаще, чем мужчины (см. рис. 2: v = 0,14 у женщин и v = 0,017 у мужчин).

Гистограмма на рис. 3 показывает, что относительно категории «радость» все остальные указанные категории в общем являются малочастотными у обоих полов. Несмотря на небольшую частоту употреблений этих категорий в текстах, женщины по сравнению с мужчинами в 3 раза больше используют категорию «печаль» (см. рис. 3: v = 0,022 у женщин и v = 0,007 у

мужчин), однако мужчины вдвое больше используют графические средства, отражающие сарказм (см. рис. 3: v = 0,002 у мужчин и v = 0,001 у женщин). Таким образом, женщины с заниженной самооценкой разнообразнее используют эмодзи и эмодзи в своих текстах, чем мужчины с таким же уровнем самооценки.

5.2. Адекватная самооценка личности. Гистограммы на рис. 4 и 5 отражают частоту встречаемости (v) категорий эмодзи и эмодзи в текстах мужчин и в текстах женщин; все информанты в данном случае характеризуются адекватной самооценкой.

Гистограмма на рис. 4 демонстрирует, что категория «радость» снова остается самой частотной и употребляется мужчинами и женщинами практически в равном соотношении (см. рис. 5: v = 0,583 у мужчин и v = 0,587 у женщин). Второй по частоте встречаемости категорией и у мужчин, и у женщин снова остается категория «любовь», причем женщины используют эту категорию в своих текстах в 13,7 раз больше, чем мужчины (см. рис. 5: v = 0,137 у женщин и v = 0,01 у мужчин).

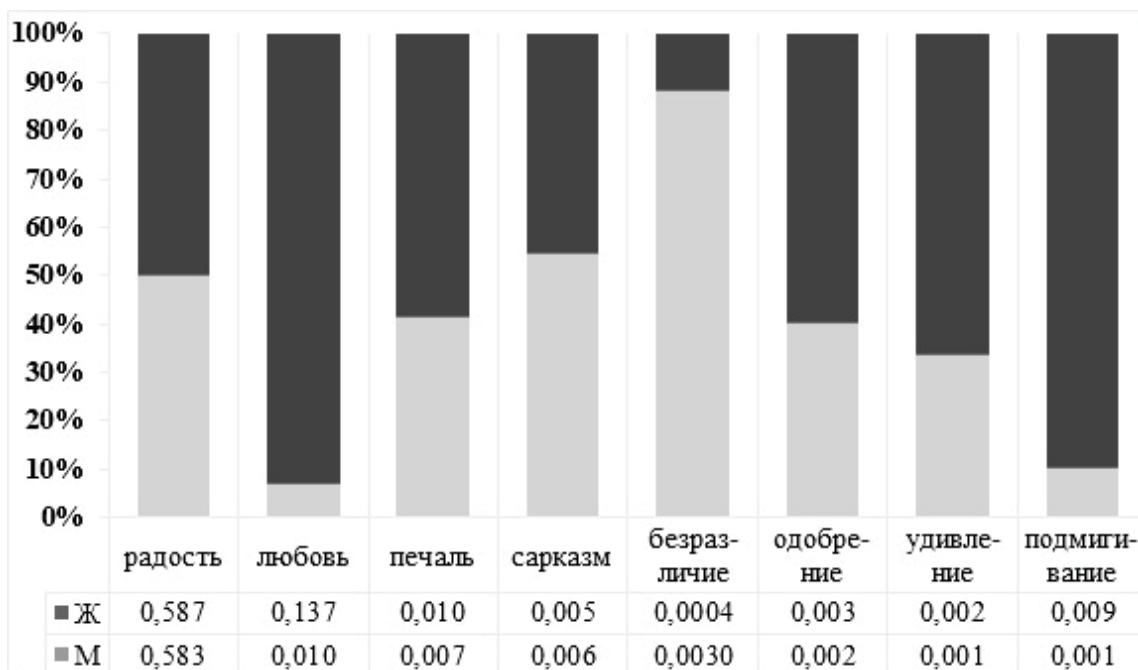


Рис. 4. Частотность категорий эмодзи и эмодзи в текстах информантов с адекватной самооценкой

Fig. 4. Frequency of the Emoticon and Emoji Categories in the Texts of Informants with Reasonable Self-Esteem

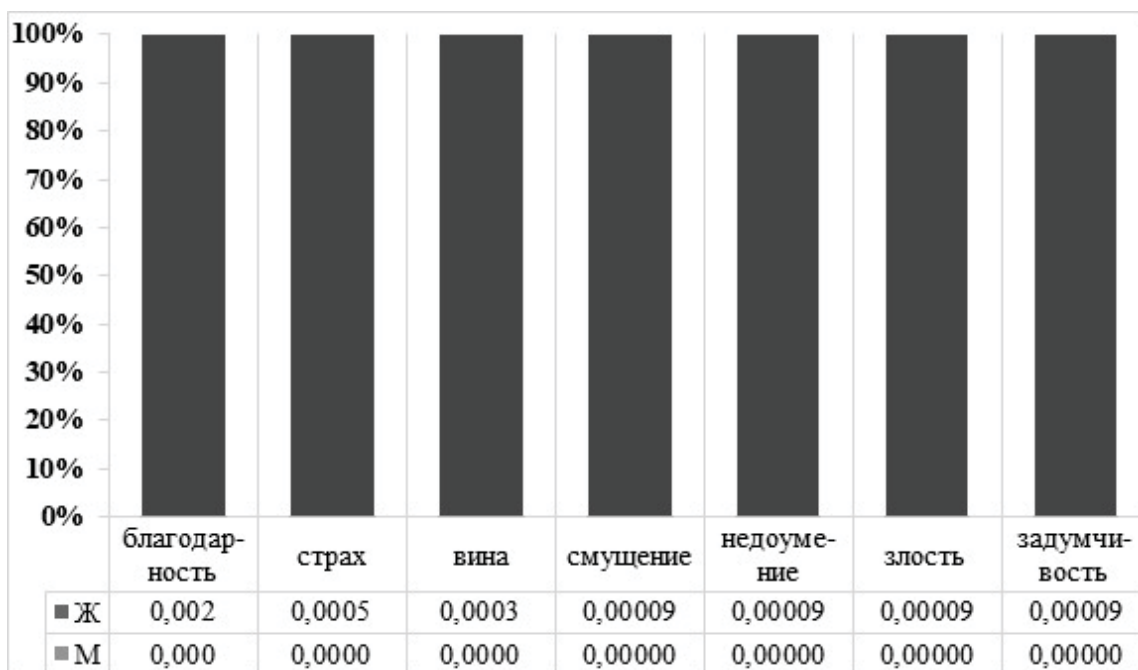


Рис. 5. Частотность категорий эмодзи и эмодзи в текстах информантов с адекватной самооценкой (дополнение)

Fig. 5. Frequency of the Emoticon and Emoji Categories in the Texts of Informants with Reasonable Self-Esteem (Annex)

Гистограмма на рис. 5 показывает, что мужчины с указанным уровнем самооценки вообще не используют в текстах эмодзи и эмодзи, отражающие благодарность, страх, вину, смущение, недоумение, злость и задумчивость. Однако у женщин эти семь перечисленных категорий являются низкочастотными (см. частоту

встречаемости этих категорий в текстах женщин на рис. 3).

Все остальные категории у обоих полов обладают низкой частотой встречаемости в текстах (см. рис. 4). Несмотря на низкую частотность, категории «печаль», «одобрение», «удивление» и «подмигивание» используются в большей степе-

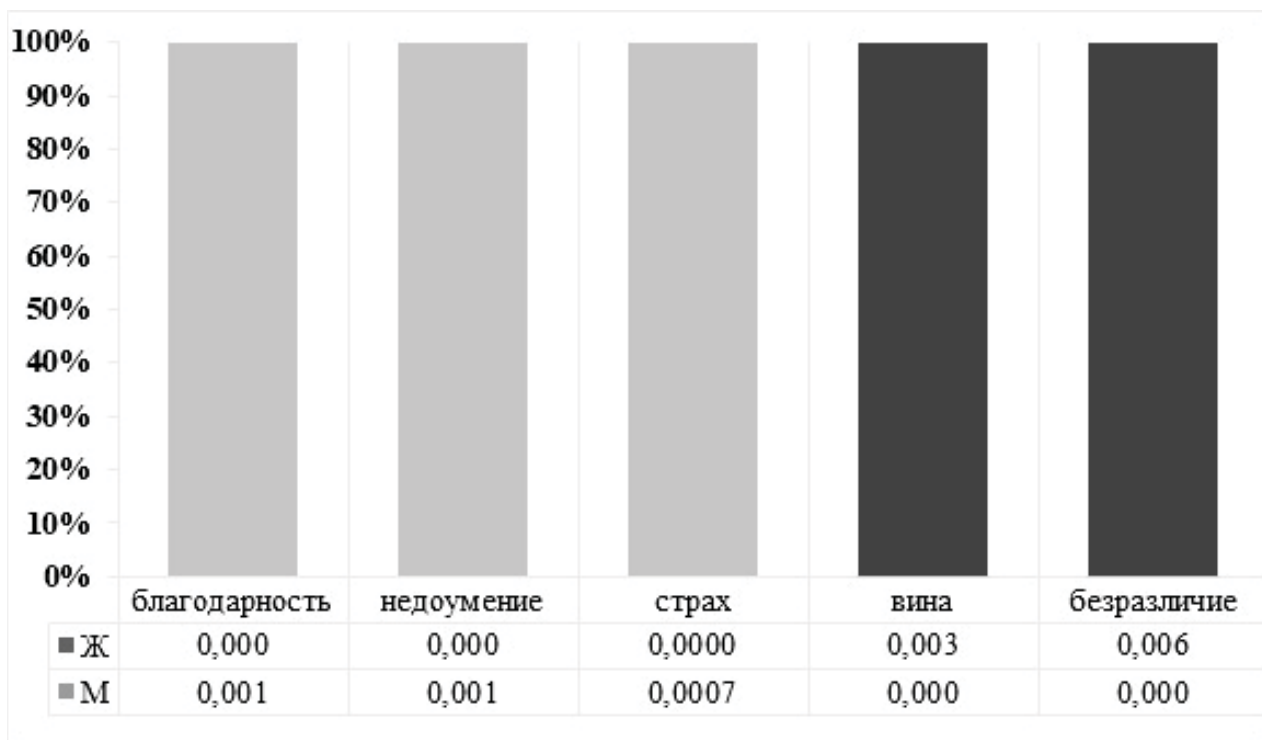


Рис. 7. Частотность категорий эмодзи и эмодзи в текстах информантов с завышенной самооценкой (дополнение)

Fig. 7. Frequency of Emoticons and Emoji' Categories in the Texts of Informants with Inflated Self-Esteem (Annex)

Результаты, представленные на рис. 3–7, показывают, что отдельные категории эмодзи и эмодзи не только имеют гендерные различия по использованию, но и соотносятся с разным уровнем самооценки. Наглядно зависимость между полом и уровнем самооценки можно проследить на интерактивном графе, скриншот которого представлен на рис. 2 (<https://graph.semograph.org/cgraph/psycho>). Наиболее характерным в данном случае является «радость». Если у мужчин с заниженной самооценкой графический знак с данной семантикой встречается в 0,673 случаях, то у мужчин с адекватной самооценкой – в 0,583 случаях, а с завышенной – всего в 0,350 случаев. У женщин аналогичные показатели следующие: 0,607 – 0,587 – 0,632. То есть для мужчин рост самооценки приводит к более редкому обращению на письме к данному графическому средству; для женщин же уровень самооценки в этом случае не играет роли. Противоположное явление наблюдаем при росте самооценки у мужчин и женщин и использовании ими графических средств с семантикой «сарказм/ирония»: для женщин видна явная тенденция увеличения час-

тотности обращения к данной категории (0,0009 – 0,005 – 0,031); с ростом уровня самооценки у мужчин данная категория не имеет корреляции. Общая тенденция для обоих полов – снижение частотности эмодзи и эмодзи с семантикой «любовь / флирт» при росте уровня самооценки.

В заключение представим сводные результаты использования категорий эмодзи и эмодзи мужчинами и женщинами с разными уровнями самооценки (см. рис. 8). При сопоставлении сразу трех уровней самооценки у мужчин наблюдается следующая тенденция: чем выше уровень самооценки, тем больше используется категорий эмодзи и эмодзи (см. нижнюю линию графика на рис. 8).

Такая тенденция у женщин не просматривается, однако самое большое количество используемых категорий приходится на долю женщин с адекватной самооценкой личности (выборка «самооценка») – все 15 выделенных нами категорий. Отметим, что для мужчин и для женщин с завышенной самооценкой (выборки «самооценка+») количество употребляемых категорий эмодзи и эмодзи одинаково – 9.

ни женщинами. Особо отметим, что категорию «подмигивание» женщины используют в 9 раз больше, чем мужчины ($v = 0,009$ у женщин и $v = 0,001$ у мужчин), а категорию «удивление» – вдвое больше ($v = 0,002$ у женщин и $v = 0,001$ у мужчин). Несмотря на это, мужчины по сравнению с женщинами чуть в большей степени используют в своих репликах категорию «сарказм» ($v = 0,006$ у мужчин и $v = 0,005$ у женщин) и в значительной степени – категорию «безразличие» ($v = 0,003$ у мужчин и $v = 0,0004$ у женщин).

В целом для информантов с данным уровнем самооценки личности наблюдается та же тенден-

ция, что и для информантов с низкой самооценкой: женщины используют в своих текстах больший перечень эмодзи и эмодзи, чем мужчины (ср. рис. 3–5).

5.3. Завышенная самооценка личности. Гистограммы на рис. 6 и рис. 7 отражают частотность (v) категорий эмодзи и эмодзи в текстах мужчин и в текстах женщин; все информанты в данном случае обладают завышенной самооценкой. Общими используемыми категориями у мужчин и женщин являются следующие семь категорий: «радость», «печаль», «удивление», «подмигивание», «любовь», «одобрение» и «сарказм» (рис. 6).

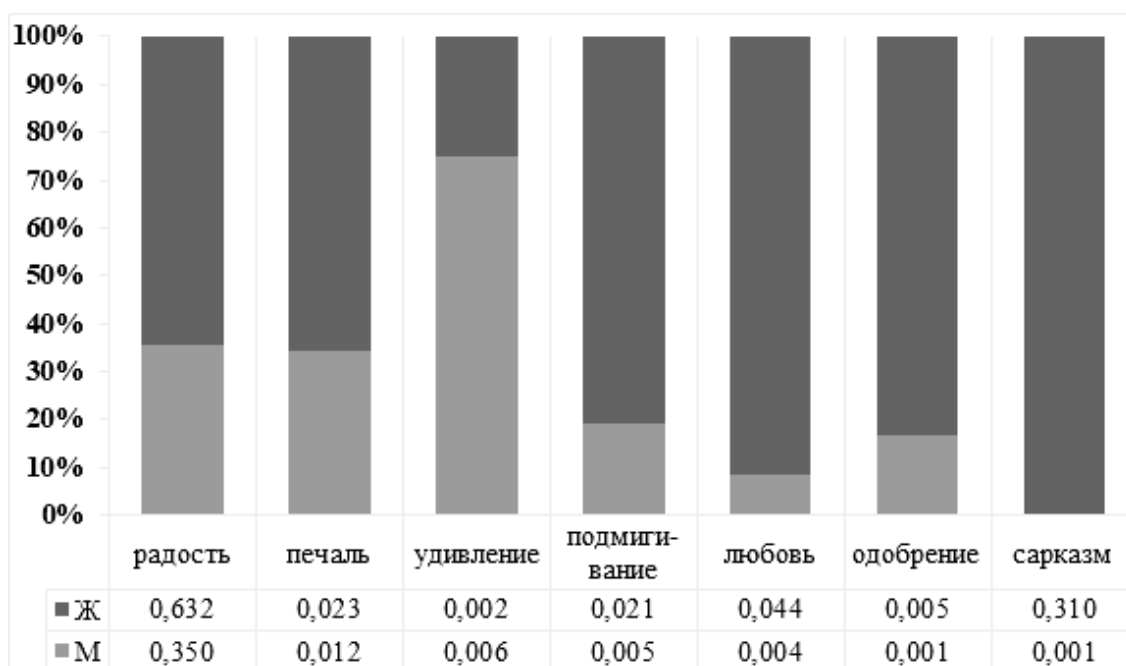


Рис. 6. Частотность категорий эмодзи и эмодзи в текстах информантов с завышенной самооценкой

Fig. 6. Frequency of the Emoticon and Emoji Categories in the Texts of Informants with Inflated Self-Esteem

Отметим, что самой частотной категорией эмодзи и эмодзи и у мужчин, и у женщин остается категория «радость», однако женщины используют эту категорию почти в два раза больше, чем мужчины (рис. 6: $v = 0,632$ у женщин и $v = 0,35$ у мужчин). Второй по частоте встречаемости категорией у женщин является категория «сарказм», однако мужчины практически не выражают в своих текстах эту эмоцию (см. рис. 6: $v = 0,31$ у женщин и $v = 0,001$ у мужчин).

В два раза больше, чем мужчины, женщины используют категорию «печаль» (см. рис. 6: $v = 0.023$ у женщин и $v = 0.012$ у мужчин), в 4 раза –

категию «подмигивание» (см. рис. 6: $v = 0.021$ у женщин и $v = 0.005$ у мужчин), в 11 раз – категорию «любовь» (см. рис. 6: $v = 0.044$ у женщин и $v = 0.004$ у мужчин) и в 6 раз – категорию «одобрение» (см. рис. 6: $v = 0.005$ у женщин и $v = 0.001$ у мужчин). Однако мужчины по сравнению с женщинами в 3 раза больше используют категорию «удивление» (см. рис. 6: $v = 0.006$ у мужчин и $v = 0.002$ у женщин).

Гистограмма на рис. 7 демонстрирует, что женщины не используют в своих текстах категории «благодарность», «недоумение» и «страх»; мужчины, в свою очередь, не используют категории «вина» и «безразличие».

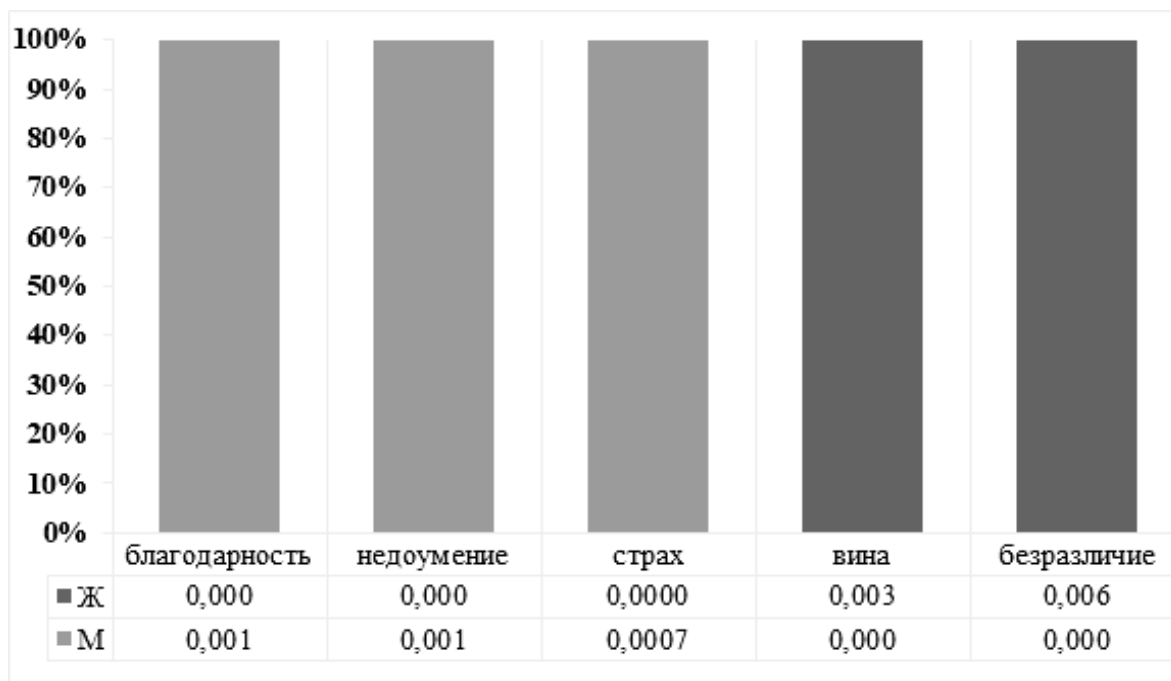


Рис. 7. Частотность категорий эмодзи и эмодзи в текстах информантов с завышенной самооценкой (дополнение)

Fig. 7. Frequency of Emoticons and Emoji' Categories in the Texts of Informants with Inflated Self-Esteem (Annex)

Результаты, представленные на рис. 3–7, показывают, что отдельные категории эмодзи и эмодзи не только имеют гендерные различия по использованию, но и соотносятся с разным уровнем самооценки. Наглядно зависимость между полом и уровнем самооценки можно проследить на интерактивном графе, скриншот которого представлен на рис. 2 (<https://graph.semo-graph.org/cgraph/psycho>). Наиболее характерным в данном случае является «радость». Если у мужчин с заниженной самооценкой графический знак с данной семантикой встречается в 0,673 случаях, то у мужчин с адекватной самооценкой – в 0,583 случаях, а с завышенной – всего в 0,350 случаев. У женщин аналогичные показатели следующие: 0,607 – 0,587 – 0,632. То есть для мужчин рост самооценки приводит к более редкому обращению на письме к данному графическому средству; для женщин же уровень самооценки в этом случае не играет роли. Противоположное явление наблюдаем при росте самооценки у мужчин и женщин и использовании ими графических средств с семантикой «сарказм/ирония»: для женщин видна явная тенденция увеличения ча-

стотности обращения к данной категории (0,0009 – 0,005 – 0,031); с ростом уровня самооценки у мужчин данная категория не имеет корреляции. Общая тенденция для обоих полов – снижение частотности эмодзи и эмодзи с семантикой «любовь / флирт» при росте уровня самооценки.

В заключение представим сводные результаты использования категорий эмодзи и эмодзи мужчинами и женщинами с разными уровнями самооценки (см. рис. 8). При сопоставлении сразу трех уровней самооценки у мужчин наблюдается следующая тенденция: чем выше уровень самооценки, тем больше используется категорий эмодзи и эмодзи (см. нижнюю линию графика на рис. 8).

Такая тенденция у женщин не просматривается, однако самое большое количество используемых категорий приходится на долю женщин с адекватной самооценкой личности (выборка «самооценка») – все 15 выделенных нами категорий. Отметим, что для мужчин и для женщин с завышенной самооценкой (выборки «самооценка+») количество употребляемых категорий эмодзи и эмодзи одинаково – 9.

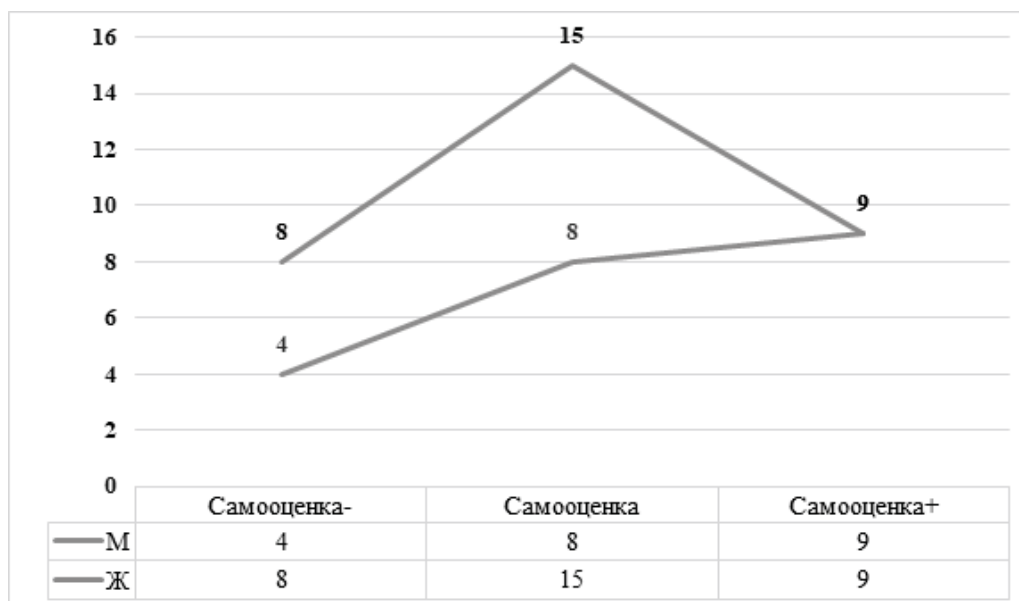


Рис. 8. Варьирование количества используемых категорий эмодзи и эмодзи по трем уровням самооценки

Fig. 8. Variation in the Number of the Used Emoticon and Emoji Categories in Three Levels of Self-Esteem

6. Выводы

Результаты проведенного исследования показывают, что в анализируемом корпусе данных мужчины вне зависимости от уровня самооценки не используют четыре категории эмодзи и эмодзи: задумчивости, злости, вины и смущения. Женщины же используют в своих текстах весь выделенный нами перечень графических средств, что говорит о большей склонности выражать эмоции и нюансы настроения через данные графические средства для трансляции своего субъективного отношения к чему-либо в текстах интернет-коммуникации.

Самой частотной по количеству реплик в корпусе во всех мужских и в женских выборках для всех трех уровней самооценки является категория «радость». В то же время для мужчин частотность обращения к данной категории заметно снижается при росте уровня самооценки. При этом мужчины в своих текстах в социальной сети, как правило, склонны выражать через графические средства только одну эмоцию – эмоцию радости; все остальные выделенные категории эмодзи и эмодзи для всех трех мужских выборок являются несущественными.

Помимо категории «радость», которая также является центральной для всех трех женских выборок, довольно существенными категориями эмодзи и эмодзи для женщин выступили категории «любовь / флирт» и «сарказм / ирония». При этом наблюдается рост уровня самооценки: а) положительно коррелирует с частотой обращения к категории «сарказм / ирония» и

б) отрицательно коррелирует с использованием в текстах графических знаков с семантикой «любовь / флирт». Все остальные категории эмодзи и эмодзи для трех женских выборок являются низкочастотными.

Проведенное исследование показывает значимость влияния пола на речевое поведение информантов с разным уровнем самооценки. Для ряда языковых категорий данный параметр является более значимым, нежели психологические свойства личности.

Примечания

¹ Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (проект 34.1505.2017/4.6).

² Авторы благодарят д. психол. н. С. А. Щебетенко за предоставленные данные психологического опроса информантов.

³ Все последующие гистограммы будут описаны таким же образом.

Список литературы

Вайнштейн С. В., Щебетенко С. А. Взаимосвязь экспертных оценок черт личности с показателями имплицитных и самоотчетных тестов // Системная психология и социология. 2014. № 10. С. 68–80.

Весна Т. В., Савицкая Ю. В. Потенциал коммуникативных сбоек при толковании эмодзи в контексте межкультурного общения // Мова. 2017. № 28. С. 9–13.

Виллонас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. М.: Изд-во МГУ, 1986. 288 с.

Додонов Б. И. Эмоция как ценность. М.: Политиздат, 1978. 272 с.

Дубровская О. В. Эмодзи как средство невербальной молодежной коммуникации // Весник БДУ. Сер. 4. Філологія. Журналістыка. Педагогіка. 2016. № 2. С. 101–103.

Изард К. Э. Психология эмоций / пер. с англ. СПб.: Питер, 2000. 464 с.

Изард К. Э. Эмоции человека / пер. с англ. М.: Политиздат, 1980. 214 с.

Ильин Е. П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001. 752 с.

Интернет-сообщество MustGet. URL: <https://mustget.ru/> (дата обращения: 06.03.2019).

Коллекция японских каомодзи. URL: <http://kaomoji.ru/> (дата обращения: 04.03.2019).

Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов // Эксмо 7. 2006. 672 с.

Круговой граф взаимосвязи параметров самооценки и разных видов эмотиконов / эмодзи. URL: <https://graph.semograph.org/cgraph/psycho/> (дата обращения: 25.04.2019).

Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. 40 с.

Речевые и неречевые параметры пользователей социальной сети [Электрон. ресурс]: свидетельство о государственной регистрации базы данных, охраняемой авторскими правами / Д. А. Баранов, К. И. Белоусов, Н. В. Боронникова, Е. В. Ерофеева, Н. Л. Зелянская, И. М. Константинов, И. А. Обухова, Е. С. Руденко, И. И. Русина, Е. С. Худякова. М.: Федер. служба по интелект. собственности. Внесено в реестр баз данных, рег. № 2018621839 от 20.11.2018.

Рябинин К. В., Баранов Б. Д., Белоусов К. И. Интеграция информационной системы Семограф и визуализатора SciVi для решения задач экспертного анализа языкового контента // Научная визуализация. 2017. № 4. С. 67–77.

Симонов П. В. Ответ профессору Б. И. Додонову (Еще раз о потребностно-информационном подходе к изучению эмоций) // Психологический журнал. 1983. № 4. С. 119–133.

Эмотикон (виды смайликов) // Свободная энциклопедия «Википедия». URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмотикон> (дата обращения: 06.03.2019).

Эмотикон // Академик: электронный словарь. URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1211176> (дата обращения: 26.10.2018).

Энциклопедия эмодзи Emojipedia. URL: <https://emojipedia.org> (дата обращения: 20.03.2019).

Amaghlobeli N. Linguistic features of typographic emoticons in SMS discourse // Theory and Practice in Language Studies. 2012. Vol. 2, № 2. P. 348–354.

Antonijevic S. Expressing emotions online: Analysis of visual aspects of emoticons // EEO Confer-

ence Papers: International Communication Association 2005 Annual Meeting. N. Y., 2005. P. 1–19.

Belousov K., Erofeeva E., Leshchenko Y., Baranov D. “Semograph” Information System as a Framework for Network-Based Science and Education // Smart Education and e-Learning 2017. Smart Innovation, Systems and Technologies. Vol. 75. P. 263–272.

Ekman P. Cross-cultural studies of facial expression // Ekman P. Darwin and facial expression: A century of research in review. N. Y., 1973. Vol. 169222, № 1. P. 169–222.

Feldman L. B. et al. Emoticons in text may function like gestures in spoken or signed communication / L. B. Feldman, C. R. Aragon, N. C. Chen, J. F. Kroll // Behavioral and Brain Sciences. 2017. Vol. 40. P. 55.

NetLingo: The Internet Dictionary. URL: <https://www.netlingo.com> (дата обращения: 04.03.2019).

Plutchik R. Psychophysiology of individual differences with special reference to emotions // Annals of the New York Academy of Sciences. 1966. Vol. 134, № 2. P. 776–781.

Shchebetenko S. Reflexive Characteristic Adaptations Explain Sex Differences in the Big Five: but not in Neuroticism // Personality and Individual Differences. 2017. Vol. 111. P. 153–156.

WhatsApp-коллекция эмодзи. URL: <https://www.emojiworld.ru/> (дата обращения: 20.03.2019).

Woodworth R. S., Shlosberg H. Experimental psychology. N. Y.: Holt, 1955. 948 p.

References

Weinstein S. V., Shchebetenko S. A. Vzaimosvyaz' ekspertnykh otsenok chert lichnosti s pokazatelyami implitsitnykh i samootchetnykh testov [The relationship between personality traits expert assessments and implicit and self-reporting tests indicators]. *Sistemnaya psikhologiya i sotsiologiya* [Systems Psychology and Sociology], 2014, issue 10, pp.68–80. (In Russ.)

Vesna T. V., Savitskaya Yu. V. Potentsial kommunikativnykh sboev pri tolkovanii emodzhi v kontekste mezhkul'turnogo obshcheniya [The potential of emoji in the context of intercultural communication]. *Mova* [Language], 2017, issue 28, pp. 9–13. (In Russ.)

Viliūnas V. K. *Psikhologicheskie mekhanizmy motivatsii cheloveka* [Psychological mechanisms of a person's motivation]. Moscow, MSU Press, 1986. 288 p. (In Russ.)

Dodonov B. I. *Emotsiya kak tsennost'* [Emotion as a value]. Moscow, Politizdat Publ., 1978. 272 p. (In Russ.)

Dubrovskaya O. V. Emodzi kak sredstvo neverbal'noy molodezhnoy kommunikatsii [Emoji as a

way of nonverbal youth communication]. *Vestnik BDU. Ser. 4: Filologiya. Zhurnalistyka. Pedagogika* [Vestnik BSU. Ser. 4: Philology. Journalism. Pedagogics], 2016, issue 2, pp. 101–103. (In Russ.)

Izard C. E. *Psikhologiya emotsiy* [The psychology of emotions]. St. Petersburg, Piter Publ., 2000. 464 p. (In Russ.)

Izard C. E. *Emotsii cheloveka* [Human emotions]. Moscow, Politizdat Publ., 1980. 214 p. (In Russ.)

Il'in E. P. *Emotsii i chuvstva* [Emotions and feelings]. St. Petersburg, Piter Publ., 2001. 752 p. (In Russ.)

Internet-soobshchestvo MustGet [Online community MustGet]. Available at: <https://mustget.ru/> (accessed 06.03.19). (In Russ.)

Kolleksiya yaponskikh kaomodzi [Japanese kaomoji collection]. Available at: <http://kaomoji.ru/> (accessed 04.03.19). (In Russ.)

Komlev N. G. *Slovar' inostrannykh slov* [Dictionary of foreign words]. Eksmo 7 Publ., 2006. 672 p. (In Russ.)

Krugovoy graf vzaimosvyazi parametrov samootsenki i raznykh vidov emotikonov/emodzi [Circular graph of the relationship of self-esteem parameters and different types of emoticons/emoji]. Available at: <https://graph.semograph.org/cgraph/psycho/> (accessed 25.04.19). (In Russ.)

Leont'ev A. N. *Potrebnosti, motivy i emotsii* [Needs, motives and emotions]. Moscow, MSU Press, 1971. 40 p. (In Russ.)

Rechevyie i nerechevyie parametry pol'zovateley sotsial'noy seti: Svidetel'stvo o gosudarstvennoy registratsii bazy dannykh, okhranyayemoy avtorskimi pravami / Baranov D. A., Belousov K. I., Boronnikova N. V., Yerofeeva E. V., Zelyanskaya N. L., Konstantinov I. M., Obukhova I. A., Rudenko E. S., Rusinova I. I., Khudyakova E. S. [Speech and non-speech parameters of social network users [electronic resource]: Certificate of state registration of a database protected by copyright. Moscow, Federal Service for Intellectual Property. Listed in the register of databases, registration No. 2018621839 of 20.11.2018. (In Russ.)

Ryabinin K. V., Baranov B. D., Belousov K. I. Integratsiya informatsionnoy sistemy Semograf i vizualizatora SciVi dlya resheniya zadach ekspertnogo analiza yazykovogo kontenta [Integration of semograph information system and SciVi visualizer for solving the tasks of lingual content expert analysis]. *Nauchnaya vizualizatsiya* [Scientific Visualization], 2017, issue 9(4), pp. 67–77. (In Russ.)

Simonov P. V. Otvet professoru B. I. Dodonovu (Yeshche raz o potrebnostno-informatsionnom podkhode k izucheniyu emotsiy) [The response to Professor B. I. Dodonov (Again about the need-infor-

mational approach to the study of emotions)]. *Psikhologicheskiy zhurnal* [Psychological Journal], 1983, issue 4, pp. 119–133. (In Russ.)

Emotikon (vidy smaylikov) [Emoticon (types of emoticons)]. *Svobodnaya entsiklopediya Vikipediya* [The free encyclopedia 'Wikipedia']. Available at: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Emotikon> (accessed 06.03.19). (In Russ.)

Emotikon [Emoticon]. *Akademik: elektronnyy slovar'* [Academic: electronic dictionary]. Available at: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Emotikon> (accessed 06.03.19). (In Russ.)

Entsiklopediya emodzi Emojipedia [The encyclopedia of emoji 'Emojipedia']. Available at: <https://emojipedia.org> (accessed 20.03.19). (In Russ.)

Amaghloubeli N. Linguistic features of typographic emoticons in SMS discourse. *Theory and Practice in Language Studies*, 2012, vol. 2, issue 2, pp. 348–354. (In Eng.)

Antonijevic S. Expressing emotions online: Analysis of visual aspects of emoticons. *EEO Conference Papers: International Communication Association 2005 Annual Meeting, New York. 2005*, pp. 1–19. (In Eng.)

Belousov K., Erofeeva E., Leshchenko Y., Baranov D. 'Semograph' information system as a framework for network-based science and education. *Smart Education and e-Learning 2017. Smart Innovation, Systems and Technologies*, vol. 75, pp. 263–272. (In Eng.)

Ekman P. Cross-cultural studies of facial expression. Ekman P. *Darwin and facial expression: A century of research in review*. N. Y., 1973, vol. 169222, issue 1, pp. 169–222. (In Eng.)

Feldman L. B. et al. Emoticons in text may function like gestures in spoken or signed communication. Feldman L. B., Aragon C. R., Chen N. C., Kroll J. F. *Behavioral and Brain Sciences*, 2017, vol. 40, pp. 55. (In Eng.)

NetLingo: The Internet dictionary. Available at: <https://www.netlingo.com> (accessed 04.03.19). (In Eng.)

Plutchik R. Psychophysiology of individual differences with special reference to emotions. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1966, vol. 134, issue 2, pp. 776–781. (In Eng.)

Shchebetenko S. Reflexive characteristic adaptations explain sex differences in the big five: but not in neuroticism. *Personality and Individual Differences*, 2017, vol. 111, pp. 153–156. (In Eng.)

WhatsApp-kolleksiya emodzi [Whatsapp emoji collection]. Available at: <https://www.emoji-world.ru/> (accessed 20.03.19). (In Russ.)

Woodworth R. S., Shlosberg H. *Experimental psychology*. N. Y., Holt, 1955. 948 p. (In Eng.)

THE INFLUENCE OF SEX AND SELF-ESTEEM OF SOCIAL MEDIA USERS ON THE USE OF EMOTICONS AND EMOJI IN SPEECH COMMUNICATION

Konstantin I. Belousov

Professor in the Department of Theoretical and Applied Linguistics

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. belousovki@gmail.com

SPIN-code: 3300-9167

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4447-1288>

ResearcherID: A-4891-2016

Irina A. Obukhova

Master's Student in the Faculty of Philology,

Researcher in the Laboratory of Applied and Experimental Linguistic Studies

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. ireneobukhova@gmail.com

SPIN-code: 9448-2814

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7574-7833>

ResearcherID: V-5985-2019

Submitted 14.05.2019

This article attempts to find the relationship between the socio-psychological characteristics and speech behavior of social media users. The comprehensive description of social media users is based on the models of integration of the social, behavioral, psychological and speech components of user profiles. In the article, sex of the informants and their level of self-esteem are considered as social and psychological parameters; the graphic aspect of the collected text corpus (emoticons and emoji) is considered as a parameter of the users' speech behavior. The research material includes 1) anonymous profile data of 299 participants of a psychological survey designed to establish the level of their self-esteem and 2) users' texts (comments) in the social networking service VKontakte (<https://vk.com>). User-generated content was collected automatically using the social network API. The content consists of 19,179 user comments.

Expert analysis of the graphical means (emoticons and emoji) was performed in the information system 'Semograph' (<https://semograph.org>). Based on emoticon and emoji libraries, collected speech material and existing theories of emotions, there was developed an emoticon and emoji classifier consisting of 15 categories. The classifier was used to annotate the content and subsequently generate the results of studying correspondences between graphic means (emoticons and emoji), self-esteem parameters and sex of informants. In particular, the frequency of referring to the 15 emoticons and emoji categories was calculated, also the relationship between the use of certain categories and the self-esteem level in men and women was found. Furthermore, the influence of sex on the speech behavior of informants with different self-esteem levels was determined. It was found that the sex of informants has a more significant effect on the use of graphic means in social media communication than their psychological parameters.

Key words: social networks; electronic communication; emoticons; emoji; self-esteem; sex; gender; Semograph.

УДК 811.511.1'37

doi 10.17072/2073-6681-2019-3-19-26

МАТЕРИАЛЫ К ЭТИМОЛОГИИ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО СЛОВА «БИЧУЛЬ» 'КЛУБНИКА'¹

Роман Валентинович Гайдамашко**к. филол. н., научный сотрудник Отдела диалектной
лексикографии и лингвогеографии русского языка****Институт лингвистических исследований РАН**

199053, Россия, г. Санкт-Петербург, Тучков пер., 9. gaidamashko@gmail.com

доцент Института народов Севера**Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена**

198097, Россия, г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, 30

SPIN-код: 5966-9843

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1676-3363>

ResearcherID: B-8417-2018

*Статья поступила в редакцию 29.08.2019***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:***Гайдамашко Р. В. Материалы к этимологии коми-пермяцкого слова «бичуль» 'клубника' // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 19–26. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-19-26***Please cite this article in English as:***Gaidamashko R. V. Materialy k etimologii komi-permyatskogo slova «bichul'» 'klubnika' [Materials to Etymology of the Komi-Permyak Word «Bichul'» ('Strawberry')]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 3, pp. 19–26. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-19-26 (In Russ.)*

Представлены фрагменты историко-этимологического и структурно-семантического анализа коми-пермяцкого слова *бичуль* 'клубника', отмеченного в двух учебниках русского языка для коми-пермяков (1896 и 1906 гг.). Анализ проведен как на синхронном уровне (сравнение с языком коми-пермяцких печатных изданий 1860–1900-х гг.), так и на диахронном (сопоставление, с одной стороны, с языком письменных памятников 1780–1840-х гг., с другой – с нормами литературного коми-пермяцкого языка, отраженными в различных словарях 1980–2000-х гг.). Так как сейчас «клубникой» в разных частях России называют разные ягоды, предпринимается попытка выяснить, что именно на Западном Урале могло пониматься под «клубникой» на рубеже XIX–XX вв., для чего к сопоставлению привлекаются русские общенародные и диалектные слова со значениями 'клубника' и 'земляника' и прослеживается краткая история их функционирования в русском языке. Согласно версии автора, коми-пермяцкое слово *бичуль* дословно переводится как 'огненный зуб' или 'огненный (птичий) зуб'. В связи с этим рассматривается коми-пермяцкое устойчивое сочетание *бичулька сина* 'пучеглазый' – не только по причине формального сходства, но также и потому, что пучеглазие, зуб и тахикардия являются характерными синдромами заболевания «диффузный токсический зуб». Отдельно упоминаются коми-пермяцкий гапак конца XVIII в. *сѣла озь* 'клубника' и слово современных коми-зырянских диалектов *сѣлаоз* 'малина арктическая, или княженика', которые означают буквально 'рябчиковая земляника', а также семантически сходные названия в русских говорах. В завершение статьи ставится вопрос о возможной связи слов *бичуль* 'клубника' с диалектным коми-пермяцким *бичуль* (с вариантами *бичули*, *бичулька*, *бичульки*) 'вертушка на двери' и его продолжениями в коми-пермяцком континууме (см. слова верхнесольского диалекта коми-зырянского языка *бичуль* 'кляп, кляч, завёртка, закрутка', *бичулька* 'поплавок (у рыболовной удочки)'). Ко всему прочему упоминается русское диалектное слово *бичульки* 'деталь ткацкого станка', зафиксированное на субстратной северо-пермяцкой территории.

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык; лексикология; этимология; бичуль; клубника.

1. Вводные замечания

1.1. Источник материала и актуальность изучения

В настоящей статье представлены очередные фрагменты лингвистического обзора коми-пермяцкого языка в «Первоначальном учебнике русского языка для чердынских пермяков» Кондратия Михайловича Мошегова (1881–1937?) [Учебник 1906] (далее – Учебник). Учебник содержит более 1200 пермяцких лексем, отражает черты северного наречия коми-пермяцкого языка вековой давности и в целом является ценным памятником коми-пермяцкой письменности.

Ранее Л. Г. Пономаревой были установлены такие особенности пермяцкого языка Учебника, которые характерны для всех севернопермяцких диалектов [Пономарева 2016: 16]. Также была опубликована статья, в которой дана краткая библиографическая справка об авторе Учебника, выдвинута предварительная версия о диалектной принадлежности коми-пермяцкого языка, представленного в этом труде, и приведены наблюдения над некоторыми коми-пермяцкими словами из Учебника – заметки историко-этимологического и диалектологического характера о 36 архаизмах, диалектизмах, гапаксах [Гайдамашко 2018].

Некоторые лексемы из Учебника являются гапаксами и пока не нашли подтверждения в доступных источниках. Наблюдения над коми-пермяцкими гапаксами Учебника могут быть полезны при дальнейшей разработке проблем исторической грамматики, лексикологии, этимологии, диалектологии коми-пермяцкого и других уральских языков.

1.2. Объект исследования

В Учебнике в разделе «Плоды» приводится лексема *бичуль* 'клубника' [Учебник 1906: 23].

В разделе «Плоды» такая же лексема в том же значении зафиксирована в более раннем «Первоначальном учебнике русского языка для (северовосточных, иньвенских) пермяков» [Учебник 1896: 23].

Подтверждений бытования данного слова в иных коми-пермяцких источниках пока не обнаружено.

1.3. Предмет исследования и методы подачи

Далее приведены фрагменты историко-этимологического и структурно-семантического анализа коми-пермяцкого слова *бичуль* 'клубника'. Анализ проведен как на синхронном уровне (сравнение с языком печатных изданий 1860–1900-х гг.), так и на диахронном (сопоставление, с одной стороны, с языком письменных памятников 1780–1840-х гг., с другой – с нормами ли-

тературного коми-пермяцкого языка, отраженными в различных словарях 1980–2000-х гг.).

Формы слов и толкования из всех источников процитированы без изменений. Если толкования даны в двойных французских кавычках («»), это указывает на сохранение графики, орфографии и пунктуации источника (включая описки).

2. Слово *клубника* в русском языке

Перед анализом коми-пермяцкого материала сначала необходимо разобраться, что именно на Западном Урале могло пониматься под «клубничкой» в начале XX в., ведь, как известно, сейчас в Москве и Петербурге повсеместно «клубничкой» ошибочно называют землянику садовую [Беликов 2004: 34–35], *Fragaria ananassa* (Duch.). (*Fragaria magna* Thuill.) (синонимы – земляника ананасная, или земляника большая, или Виктория), в то время как ботаники приводят название «клубника» в ряду синонимов (там же «полуница» и «земляника зеленоягодная») для растения *Fragaria viridis* (Duch.) Weston (*Fragaria collina* Ehrh.) [ИОРПК: 451, 452] (см. также: [Овеснов 2009: 140]).

Хотя в одной из научно-популярных статей указано, что «с точки зрения ботаники клубника – <...> земляника мускатная, или мускусная», *Fragaria moschata*, которая в диком виде растет в южных районах России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии [Мехова 2008: 87], на самом деле это не так – для растения *Fragaria moschata* (Duch.) Weston дано наименование «земляника мускусная, или настоящая» [ИОРПК: 451–452], но не «клубника».

Как показано далее, не совсем точно и то, что «в русском языке XIX в. растение *Fragaria vesca* именовалось земляничкой, а *F. moschata* – клубничкой» [Беликов 2004: 34].

2.1. Слова *земляника* и *клубника* в русской исторической и толковой лексикографии

По всей видимости, первая фиксация русского слова относится к самому концу XVI в. – в Словаре Марка Ридли (около 1599 г.) имеется следующая словарная статья: «[клубница] глубница. а berry bigger than a strawberry, tasting like a peach» [Ridley 1996: 177] (т. е. «ягода, более крупная, чем клубника, по вкусу напоминающая персик»).

Судя по данным «Словаря русского языка XI–XVII вв.», первые упоминания в русской письменности названий «земляника» и «клубника» в различных вариантах относятся к XVII в. (по объективным причинам толкуются в Словаре без указания номенклатурных названий): *землянига* 'земляника' (1690), *земляница* 'земляника (растение, ягода)' (XVII ~ 1534; 1669), *земляничный* 'прил. к земляница' *земляничные ягоды*

(XVII ~ 1534; XVIII ~ XVII–XVIII) [СлРЯ XI–XVII вв. 5: 377, 378], клубника 'клубника' (1651; 1703), клубница 'то же, что клубника' (1703; 1708), клубничный 'прил. к клубника' (1614; 1703) [там же 7: 180].

Отдельные академические толковые словари русского языка XVIII – первой половины XIX в. указывают номенклатурные названия: земляника (димин. земляничка), земляница '*Fragaria vesca*' [САР 3: стлб. 60–61; СЦСРЯ 2: 83], 'травянистое растение, дающее душистые сладкие плоды', 'ягоды этого растения' [СлРЯ XVIII в. 8: 171], клубника (димин. клубничка), клубница '*Fragaria vesca hortensis*' [САР 3: стлб. 636], '*Fragaria collina hortensis*' [СЦСРЯ 2: 179], 'травянистое растение с душистыми сладкими ягодами, родственное землянике; ягода этого растения' [СлРЯ XVIII в. 10: 62].

2.2. Слова земляника и клубника в русской диалектной лексикографии

В. И. Далем совершен опыт дифференциации региональных вариантов: земляника (Сиб.), земляница (Новг.), землянка (Волог., Арх., Сиб.) '*Fragaria vesca*' (она же южн. сунница, рязан., ворон. паземка, позёмка, пазобника, курск. полевишник и др.) [Даль 1: стлб. 1694], клубника (Сиб., Каз.), клубница (Костром.), клубника (Симб.) 'ягода, сродная с земляникою, но круглая, не островерхая, *Fragaria collina*' (она же малорос. полуница, запад. трусавка) [Даль 2: стлб. 302–303].

Среди прочих многочисленных примеров в словаре Н. И. Анненкова для Прикамья указаны рус. земляника, земляничник, землянка, земляница, коми-перм. оз-ягöд '*Fragaria vesca* L.' и рус. клубника, клубничник, клубница '*Fragaria collina* Ehrh.' [Анненков 1878: 146–147].

Также см. рус. диал. клубника 'растение *Fragaria vesca* L., сем. розанных, земляника лесная' (Иркут., Саратов., Сталингр., Уфим.), 'растение *Fragaria viridis* Duch., сем. розанных, земляника зеленая, полуница' (Курск., Твер.) [СРНГ 13: 310], клубника 'земляника' (Мурман.) [СРГК 2: 372], клубенька 'ягода земляника' (Волог.), клубника 'ягода голубика' (Арх.) [СГРС 5: 180].

2.3. Обсуждение

Таким образом, скорее всего, как в конце XVIII в., так и в течение XIX и в самом начале XX в. под «клубникой» на Западном Урале понимали прежде всего *Fragaria viridis* (Duch.) Weston (= *Fragaria collina* Ehrh.), т. е. землянику зеленоягодную, или полуницу.

Реже, как показывают источники, «клубникой» могли называть *Fragaria moschata* (Duch.) Weston, *Fragaria vesca hortensis* (= *Fragaria vesca* L.) и др.

3. Материалы к этимологии коми-пермяцкого слова бичуль 'клубника'

3.1. Понятие 'клубника' в коми-пермяцком языке

В современных нормативных словарях коми-пермяцкого языка дается только заимствованное название клубника 'клубника' [КПРС: 176; ССПЯ: 104].

В нижнеиньвенском диалекте южного наречия коми-пермяцкого языка зафиксировано также бакванъягöд 'клубника' [КПРС: 24] с затемненной внутренней формой. Если относительно семантики второго компонента нет никаких вопросов (см. коми-перм. [КПРС: 592], коми-зыр. лл., нв., уд. [КСК 2: 875] ягöд 'ягода, ягоды || ягодный'), то значение первого компонента предполагает множественность решений. С одной стороны, ср. коми-зыр. лл. баклан 'ком твердой земли, глыба', '(перен.) человек с крепким телосложением', 'толстая щепка (откалываемая при обтеске брусьев, шпал)' [КСК 1: 51]. Соответствие коми-перм. н.-иньв. в ~ коми-зыр. лл. л в данном случае является регулярным [Баталова 1982: 63 (карта 6)]. С другой стороны, см. многочисленные данные севернорусских говоров, ср. рус. диал. баклан 'трехпалая чайка, моевка' (Арх.), 'чайка сизая' (Вят.), «из названий птиц» (Вят.), 'брюква' (Костром., Иван.), 'о крупных плодах, корнеплодах' (Иркут.) и мн. др. [СРНГ 2: 60], бакланок 'тенец чайки' (Арх.) [СРГК 1: 32], баклан 'о чем-либо округлом и крупном' (Перм.) [СРГСПК 1: 48].

В диахронии для обозначения клубники нами также обнаружен гапакс в рукописных словарях протоиерея Антония Попова (1748–1788): коми-перм. сев. стгла озь «клубника /ягода/» [Попов 1785а: л. 43 об.], стгла озь (sic! – не озь) «клубника» [Попов 1785б: л. 18].

3.2. Модель 'рябчиковая земляника'

Возможно, первый компонент в составе названия стгла озь обозначает рябчика, ср. коми-перм. сьöла, иньв. сьöа, сьöва 'рябчик' [КПРС: 463], сев. кос.-кам., мыс. сьöла² 'рябчик' [Пономарева 2016: 221, 281, 292], южн. сева, нердв.³ села «рябчикъ, рябокъ» [Рогов 1869: 144]. Относительно второго компонента см. коми-перм. сев. озь «земляника /ягода/» [Попов 1785а: л. 32], коми-перм. оз 'земляника', оз жагöд «земляника ягода» [Рогов 1869: 109, 255], озьягöд 'земляника || земляничный' [КПРС: 290], коми-зыр. вв., лл., печ., скр., сс., уд. оз 'земляника' [КСК 1: 1063]. Коми слово оз вместе с удм. узы 'земляника' является общепермским наследием [КЭСКО: 203].

Кроме оз, для обозначения земляники в коми-пермяцком языке используются слова земляника,

озьягöд, гöрдьягöд (букв. ‘красная ягода’), *му-ягöд* (букв. ‘земляная ягода’) [КПОС: 251].

Если коми-перм. истор. *сгла озь* означает буквально ‘рябчиковая земляника’, то см. типологически и структурно сходные коми-перм. *сьöлягöд* ‘поленика, княженика’ [КПОС: 252], коч. ‘костяника’ [Пономарева 2019] (*Rubus saxatilis* L.), коми-зыр. вв., вс., лл., нв., печ., сс. *сьöлаоз* ‘поленика’ [КСК 2: 474] (т. е. малина арктическая, или княженика, *Rubus arcticus* L.), а также рус. *рябчиковая ягода* ‘лесная ягода’ [без уточнения] (Волог.) [СРГК 5: 604], ‘ягоды майника двулистного, *Maianthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt’ (забайкал.) [Просьянникова 2009: 317]. Также см. такие прикамские диалектные названия травянистых растений, как *рябковая кислица, рябочья капуста, рябочья кислица* (Перм.) [АС 5: 41–42].

3.3. Модель ‘огненный зоб’

Внутренняя форма коми-перм. *бичуль* ‘клубника’, по нашему мнению, может являться результатом метафорического переноса, см. коми-перм. *би* ‘огонь, пламя; костёр || огненный’, ‘огонь, освещение; свет’ и *чуль* ‘зоб (у птиц)’ [КПРС: 32, 548].

Любопытно, что слово *бичуль*, осложненное суффиксом, имеется в составе пермяцкого устойчивого сочетания *бичулька сина* ‘пучеглазый’ [КПРС: 33; КПОС: 38], при коми-перм. *син* ‘глаз || глазной’, *сина* ‘с какими-либо глазами’ [КПРС: 429–430]. Как известно, заболевание диффузный токсический зоб (иначе – Базедова болезнь, экзофтальмический зоб и др.) сопровождается тремя характерными синдромами – зобом, экзофтальмом (пучеглазием) и тахикардией [БМЭ 8].

Есть ли здесь метафорическая и/или метонимическая связь между внешним видом полуницы, рябчика и увеличенного зоба (см. выше трактовку слова *сгла озь* как ‘рябчиковая земляника’, а *бичуль* – как ‘огненный зоб’) – вопрос отдельного этнолингвистического исследования на более широком языковом фоне. По крайней мере в русских говорах некоторые птицы могут обозначаться словами с корнем *зоб-*, см., например, рус. диал. *зоб* ‘курица’ (Влад.), *зобец* ‘снегирь’ (Казан.), *зобзун* ‘птенец кукушки’ (Беломор.) [СРНГ 11: 321, 323].

3.4. Еще *бичуль* в коми языках и *бичульки* в русском гайнском говоре

Относительно слова *бичуль* ‘клубника’ см. также омоним в современных говорах коми-пермяцкого языка: в северном наречии пукс., чур., лёв. *бичул’*, чаз. *бичул’и*, пятиг., б.-коч., кук. *бичул’ка*, пелым., юкс. *бичул’ки* ‘вертушка на

двери’ [Федосеева 2015: 127]; в южном наречии куд.-иньв. *бичулькаыс личаис* [литер. *личалис*], *коо* [литер. *колö*] *зöтны*, дословно ‘вертушка ослабла, надо прибить (затянуть)’ [Лобанова 2019]. И далее в коми диалектном континууме: коми-зыр. вс. *бичуль* ‘кляп, кляч, завёртка, закрутка’, *бичулька* ‘поплавок (у рыболовной удочки)’ [КСК 1: 73]. По мнению А. С. Лобановой, слово *бичулька* может состоять из корня *бич-* ‘связывать, завязывать’, словообразовательного компонента с уменьшительно-ласкательным оттенком *-уль* и заимствованной из русского языка, но очень активной при образовании новых слов финали *-ка* [Лобанова 2019].

Кроме того, известны коми-перм. н.-иньв. *бичуль* [Пономарева 2019] и куд.-иньв. *бичуль öгыр* [МПЭ] в значении ‘уголек’. Слово *бичуль* употребляется также при обозначении чего-нибудь маленького, ср. коми-перм. н.-иньв. *картошкаыс бичуль кодь* ‘мелкий картофель’, букв. ‘картошка, как бичуль’ [Пономарева 2019]. См. также *бичули* (кучиковой кизь) ‘кожаная пуговица’ и *бичульки* (ткацк.) [КПОС: 38].

Вероятно, последняя лексема послужила источником заимствования в русские говоры слова *бичульки* ‘деталь ткацкого станка’ (Тиуново Гайнского района Пермского края) [СРГСПК 1: 102].

4. Вместо заключения

В статье представлены фрагменты историко-этимологического и структурно-семантического анализа коми-пермяцкого слова *бичуль* ‘клубника’, отмеченного в двух учебниках русского языка для коми-пермяков (1896 и 1906 гг.).

Так как сейчас «клубникой» в разных частях России называют разные ягоды, предпринята попытка выяснить, что именно на Западном Урале могло пониматься под «клубникой» на рубеже XIX–XX вв., для чего к сопоставлению привлечены русские общенародные и диалектные слова со значениями ‘клубника’ и ‘земляника’ и прослежена краткая история их функционирования в русском языке. Как показал обзор источников, скорее всего, как в конце XVIII, так и в течение XIX и в самом начале XX в. под «клубникой» на Западном Урале понимали прежде всего *Fragaria viridis* (Duch.) Weston (= *Fragaria collina* Ehrh.), т. е. землянику зеленоягодную, или полуницу.

Согласно версии автора, коми-пермяцкое слово *бичуль* дословно переводится как ‘огненный (птичий) зоб’. В связи с этим рассматривается коми-пермяцкое устойчивое сочетание *бичулька сина* ‘пучеглазый’ – не только по причине формального сходства, но также и потому, что пучеглазие, зоб и тахикардия являются характерными синдромами заболевания «диффузный токсический зоб».

Отдельно упоминаются коми-пермяцкий гапак конца XVIII в. *сб́ла о́зь* 'клубника' и слово современных коми-зырянских диалектов *сб́лаоз* 'малина арктическая, или княженика', которые означают буквально 'рябчиковая земляника', а также семантически сходные названия в русских говорах.

В завершение статьи ставится вопрос о возможной связи коми-пермяцкого слова *бичуль* 'клубника' и диалектного слова в современных говорах северного наречия коми-пермяцкого языка *бичуль* (с вариантами *бичули*, *бичулька*, *бичульки*) 'вертушка на двери' и его продолжений в коми диалектном континууме (см. слова верхнесыольского диалекта коми-зырянского языка *бичуль* 'кляп, кляч, завёртка, закрутка', *бичулька* 'поплавок (у рыболовной удочки)'). Ко всему прочему упоминается русское слово *бичульки* 'деталь ткацкого станка', зафиксированное на субстратной северно-пермяцкой территории.

Примечания

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00119а. Автор признателен В. Б. Колосовой, А. С. Лобановой и Л. Г. Пономаревой за прочтение чернового варианта статьи и ряд ценных замечаний, способствовавших улучшению текста и уточнению деталей. Все ошибки и недочеты остаются на совести автора.

² Ради более удобного сопоставления в примерах, цитируемых из книги Л. Г. Пономаревой [Пономарева 2016], точка сверху после ударного гласного [·], обозначающая ударение, заменена на акут [´].

³ Помета из словаря Н. А. Рогова [Рогов 1869] «ю[жн].» заменяется на «нердв.», см. подробное объяснение: [Гайдамашко 2018: 35].

Сокращения

Арх. – русские архангельские говоры
 Беломор. – русские беломорские говоры
 Волог. – русские вологодские говоры
 б.-коч. – больше-кочинский говор кочёвского диалекта северного наречия коми-пермяцкого языка
 букв. – буквально
 вв. – верхневычегодский диалект коми-зырянского языка
 Влад. – русские владимирские говоры
 ворон. – русские воронежские говоры
 вс. – верхнесыольский диалект коми-зырянского языка
 Вят. – русские вятские говоры
 диал. – диалектное
 димин. – диминутив
 забайкал. – русские говоры Забайкалья

запад. – западное
 Иван. – русские ивановские говоры
 иньв. – иньвенский говор кудымкарско-иньвенского диалекта южного наречия коми-пермяцкого языка
 Иркут. – русские иркутские говоры
 истор. – историческое
 Каз., Казан. – русские казанские говоры
 коми-зыр. – коми-зырянский язык
 коми-перм. – коми-пермяцкий язык
 кос.-кам. – косинско-камский диалект северного наречия коми-пермяцкого языка
 Костром. – русские костромские говоры
 коч. – кочёвский диалект северного наречия коми-пермяцкого языка
 куд.-иньв. – кудымкарско-иньвенский диалект южного наречия коми-пермяцкого языка
 кук. – кукушкинский говор кочёвского диалекта северного наречия коми-пермяцкого языка
 курск., Курск. – русские курские говоры
 лёв. – лёвичанский говор косинско-камского диалекта северного наречия коми-пермяцкого языка
 литер. – литературное
 лл. – лузско-летский диалект коми-зырянского языка
 малорос. – малороссийское
 Мурман. – русские мурманские говоры
 мыс. – мысовский говор мысовско-лупьинского диалекта северного наречия коми-пермяцкого языка
 нв. – нижневычегодский диалект коми-зырянского языка
 нердв. – нердвинский диалект южного наречия коми-пермяцкого языка
 н.-иньв. – нижеиньвенский диалект южного наречия коми-пермяцкого языка
 Новг. – русские новгородские говоры
 пелым. – пелымский говор кочёвского диалекта северного наречия коми-пермяцкого языка
 Перм. – русские пермские говоры
 печ. – печорский диалект коми-зырянского языка
 пукс. – пуксибский говор косинско-камского диалекта северного наречия коми-пермяцкого языка
 пятиг. – пятигорский говор косинско-камского диалекта северного наречия коми-пермяцкого языка
 ряз. – русские рязанские говоры
 Сарат. – русские саратовские говоры
 сев. – северное наречие коми-пермяцкого языка
 Сиб. – русские говоры Сибири
 Симб. – русские симбирские говоры
 скр. – присыктывкарский диалект коми-зырянского языка

сс. – среднесысольский диалект коми-зырянского языка

Сталингр. – русские сталинградские говоры

Твер. – русские тверские говоры

уд. – удорский диалект коми-зырянского языка

удм. – удмуртский язык

Уфим. – русские уфимские говоры

чаз. – чазёвский говор косинско-камского диалекта северного наречия коми-пермяцкого языка

чур. – чураковский говор косинско-камского диалекта северного наречия коми-пермяцкого языка

южн. – южное; южное наречие коми-пермяцкого языка

юкс. – юкеевский говор кочёвского диалекта северного наречия коми-пермяцкого языка

Список источников

Анненков 1878 – *Анненков Н. И.* Ботанический словарь. СПб.: Имп. Академия наук, 1878. XX; 645 с.

АС – *Словарь* говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь) / гл. ред. Ф. Л. Скитова. Вып. 1–6. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1984–2011.

БМЭ – *Большая* медицинская энциклопедия: в 30 т. / под ред. Б. В. Петровского. 3-е изд. URL: <http://бмэ.орг> (дата обращения: 04.08.2019).

Даль – *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: [в 4 т.] / под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. 3-е изд., испр. и доп. СПб.; М.: Т-во М. О. Вольф, 1903–1909.

ИОРПК – *Иллюстрированный* определитель растений Пермского края / С. А. Овеснов, Е. Г. Ефимик, Т. В. Козьминых и др.; под ред. д-ра биол. наук С. А. Овеснова. Пермь: Кн. мир, 2007. 743 с.; с ил.

КПОС – *Коми-пермяцкой* орфографической словарь: 20000 кыв гөгөр / Авт.-сост. Р. М. Баталова, А. С. Кривошекова-Гантман. 2-е изд., испр. и доп. Кудымкар: Пермская книга. Коми-пермяцкой отделеннё, 1992. 279 с.

КПРС – *Коми-пермяцко-русский* словарь / сост. Р. М. Баталова, А. С. Кривошекова-Гантман. М.: Русский язык, 1985. 624 с.

КСК – *Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Забоева Н. К., Коснырева Р. И.* Коми сёрнисикас кывчукёр = Словарь диалектов коми языка: в 2 т. / под ред. Л. М. Безносиковой. Сыктывкар: ООО «Издательство «Кола», 2012, 2014. Т. 1: А–О. 1096 с.; Т. 2: Ö–Я. 888 с., ил.

КЭСКЯ – *Краткий* этимологический словарь коми языка / сост. В. И. Лыткин, Е. С. Гуляев; под ред. В. И. Лыткина. М.: Наука, 1970. 386 с.

Лобанова 2019 – Из переписки с А. С. Лобановой.

МПЭ – Материалы полевых экспедиций автора.

Пономарева 2019 – Из переписки с Л. Г. Пономаревой.

Попов 1785а – *Краткий* пермский словарь с российским переводом, собранный и по алфавиту расположенный города Перми Петро-Павловского собора протоиереем Антонием Поповым, 1785 года // Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Эрм. 206. 81 л.

Попов 1785б – *Краткий* пермский словарь с российским переводом, собранный и по разным материям расположенный города Перми Петро-Павловского собора протоиереем Антонием Поповым, 1785 года // Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Эрм. 207. 29 л.

Рогов 1869 – *Рогов Н. А.* Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь. СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1869. VI + 415 с.

САР – *Словарь* Академии Российской. Т. 1–6. СПб.: Имп. академия наук, 1789–1794.

СГРС – *Словарь* говоров Русского Севера / под ред. А. К. Матвеева, М. Э. Рут. Т. 1–7. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001–2018 (издание продолжается).

СлРЯ XI–XVII вв. – *Словарь* русского языка XI–XVII вв. / гл. ред. С. Г. Бархударов, Ф. П. Филин, Д. Н. Шмелёв, Г. А. Богатова, В. Б. Крысько, Р. Н. Кривко. Вып. 1–30. М.: Наука, Азбуковник, 1975–2015 (издание продолжается).

СлРЯ XVIII в. – *Словарь* русского языка XVIII в. / гл. ред. Ю. С. Сорокин, З. М. Петрова, А. А. Алексеев. Вып. 1–22. Л.; СПб.: Наука, 1984–2019 (издание продолжается).

СРГК – *Словарь* русских говоров Карелии и сопредельных областей / гл. ред. А. С. Герд. Т. 1–6. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1994–2005.

СРГСПК – *Словарь* русских говоров севера Пермского края; Вып. 1: А–В / гл. ред. И. И. Русина. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2011. 364 с. (издание продолжается).

ССПЯ – *Сравнительный* словарь пермских языков / сост. Р. Ш. Насибуллин, С. А. Максимов, Е. А. Игушев, О. П. Аксёнова. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2004. 258 с.

СЦСРЯ – *Словарь* церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской академии наук. Т. 1–4. СПб.: Имп. академия наук, 1847.

Учебник 1896 – *Первоначальный* учебник русского языка для (северо-восточных, иньвенских) пермяков. Казань: Типолитография Имп. университета, 1896. 77 с.

Учебник 1906 – *Первоначальный* учебник русского языка для чердынских пермяков. Казань: Типолитография Имп. университета, 1906 (обл. 1907). 77 с.

Ridley 1996 – *A Dictionarie of the Vulgar Russe Tonge*: attributed to Mark Ridley / edited from the late-sixteenth-century manuscripts and with an introduction by Gerald Stone. Koln; Weimar; Wien: Böhlau, 1996. 518 p. (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B: Editionen, Neue Folge. Bd. 8).

Список литературы

Баталова Р. М. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам (коми языки) / отв. ред. К. Е. Майтинская. М.: Наука, 1982. 168 с.

Беликов В. И. Сравнение Петербурга с Москвой и другие соображения по социальной лексикографии // Русский язык сегодня. Вып. 3: Проблемы русской лексикографии / отв. ред. Л. П. Крысин. М.: Ин-т рус. яз. РАН, 2004. С. 23–38.

Гайдамашко Р. В. Из наблюдений над коми-пермяцкой лексикой в «Первоначальном учебнике русского языка для чердынских пермяков» 1906 г. // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, № 3. С. 28–41. doi 10.17072/2037-6681-2018-3-28-41

Мехова Е. Клубника? Нет – земляника // Наука и жизнь. 2008. № 4. С. 86–87.

Овеснов С. А. Местная флора. Флора Пермского края и ее анализ: учеб. пособие по спецкурсу. Пермь: Перм. гос. ун-т, 2009. 171 с.; ил.

Пономарева Л. Г. Речь северных коми-пермяков. М.: Языки Народов Мира, 2016. 514 с. + цв. илл.: 8 с.

Просьянникова Е. Б. Майник двулистный // Малая энциклопедия Забайкалья: Природное наследие / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. Новосибирск: Наука, 2009. С. 317.

Федосеева Е. Н. Лексика северного наречия коми-пермяцкого языка. Сыктывкар: Ин-т языка, литературы и истории Коми НИЦ УрО РАН, 2015. 196 с.

References

Batalova R. M. *Areal'nye issledovaniya po vostochnym finno-ugorskim yazykam (Komi yazyki)* [Areal studies on eastern Finno-Ugric languages

(Komi languages)]. Ed. by K. E. Maytinskaya. Moscow, Nauka Publ., 1982. 168 p. (In Russ.)

Belikov V. I. *Sravnenie Peterburga s Moskvoy i drugie soobrazheniya po sotsial'noy leksikografii* [Comparison of Petersburg with Moscow and other observations on social lexicography]. *Russkiy yazyk segodnya. Vyp. 3. Problemy russkoy leksikografii* [Russian language today. Issue 3. Issues of Russian lexicography]. Ed. by L. P. Krysin. Moscow, V. V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences Publ., 2004, pp. 23–38. (In Russ.)

Gaidamashko R. V. *Iz nablyudeniya nad komi-permyatskoy leksikoy v 'Pervonachal'nom uchebnike russkogo yazyka dlya cherdynskikh permyakov' 1906 g.* [Some observations on the Komi-Permyak lexis in the 'Elementary textbook of Russian language for Cherdyn Permyaks' (1906)]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 3, pp. 28–41. doi 10.17072/2037-6681-2018-3-28-41 (In Russ.)

Mekhova E. *Klubnika? Net – zemlyanika* [Strawberry? No – wild strawberry]. *Nauka i zhizn'* [Science and Life], 2008, issue 4, pp. 86–87. (In Russ.)

Ovesnov S. A. *Mestnaya flora. Flora Permskogo kraia i ee analiz: ucheb. posobie po spetskursu* [Local flora. Flora of the Perm region and its analysis: textbook for a special course]. Perm, Perm State University Press, 2009. 171 p., illustrations. (In Russ.)

Ponomareva L. G. *Rech' severnykh komi-permyakov. Monografiya* [The speech of northern Komi-Permyaks. Monograph]. Moscow, Editorial URSS Publ., 2016. 514 p. + color illustrations: 8 p. (In Russ., Komi-Perm.)

Prosyannikova E. B. *Maynik dvulistnyy* [Maianthemum bifolium]. *Malaya entsiklopediya Zabaiyal'ya: Prirodnoe nasledie* [Small encyclopaedia of the Trans-Baikal region: Natural heritage]. Ed. by R. F. Geniatulin. Novosibirsk, Nauka Publ., 2009, p. 317. (In Russ.)

Fedosееva E. N. *Leksika severnogo narechiya komi-permyatskogo yazyka* [Lexis of the Komi-Permyak northern dialect]. Syktывkar, Institute of Language, Literature and History, Komi Science Center of the Ural Branch of RAS, 2015. 196 p. (In Russ.)

MATERIALS TO ETYMOLOGY OF THE KOMI-PERMYAK WORD «BICHUL'» ('STRAWBERRY')

Roman V. Gaidamashko

**Researcher in the Department of Dialect Lexicography and Linguistic Geography of Russian Language
Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences**

9, Tuchkov pereulok, Saint Petersburg, 199053, Russian Federation. gaidamashko@gmail.com

**Associate Professor in the Institute of the Peoples of the North
Herzen State Pedagogical University of Russia**

30, Stachek prospekt, Saint Petersburg, 198097, Russian Federation

SPIN-code: 5966-9843

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1676-3363>

ResearcherID: B-8417-2018

Submitted 29.08.2019

The article presents fragments of the historical-etymological and structural-semantic analysis of the Komi-Permyak word *bichul'* (Russ. 'klubnika'; Eng. 'strawberry') that is found in two textbooks of the Russian language for the Komi-Permyaks (1896 and 1906). The analysis is performed both at the synchronous level (comparison with the language of Komi-Permyak publications of the 1860–1900s) and at the diachronic level (comparison, on the one hand, with the language of written monuments of the 1780–1840s, on the other hand – with the norms of the literary Komi-Permyak language reflected in various dictionaries of the 1980–2000s). Since nowadays different berries are called *klubnika* in different parts of Russia, the paper attempts to find out what exactly in the Western Urals could be understood as *klubnika* at the turn of the 19th and 20th centuries. For this purpose, Russian national and dialect words with meanings *klubnika* ('strawberry') and *zemlyanika* ('wild strawberry') are involved in comparison, and a brief history of their functioning in the Russian language is traced. According to the author's version, the Komi-Permyak word *bichul'* is literally translated as 'fiery goiter' or 'fiery (bird's) goiter'. In this connection, the Komi-Permyak set phrase *bichul'ka sina* ('pop-eyed') is considered – not only because of the formal similarity but also because exophthalmus, goiter and tachycardia are characteristic syndromes of the diffuse toxic goiter disease. There are also mentioned the Komi-Permyak hapax legomenon of the late 18th century *sela oz* ('strawberry'), the modern Komi-Permyak dialect word *s'ölaoz* ('*Rubus arcticus*'), which both literally mean 'hazel-grouse wild strawberry', as well as typologically similar names in Russian dialects. At the end of the article, the author raises a question of possible connection between the Komi-Permyak word *bichul'* ('strawberry') and the modern Komi-Permyak northern dialect word *bichul'* ('door spin', with variants *bichuli*, *bichul'ka*, *bichul'ki*) with its extensions in the Komi dialect continuum (see the words of the Upper Sysola dialect of the Komi-Zyryan language *bichul'* – 'gag, door bolt, wrapping, spin', *bichul'ka* 'float (of a fishing rod)'). In addition, there is mentioned the Russian dialect word *bichul'ki* ('detail of a weaving loom'), which is recorded in the substrate Northern Permyak area.

Key words: Komi-Permyak language; lexicology; etymology; *bichul'*; strawberry.

УДК 81: 398

doi 10.17072/2073-6681-2019-3-27-37

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ПОСЕЛКА СЕВЕРНЫЙ КОММУНАР СИВИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДОМОВОМ¹

Мария Андреевна Гранова

аспирант кафедры теоретического и прикладного языкознания

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. marjanaandreeva@mail.ru

SPIN-код: 3653-3938

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2577-6652>

ResearcherID: D-2785-2018

*Статья поступила в редакцию 29.08.2019***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

Гранова М. А. Мифологическая традиция поселка Северный Коммунар Сивинского района Пермского края: представления о домовом // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 27–37. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-27-37

Please cite this article in English as:

Granova M. A. Mifologicheskaya traditsiya poselka Severnyy Kommunar Sivinskogo rayona Permskogo kraja: predstavleniya o domovom [Mythological Tradition of the Severnyy Kommunar Village (Sivinsky District, Perm Region): Ideas and Beliefs about the Household Spirit]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 3, pp. 27–37. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-27-37 (In Russ.)

На материале записей диалектной речи русских жителей поселка Северный Коммунар Сивинского района Пермского края, собранных преподавателями и студентами филологического факультета ПГНИУ в июне 2019 г., изучаются функционирующие на территории названного населенного пункта народные верования, связанные с домовым. Задача исследования – сопоставление этих верований с общеславянской народной традицией и мифологическими представлениями русских Пермского края. Проведенный анализ позволил установить, что в поселке Северный Коммунар до настоящего времени сохраняется достаточно развитый комплекс представлений о домовом, который включает многие общеславянские поверья. Специфика верований данной территории состоит в трех аспектах: во-первых, употребление двухкомпонентных лексем (*дедушка-домовой, суседушка-батюшка*) в качестве номинаций персонажа, а не ритуальных обращений к нему; во-вторых, бытование мотива о том, что домовый может принимать вид ребенка (*домовой ребеночек*); в-третьих, существование верования об одновременном присутствии в доме двух домашних духов с противопоставленными характеристиками (дух-покровитель мужского пола, обитающий в жилой части дома, и вредоносный дух женского пола, обитающий в подполье). Проведенное исследование позволяет также увидеть две ключевые тенденции, касающиеся народной мифологической традиции жителей поселка: во-первых, прослеживается активное воздействие СМИ на демонологические представления данной территории; во-вторых, происходит серьезная редукция этих верований (так, домовый постепенно теряет свои отличительные характеристики и либо превращается в персонажа, которым пугают детей, либо начинает восприниматься как представитель «нечистой силы» вообще).

Ключевые слова: домовый; славянская мифологическая традиция; трансформация мифологических представлений; Северный Коммунар; Пермский край.

Введение

Изучение мифологических представлений жителей Пермского края по-прежнему остается одним из важных направлений работы фольклористов и этнолингвистов. С 1980-х гг. по настоящее время учеными Пермского государственного национального исследовательского университета проводятся диалектологические и фольклорные экспедиции в различные районы края с целью сбора лексического и текстового материала, отражающего эти представления. Так, в июне 2019 г. состоялся выезд в поселок Северный Коммунар Сивинского района.

Настоящее исследование посвящено рассмотрению функционирующих в среде русского населения поселка Северный Коммунар народных верований, связанных с домовым, на фоне общеславянской народной традиции и мифологических представлений, бытующих в других районах края. Отметим, что при характеристике указанного персонажа мы будем опираться на схему, предложенную Л. Н. Виноградовой и С. М. Толстой в работе «К проблеме идентификации и сравнения персонажей славянской мифологии» [Виноградова, Толстая 1994] (однако, ввиду ограниченности объема публикации, коснемся лишь ключевых разделов данной схемы: опишем номинации, облик, характерные действия и функции севернокомунарского домового). Материалом для нашей работы являются записи диалектной речи жителей поселка Северный Коммунар, собранные преподавателями (в том числе и автором настоящей статьи) и студентами филологического факультета ПГНИУ в июне 2019 г., находящиеся в диалектологическом архиве при кафедре теоретического и прикладного языкознания (рук. И. И. Русинова) и в фольклорном архиве при кафедре русской литературы (рук. С. Ю. Королёва). В качестве сопоставительных материалов использованы данные этнолингвистического словаря «Славянские древности» [СД] и тексты о домовом, зафиксированные в различных районах Пермского края во время экспедиций прошлых лет, также находящиеся в указанных архивах.

Номинации домового на территории поселка Северный Коммунар

В общеславянской мифологической традиции домовый – «домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных, плодородие» [Левкиевская 1999а: 120]. На территории поселка Северный Коммунар существует множество различных названий этого духа: *Дедушка*, говорят, что плетёт косы. [А это какой дедушка?] *Да это дедушка* какой-

то. [Домовой?] *Домовой*, видимо. [А как его называют?] *Да дедушка, дедушка-домовой, наверное; Старушка у нас жила, так она гыт: «Вот ведь веник прямо ходуном ходит, опять домовой приходил»*. [А почему веник ходуном ходит?] *Вроде бы домовой, домовёнок там шевелится; Суседка у нас в голбце жил*; [В одном доме один домовый или у них целая семья?] *Суседушка-батюшка, такой он, вроде, один и как бы самец. Даже про женский пол и не слыхала; Если почитаешь этого господина домового, то и он и сытый, и за хозяйством будет следит, если соблюдаешь его требования*; [В лесу леший есть, а в доме кто живет?] *В нашем доме, мы считаем, что шишок у нас живёт; Бабушка нам рассказывала. Она говорит: «Это всё есь в природе, вы не должны этого бояться, если домовик, домовый...»*; *Вот они и говорят, что суседушка там ходит, пугает; А он любит перловку, соседушка этот; Какой-то у меня домовый ребёночек там завёлся; А там [дома] вот нам хорошо. Я го[во]рю: «Ну вот домовый нас любит». И я вот прихожу, эти вот [конфеты] и положу ему, и домовушку положила ему. Домовушку, девочку.*

Приведенные названия в целом типичны для русской демонологической традиции всего края и для традиции восточных славян в целом. Эти номинации отражают различные признаки персонажа. Так, названия с корнем *-дом-*, такие как *домовой, господин домовый, домовёнок, домовушка, домовик, домовый ребёночек*, отражают представления о том, что местом обитания духа является дом человека. При этом номинация *господин домовый* выступает как «хвалебное имя» духа [Левкиевская 1999б: 244], его использование диктуется стремлением носителей традиционного сознания задобрить персонажа, проявляя к нему уважение, и избежать таким образом возможного вредоносного воздействия со стороны духа, которое может быть вызвано произнесением его прямого имени (*домовой*).

Названия *суседка, соседка, суседушка, соседушка, суседушка-батюшка* отражают мотив совместного проживания человека и духа в доме, т. е. мифологический персонаж выступает соседом человека. Кроме того, использование названий с уменьшительно-ласкательным суффиксом *-ушк-* (*суседушка, соседушка, суседушка-батюшка*), как представляется, связано с тем, что «в славянской традиции существует запрет называть демона... “настоящим” именем..., вместо него употребляются заместительные имена, в частности деминутивы» [там же], применяемые «с целью умиловить демона... и избежать опасности», исходящей от него [там же].

В номинациях *дедушка, дедушка-домовой и суседушка-батюшка*, на наш взгляд, отразилось

общеславянское представление о том, что «домовой существует в каждом доме и связан с определенным родом, предком которого он мыслится» [Левкиевская 1999а: 120]. Таким образом, лексемы *дедушка* и *бабушка* можно трактовать как обозначения первопредка семьи или умершего старшего родственника, который остался жить со своей семьей, став духом-«хозяином» дома. С другой стороны, номинация *дедушка* может обозначать не родственника, а облик древнего старика, который часто принимает домовый [там же: 121].

Следует также отметить, что двухкомпонентные лексемы (*дедушка-домовой*, *суседушка-бабушка*) жителями поселка Северный Коммунар используются лишь как номинации персонажа, хотя на территории других районов Пермского края такие сочетания являются вокативами, т. е. обращениями к духу, в рамках апотропеических формул, функционирующих в обрядовой коммуникации и служащих для задабривания демона. Ср. примеры: *Когда из деревни в деревню переезжали, суседку с собой забирали. Говорили: «Суседушко-боледушко, поехали с нами»* (Исаково Черд.) [ФА ПГНИУ, т. 441а]; *Вот, девки, как в дом въезжать будете, надо у суседки спроситься. «Суседушка-братанушка, пусть меня жить-поживать на долгие годы»* (Тетерина Сол.) [там же, т. 446]; *Домового я переносила в новый дом. Говорила: «Дедушка-братушка, поиди со мной»* (Комариха Ильин.) [ФА ПГНИУ, т. 709]; *«Соседушко-бабушко, садись на колени. Увезу с собой тебя», – говорила, когда уезжала из дома в другой* (Грудная Караг.) [там же, т. 709].

Номинация *шшиок*, как представляется, иллюстрирует принадлежность домового к нечистой силе, поскольку образования с корнем *-шши-* изначально обозначают либо нечистого духа вообще, либо черта, беса [Власова 1995: 359].

Иногда жители поселка дают своему домовому имя: [Вы говорили, что в доме домовый есть. Как его называли?] *У меня Кузька. Это я сама придумала*. В материалах, собранных в поселке Северный Коммунар, данный пример является единичным, однако именем *Кузя* домового называют и в других районах края, например, в Чайковском: *Залезет в голбец, а кузя-то там, кузя-то поймает его* (Б. Букор Чайк.) [СРГЮП 1: 440]. В приведенном фрагменте имя собственное используется как нарицательное, полностью заменяет «обычную» номинацию духа (*домовой* или др.). Возможно, такая замена произошла в результате регулярного употребления собственного имени *Кузя* в качестве обозначения духа дома без использования нарицательного существительного (поскольку предмет речи был известен говорящим). Таким образом, мы видим, что

имя домового *Кузя*, *Кузька* встречается на разных территориях края, и притом регулярно. Можно предположить, что такое имя для домашнего духа информанты выбирают под влиянием известного мультфильма «Домовенок Кузя», что, в свою очередь, свидетельствует о воздействии на мифологические представления жителей края современной массовой культуры.

С другой стороны, возможна и иная трактовка появления имени домового *Кузя* на рассматриваемой территории. Можно предположить, что это имя, как и указанная выше номинация *кузя*, принадлежит к тому же словообразовательному гнезду, что и слово *кузутик*, обозначающее «нечистого духа, чертика» [Власова 1995: 196]. Таким образом, единицы *кузя* и *Кузя* могли изначально обозначать нечистого духа вообще, а затем стали использоваться по отношению к конкретному персонажу – домовому.

Облик домового в представлениях жителей поселка Северный Коммунар

Представления о внешнем облике домового на рассматриваемой территории достаточно разнообразны. Так, дух дома часто принимает антропоморфный вид: *Бабушка у нас всегда говорила: «Тож же он [домовой] такой маленький человечек, но то же с руками, с ногами. Человек, но никакое там не пугало. Просто человечек». Старичок маленький; «Не лизьте в голбеч-то, там суседка сидит». – «Какой суседка?» – «Да там такой мужичок с бородой. Он вас может там это, испугать или ещё чё». [Маленький?] *Маленький, говорили. «Там мужичок сидит, суседка»; Она мне об этом говорила, что он небольшой ростиком. Говорит: «Такой лохматенький, вот такой вот смешной человечек»; Мне учительница рассказывала: «Я вижу, что он из-за шкафа на меня смотрит. Рыжая борода, сам рыжий...»* [Он как старичок показывается, как мужчина?] *Маленький мужчина, да, старичок.**

Как видно из приведенных фрагментов, в поселке Северный Коммунар домового представляют в облике *человечка*, *мужичка* или *старичка*, имеющего небольшой рост (т. е. ниже человеческого); при этом информанты часто подчеркивают «лохматость» персонажа, наличие у него бороды. В некоторых случаях информанты затрудняются точно описать облик персонажа, указывая на наличие у него как антропоморфных, так и зооморфных черт: *Вообще его маленьким человечком каким-то представляли. Вот похожим на человека. Но он заросший весь, маленький. Маленькая обезьянка, в общем*. Все эти представления не выходят за рамки общеславянских верований, ср.: «обычно домовый имеет ан-

тропоморфный вид: древнего старика (в.-слав.), ...мужика с большой седой бородой (рус.), лохматого, обросшего шестью (в.-слав.)» [Левкиевская 1999а: 121]. При этом облик старика, который принимает домовый, может быть связан со славянскими представлениями о том, что духом дома становится либо умерший первопредок рода, либо умерший старший родственник [там же]. Однако в материалах экспедиции 2019 г. нам встретился и противоположный образ – домовый в виде ребенка: *Слышу: такой тонкий-тонкий голосочек, такой, как вот у Машеньки, звонкий-звонкий. Думаю, мне это кажется, но все пять кошек враз повернули голову к порогу, откуда шёл голосочек. Какой-то у меня **домовой ребёночек** там завёлся.* Такой образ домового нетипичен как для славянской традиции, так и для традиции Пермского края. Однако следует обратить внимание на то, что, по славянским представлениям, персонаж «может принимать облик любого члена семьи, особенно отсутствующего» [Левкиевская 1999а: 121]. В таком контексте *домовой ребёночек*, который, вероятно, принял облик девочки Маши – члена семьи информанта, вполне вписывается в рамки общеславянской традиции.

Представления о «лохматости» домового также характерны для верований славян: шерсть, мех, длинные волосы или борода выступают как знак принадлежности персонажа «к иному миру – звериному, потустороннему, демоническому» [Плотникова 2012: 576]. Такими же знаками, на наш взгляд, являются и другие зооморфные черты в облике духа, например, наличие звериных лап: *У нас в Липе домовый был. Он в конюшне. Лохматый. Бабушка нам всё рассказывала. За горло возьмёт – «К худу, к добру?» надо спросить. Он скажет, к худу – дак к худу, к добру – дак... Он не душил, а просто лапу ложил.*

На рассматриваемой территории также весьма распространены представления о зооморфном облике персонажа. Так, его часто описывают как *кота* или *кошку*: [А как домовый выглядит? Как старичок?] *Ну, быстрее, как кот; В разных образах представляли домового. Я знаю, что как кот он приходил, говорила бабушка моя; Домовой может быть даже и животное, и в каждом доме приходит свой домовый там. Это даже бывает кошка или кот; Каждую ночь ко мне приходит и как будто кошка ложится на ноги, то есь тяжесть какая-то, чувствуешь. Вот это приходит домовый.* Такие представления типичны и для славянской традиции в целом (см.: [Левкиевская 1999а: 121]).

Жители поселка также часто представляют духа дома в виде ласки: [А не говорят, что домовый нелюбимой скотине косички плетет?] *Да,*

там бывали такие [случаи]. И в нашей конюшне тоже вот ни с того ни с сего заволнуются, заволнуются животные вот. Может, там ласка. Вот были куры у нас. Зверёк. Она у нас одну задавила, другую, а пока курица кричит, дак, конечно, там и телята, и коровы забегают, заволнуются. Говорят, говорят; [Слышали, что соседка лошадям гриву плетет или гоняет их?] Это я слышала такое, что вроде он... Я потом читала, это есть такой зверёк – ласка, «ласка» называется. И он гриву заплетает. Но это, это никакой не соседка, а это зверёк был.

Такие представления о внешнем виде домового встречаются у всех восточных славян. При этом «место ласки в в.-слав. мифологической системе колеблется от зооморфного варианта домового до зверька, наделенного мифологическими чертами» [Виноградова, Левкиевская 1999: 154]. Как представляется, в севернокommунарских материалах мы видим второй вариант или, по крайней мере, постепенное движение от первого ко второму варианту. Так, в первом случае информант сначала подтверждает, что именно домовый заплетает скотине косы, а затем предполагает, что это ласка, тем самым устанавливая, хотя и весьма условно, связь между лаской и домовым (т. е. вопрос о домовом вызывает у него ассоциацию с представлениями о ласке). Во втором же случае информант разделяет этих персонажей и утверждает, что гриву лошадям заплетает именно ласка, а не домовый, т. е. в представлении этого человека это два самостоятельных персонажа. Согласно общеславянским верованиям, ласка является хтоническим животным, ей «присущи функции домового, охранительницы дома и скота. Поселившаяся в доме или в хлеву ласка приносит его хозяевам счастье и удачу... отвращает болезни... охраняет скот... Вред, причиненный лаской, пагубным образом отражается на скоте..., в ласке, обитающей в каждом доме в качестве покровительницы крупного рогатого скота, воплощена душа первой хозяйки дома» [Гура 2004: 83]. В рассматриваемой локальной традиции представления об этом мифологическом персонаже развиты в малой степени. Опираясь на собранные во время экспедиции данные, можно лишь предположить, что жители поселка Северный Коммунар воспринимают ласку, скорее, как вредоносного персонажа, чем как хранителя домашнего скота.

Иногда информанты указывают на неопределенный облик персонажа: [А бывает, что кто-то давит?] *Бывало. Один раз я во сне видела. Я как-то сплю, во сне я вижу, что что-то белое на мне сидит.* В данном случае, поскольку облик персонажа точно не обозначен и сам персонаж не назван, на его принадлежность к «нечеловече-

скому» миру указывает лишь цвет, поскольку в народной культуре белый выступает как «один из основных элементов цветовой символики, противопоставленный прежде всего черному цвету и красному цвету» [Толстой 2009: 151]. Семантика белого в народной традиции многообразна: пара *белый – черный* находится в одном ряду с такими корреляциями, как *хороший – плохой, мужской – женский, живой – мертвый* и т. д. Как представляется, в нашем примере белый, как один из элементов цветового спектра, обладающий большой культурной нагруженностью, маркирует принадлежность персонажа к миру демонов.

Наконец, некоторые информанты утверждают, что домовый невидим: [Как домовый выглядит?] *Ну внучка вот спрашивала, не так давно было дак, я говорю: «Он, его, – горю, – не видно, он прячется»*. Такие представления также находятся в рамках общеславянской традиции: «Часто полагают, что домовый невидим ... и показывается людям только как предвестник какого-л. события» [Левкиевская 1999а: 121].

При этом жители поселка утверждают, что домового могут видеть кошки, собаки и дети до пяти лет: *Ну вот девочка. Играет вот домовёнок сильно с нашей Алинкой. Она ведь прямо расхохочется, куда-то смотрит, головой куда-то крутит*. [А она маленькая?] *Маленькая, ей десять месяцев; ...я слышала, что животные – собаки, кошки, – они видят нечистую силу, и дети до пяти лет тоже видят*.

Отметим, что эти представления находятся в русле общеславянской традиции. Так, кошка в традиционной культуре славян имеет двойственную природу: с одной стороны, она воспринимается как воплощение дьявола или иной нечистой силы, с другой – она может видеть представителей «нечеловеческого» мира и защищать от них человека и его дом [Гура 1999: 638]. Собака также имеет различную семантическую нагрузку в народной культуре: она может трактоваться и как нечистое животное, связанное с потусторонним миром, и как покровитель семьи, охраняющий ее от демонов [Гура 2012: 94].

Представления о том, что домового могут видеть маленькие дети, на наш взгляд, связаны с тем, что в народной культуре «новорожденный ребенок воспринимается как существо, не принадлежащее к миру людей» [Панченко 2004], поэтому обязательным считалось проведение обрядов, связанных с рождением и первыми годами жизни ребенка и выступающих как комплекс мероприятий, направленных на придание ему «человеческих» качеств [там же]. К таким обрядам относились обрезание пуповины, перепекание, крещение и ритуал пострига (об этом

см.: [Байбурин 1991: 258]). Как указывает А. Панченко, последний из перечисленных обрядов мог проводиться на третьем или пятом году жизни и завершал «очеловечивание» ребенка [Панченко 2004]. Таким образом, до пяти лет ребенок еще находился между миром людей и «нечеловеческим» миром, он не был «до конца» человеком. Именно это, как представляется, и позволяло ему видеть демонов, в том числе домового.

Представления о гендерной принадлежности домового на территории поселка Северный Коммунар

Весьма интересны представления о гендерной принадлежности духа дома. Некоторые информанты считают, что персонаж может быть только мужского пола и что в каждом доме может быть только один домовый: [В одном доме один домовый или целая семья?] *Суседушка-батюшка, он вроде один и как бы самец. Даже про женский пол и не слыхала*; [А не говорили, что суседиха прядет?] *Суседиха – нет, почему-то суседка*. [Только про мужика говорили?] *Про мужика говорили*.

Другие информанты утверждают, что дух может быть и женского пола, при этом такой дух является злым, вредоносным, особенно по отношению к мужчинам, стремится выгнать их из дома: *Я слышала, если домовый – женщина, она хуже в сто раз, чем мужчина-домовый. Она злее, она в доме не терпит мужчин, выгоняет, вот мужской пол вообще никакой не любит*.

Третьи говорят, что в доме могут быть два духа, которые называются по-разному: *домовой* (мужчина) и *суседка* (женщина), причем локусы их обитания различны: домовый находится в доме (т. е. в его верхней, жилой части), а суседка – в подполье, причем она является вредоносным персонажем: [А домового суседкой не называли?] *Мне кажется, суседка – это другое. Домовой – это который живёт дома, а суседка – это в подполье. И говорят: «Ой, сёдня так ночью плохо спала, прямо удушье какое-то». И говорят: «Дак тебя суседка душит приходила». Когда вот хозяин дома неладный суседке, например, или что-то сделал не так, то вот суседка приходит и душит*. [А это он или она?] *Она*.

В славянской традиции существуют представления как о единственном домовом в доме, так и о наличии в жилище нескольких домашних духов (разного пола), однако в последнем случае все домовые являются «родственниками» (т. е. у домового есть жена и дети): часто, согласно поверьям, он имеет семью..., причем ее состав в точности повторяет состав человеческой семьи в этом доме..., а жизнь семьи домового повторяет

жизнь семьи человека» [Левкиевская 1999а: 123]. У славян также есть представления о различных местах обитания домового (весь дом, голбец, угол за печью и т. д.) и о том, что этот дух может как помогать хозяевам, так и наказывать их.

Верования же, зафиксированные на территории поселка Северный Коммунар (в доме одновременно могут быть два духа мужского и женского пола, не являющихся «мужем» и «женой», живущих в разных частях дома и противопоставленных по функции: мужской персонаж – покровитель дома, женский персонаж – вредоносный дух), на наш взгляд, являются интересной комбинацией описанных выше славянских поверий. Отметим, что, согласно материалам архивов, именно такая комбинация верований не встречается ни в одном другом районе Пермского края. Таким образом, можно предполагать, что данный комплекс представлений составляет специфику мифологической традиции поселка Северный Коммунар.

Характерные действия и функции домового в представлениях жителей поселка Северный Коммунар

Рассмотрим теперь представления о поведении персонажа. Можно выделить четыре группы различных действий домового. К первой из них отнесем характерные, типичные действия персонажа, т. е. такие, которые просто указывают на присутствие духа в доме и не направлены на человека; в системе народной культуры такие действия выступают не как предикат, а как атрибут. К таким действиям севернокоммунарского домового можно отнести открывание дверей в доме, разбрасывание посуды, беготню по дому ночью, запутывание украшений: *Он мог **открыть двери**. Вот ни с того ни с сего – мы сидим, например, на кухне за столом – **дверь** возьмёт и **откроется** либо там **тарелка полетела** не туда; *Старики-то говаривали, что он даже **ночью выбегает, бегаёт** по дому; У меня дак вот всякие побрякушки вот, я положу, расправлю. Утром встану – ну такие **узлы навязаны!** Вот эти побрякушки все у меня любит. У меня уже шкатулочка – вот сиди и **играй**, чё надо тебе – делай всё. [Это он играет или хулиганит?] Я думаю, **играет**.* Отметим, что эти способы, которыми домовый проявляет свое присутствие в доме, в целом типичны для славянской и пермской традиции.*

Три оставшиеся группы действий домового выделяются в соответствии с тремя основными функциями духа – помогать, наказывать, вредить [Виноградова 2000] – включают в себя т. н. релевантные действия домового, т. е. «маркированные и устойчиво сохраняющиеся в традиции

действия персонажа, наделенные определенным иллюкутивным значением, вместе с закрепленной за этими действиями совокупностью признаков (локативных и темпоральных), характеризующих обстоятельства, при которых они реализуются» [Левкиевская 2007: 7]. Эти действия персонажа, в отличие от рассмотренных выше, имеют символическое значение в народной культуре и направлены на человека.

Согласно славянским верованиям, домовый «мыслится как хозяин и покровитель дома, семьи, скота и хозяйства в целом. ...Домовой выполняет все хозяйственные работы..., охраняет дом» [Левкиевская 1999а: 123]. Мифологические представления жителей поселка Северный Коммунар в целом не отличаются от общеславянских: *Если почитаешь этого господина домового, то и он и сытый, и за хозяйством будет **следить**, если соблюдаешь его требования; Домовой-то, мне кажется, он, наоборот, **охраняет дом**. Он совсем не вредит дому; А про домовых тоже что-то вот такое было, что вот там домовый, что он **охраняет дом**. [Он хозяевам ничего плохого не может сделать?] Да нет, домовый – он, он же **бережёт дом**; Она и говорит: **«Играет** вот домовёнок сильно с нашей Алинкой. Она ведь прямо расхохочется, куда-то смотрит...»; Вот у меня мама тоже просыпается с утра – у неё на макушке прямо вот так **закатаны волосы**, как будто она всю ночь вот так вертела головой. Расчешем, всё, с ней. На следующую ночь опять то же самое. И потом кто-то сказал: «Дак это, – говорит, – просто домовый её очень сильно любит, и он ей ночью **катает волосы**». Я слышала про лошадей ещё так, что когда домовые любят лошадей, то они **гриву** им **закатывают**.*

О последнем примере следует сказать подробнее. Дело в том, что в славянской народной культуре завивание (закручивание) имеет двойную семантику. С одной стороны, оно может выступать как «ритуальное действие, имеющее защитные и продуцирующие функции... Соотносится с зарождением, ростом, приумножением» [Плотникова 1999: 232]. С другой стороны, оно может быть связано с вредоносными действиями нечистой силы, демонов [там же]. В приведенном фрагменте, как представляется, мы имеем дело с первым из указанных значений, поскольку в тексте говорится, что домовый таким способом проявляет свое расположение к любимому члену семьи или к любимой скотине. Отметим, что в материалах экспедиции есть и примеры, иллюстрирующие второе из описанных культурных значений завивания, они будут рассмотрены ниже.

Помимо защиты дома и семьи, домовый «своим поведением или появлением предвещает будущее, предупреждает об опасности, отводит беду» [Левкиевская 1999а: 122]. Эти общеславянские верования присутствуют и в Северном Коммунаре. Так, жители отмечают несколько способов предсказания домовым будущего хозяев: 1) он *давит* (душит) хозяина (это наиболее распространенные в славянском ареале представления), при этом, приходя к хозяину в виде кота, *мурлычет*: *Он иногда приходит к хозяину и, если предсказать нужно, он в виде кота приходит там ему на кровать, например, на хозяина прыгает и мурлычет. И у него спрашивают: «К худу или к добру», и он отвечает. [Прямо человеческим голосом?] Ну как кот. А если к добру, он мурлычет так. [А если не к добру?] Ну не к добру, наверно, по-другому как-то. Ну вот он на него ложится и давит; 2) «делает приметы»: *Он не предсказывал, он делал приметы, а старые люди, бабушка – она всегда сразу видела приметы эти, замечала. Вот, например, если она вот кастрюлю поставила так, а она передвинута, утром встаёт. Или когда вот в печке угли выпадают. «Когда печка топится и выпадают угли – это, – го[вор]ит, – всегда будут гости в доме»; Я не знаю, злость он может причинить или нет, но предсказать может, что вот «может что-то плохое у вас произойти». Тогда старушка у нас жила, так она гыт: «Вот ведь веник прямо ходуном ходит, опять домовый приходил». [А почему веник ходуном ходит?] Вроде бы домовый, домовёнок там шевелится.**

По славянским поверьям, домовый «будучи мифологическим главой семьи, следит за отношениями между домочадцами, наказывая зачинщиков ссоры, лжецов, нерях» [Левкиевская 1999а: 122]. Эти представления широко распространены на территории поселка Северный Коммунар. Согласно местным верованиям, дух дома наказывает жильцов, если они ссорятся; оставляют грязную посуду на столе на ночь; сметают мусор в подвал (или плохо убирают дом); находясь дома, не следят за своим внешним видом (например, ходят с нерасчесанными волосами); плохо едят; оставляют обеденный стол пустым на ночь. Способы наказания могут быть самыми разными: домовый 1) пугает: *Он [домовой] даже воспитывает иногда. [Как?] Каким-нибудь наказанием, пугает. Например, может напугать пожаром. Но дом не сгорит дотла прямо, а вот незначительно что-то, чтобы припугнуть. [Если посуду грязную оставляли, тоже ему не нравится, говорят?] Да, посудой иногда гремит. Иногда вот в печке как будто бы шуршит кто-то; [А почему нельзя на столе оставлять немытую посуду?] Домовой ходит, с этих тарелок*

*потом, не любит. Вот ко[г]да, говорят, посуду перебирает, пугает, что такая вот засранка; Но опять говорят, что пустым стол не оставляют, чтобы домовому было чем полакомиться. Если он чем-то не лакомится, значит, он начинает пакостить, пугает людей; 2) причиняет хозяевам мелкие бытовые неприятности: [А вот говорят, что ему не нравится, если хозяйка ругаются, если посуду оставляют немытую или там мусор не вынесли...] Призывает к порядку, да. [А что он будет делать?] Некоторые рассказывают, что тарелки со стола роняет, грязную посуду; Как говорят: «Плохо поешь – рубаху соседка изорвёт»; [Информант 1:] Переехали в квартиру, благоустроенную квартиру. Мы сначала не замечали, потом у нас ложек чайных вообще мало осталось. [Информант 2:] У меня их тоже две осталось. Также домовый куда-то носит. [Информант 1:] Потом я как-то утором просыпаюсь, помню, что я ложку оставлял чайную на столе. Нету ложки. Везде обыскались – нету. Дошло до того, что одна ложка или две ли осталось дома. И потом кто-то подсказал: «Это у вас домовый ходит, потому что вы всё убираете на ночь со стола. Это просто домовый пакостит»; 3) душит: *Когда вот хозяин дома неладный соседке, например, или что-то сделал не так, то вот соседка приходит и душит; 4) заплетает волосы: Косы наплетла соседка. Когда вовремя не расчесала девочка волоски свои, а ей там накудлрачили, накудлрачили кто-то там. Отметим, что в данном случае заплетание волос имеет негативную семантику: оно направлено не на защиту человека и не на улучшение его здоровья или благосостояния, а на причинение ему вреда (чтобы волосы нельзя было расчесать).**

Нужно сказать, что все перечисленные способы наказания домовым хозяев жилища за неправильное поведение характерны для славянской традиции. Однако в материалах экспедиции встретился еще один мотив, связанный с наказанием духом человека: домовый может зацекотать его: *«Он [домовой] ничё плохого не делает. Но поймает тебя – зацекочет». А то у нас, на вышку туда лезти, лестница и высоко. Поэтому, чтоб [внучка] не лазила, поэтому [я] так говорила вот. Необходимо заметить, что указанное действие является одной из основных функций славянской русалки и совсем не характерно для домового, ср.: русалка – «персонаж восточнославянской мифологии, вредоносный дух, появляющийся в летнее время в виде длинноволосой женщины в злаковом поле, в лесу, у воды, способный зацекотать человека насмерть или утопить в воде» [Виноградова 2009: 495]. Таким образом, мы видим здесь тенденцию к размыванию традиционных образов двух персонажей и их контаминации.*

Вредоносное воздействие домового на человека, его семью и хозяйство, согласно представлениям славян, может быть не связано с поведением жильцов дома. Иногда домовый может вредить людям только потому, что ему не нравятся человек или скотина, либо вообще без повода. Так, жители поселка Северный Коммунар называют следующие вредоносные действия персонажа: [Информант 1:] *Бывает, что люди рассказывают, что шорохи слышат, и говорят, что вот суседушка там ходит, пугает.* [Информант 2:] *Суседка спать не даёт; И вот она сказала: «Я стала видеть домового. Он там стал пакостить: то посуду перебьёт, то одна тарелка ломается, то другая; Жила семья в одном доме. И домовый очень не любил хозяина дома. И он ночью приходил, сдёргивал одеяло и шлёпал ему по мягкому месту. Раньше же кадушки были всякие, дак вот с места на место ночью начнёт перекачивать кадушку: туда-сюда, туда-сюда. Вредничает, видимо; Придут вот в конюшню утром, а уж пена вот у коней в этот, и все мокрые. Вот гонял, видимо, по конюшню-то скотину.* Все указанные мотивы не выходят за рамки общеславянской традиции.

Трансформация представлений о домовом на территории поселка Северный Коммунар

Мы видим, что комплекс представлений о домовом на территории поселка Северный Коммунар является достаточно развитым. Однако в материалах экспедиции есть группа текстов, в которых эти представления сильно редуцированы. В таких текстах представлен минимум признаков демона (только одна черта внешнего облика, или только место обитания, или только какое-либо одно релевантное действие) либо они не представлены вообще и имеется лишь название духа; в этих случаях домовый выступает уже не как мифический хозяин дома, а как персонаж, которым пугают детей: *Нет, я вот нико[г]да лично сама не слышала [о домовом]. Может быть, это даже ещё с целью, чтобы детей, например, к дисциплине легче было приучать, что: «Смотри, домовый придёт!..»; Просто сказки ребятам, детям читала дак, конечно, припугнуть надо... И сейчас внучку тоже, я говорю: «Там дяденька сидит, домовый сидит тут всё так». Она: «Боюсь, боюсь!»; У нас в деревне как говорили: «Девки, не лизьте в голбеч-то, – голбец, подвал, – там суседка сидит». Нас маленьких пугали.*

Иногда редукция представлений о персонаже бывает настолько сильной, что названия домового начинают использоваться по отношению к другим мифологическим персонажам, в частности к лешему: [А в доме суседка живет?] *Я недавно слышал по телевизору, что где-то в*

Пермской области поймали суседка где-то в лесу охотники и лесного человечка поймали; [Нужно кормить суседку?] У нас это суседка... кружит. [Кружит?] Вот тут вверху есь, где вот вышка, там всегда кружит в лесу почему-то, люди как блудятся. Вероятно, такая контаминация названий домового и признаков лесного духа (домовой помещается в лес – локус лешего, ставится в один ряд с лесным человечком и кружит – функция лешего, см.: [Левкиевская 2004]) связана с тем, что в сознании жителей поселка постепенно стираются границы между персонажами и оба демона начинают восприниматься просто как представители «нечистой силы», и для информанта уже не существенно первоначальное различие их признаков, локусов и функций, поэтому их названия используются говорящим как синонимы.

Заключение

Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. В поселке Северный Коммунар Сивинского района до настоящего времени сохранился достаточно развитый комплекс представлений о домовом, который включает многие общеславянские верования:

- имя персонажа табуировано и заменяется «хвалебными именами»;
- дух проживает в доме вместе с человеком;
- домовый является представителем нечистой силы;
- домовым является дух предводителя семьи, проживающей в доме;
- персонаж может принимать антропоморфный (иногда с зооморфными чертами), зооморфный либо неопределенный облик;
- демон невидим для человека (его видят лишь дети до пяти лет, а также собаки и кошки);
- домовый может проявлять свое присутствие разными способами (открытие дверей в доме, разбрасывание посуды, беготня по дому ночью, запутывание украшений);
- ключевыми функциями персонажа являются: 1) защита дома и помощь человеку; 2) наказание жильцов за неправильное поведение; 3) причинение вреда человеку, его семье и хозяйству.

2. Специфика мифологических верований о домовом, функционирующих на территории поселка, по сравнению со славянской традицией в целом и с пермской традицией в частности, заключается в следующих аспектах:

- двухкомпонентные лексемы (*дедушка-домовой, суседушка-батюшка*) используются лишь как номинации персонажа, а не как обращения к нему в составе заговорных текстов;

– встречается мотив о том, что домовый может принимать вид ребенка (ср. номинацию *домовой ребеночек*);

– существует верование о наличии в доме сразу двух домашних духов, не составляющих «семью» и имеющих различные функции: один дух – мужского пола, обитающий в жилой части дома и являющийся покровителем домашнего хозяйства; другой дух – женского пола, обитающий в подполье и являющийся вредоносным для человека и его хозяйства.

3. Сегодня прослеживается активное воздействие СМИ на народную мифологическую традицию жителей поселка. Так, информанты дают своему домашнему духу имя *Кузька*, что, вероятно, происходит под влиянием известного мультфильма «Домовенок Кузя».

4. Другой тенденцией, касающейся мифологических верований рассматриваемой территории, является их серьезная редукция. Одним из проявлений этой тенденции служат случаи, когда дух-«хозяин» дома теряет почти все свои отличительные признаки и превращается в персонаж, которым пугают детей. Другим проявлением можно назвать приписывание домовому функций других персонажей (например, *защекотать* – изначально действие славянской русалки; *кружить* – действие лешего), либо его названия начинают использоваться по отношению к другим персонажам (например, к лешему) и персонаж помещается в чужой для него локус (*лес*). В такой ситуации информант уже не проводит границу между персонажами, они все становятся для него просто представителями «нечистой силы».

Примечание

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-312-00140 «Разработка принципов представления мифологической лексики в электронном словаре (на материале мифологических текстов Пермского края)».

Условные сокращения районов Пермского края

Ильин. – Ильинский, Караг. – Карагайский, Сол. – Соликамский, Чайк. – Чайковский, Черд. – Чердынский

Список источников с сокращениями

СРГЮП – *Словарь русских говоров Южного Прикамья* / И. А. Подюков (науч. ред.); С. М. Поздеева, Е. Н. Свалова, С. В. Хоробрых, А. В. Черных; Перм. гос. пед. ун-т. Пермь, 2010. Вып. 1. Абалтус – Кычига. 456 с.

ФА ПГНИУ – *материалы* архива лаборатории региональной лексикологии и лексикографии при кафедре теоретического и прикладного язы-

кознания Пермского государственного национального исследовательского университета (рук. к. филол. н., доц. И. И. Русинова) и архива лаборатории «Фольклор Прикамья» при кафедре русской литературы Пермского государственного национального исследовательского университета (рук. к. филол. н., доц. С. Ю. Королёва).

Список литературы

Байбурин А. К. Обрядовые формы половой идентификации детей // Этнические стереотипы мужского и женского поведения: сб. ст. / отв. ред. А. К. Байбурин, И. С. Кон. СПб., 1991. С. 257–265.

Виноградова Л. Н. Русалка // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 4: П (Переправа через воду) – С (Сито). М.: Междунар. отн., 2009. С. 495–501.

Виноградова Л. Н., Левкиевская Е. Е. Духи домашние // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2: Д (Давать) – К (Крошки). М.: Междунар. отн., 1999. С. 153–155.

Виноградова Л. Н., Толстая С. М. К проблеме идентификации и сравнения персонажей славянской мифологии // Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал. М., 1994. С. 16–44.

Власова М. Н. Новая АБЕВЕГА русских суеверий. СПб.: Северо-Запад, 1995. 383 с.

Гура А. В. Кошка // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2: Д (Давать) – К (Крошки). М.: Междунар. отн., 1999. С. 637–640.

Гура А. В. Ласка // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 3: К (Круг) – П (Перепелка). М.: Междунар. отн., 2004. С. 82–85.

Гура А. В. Собака / А. В. Гура // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 5: С (Сказка) – Я (Ящерица). М.: Междунар. отн., 2012. С. 93–95.

Левкиевская Е. Е. Восточнославянский мифологический текст: семантика, диалектология, прагматика: дис. ... д-ра филол. наук. М., 2007. 634 с.

Левкиевская Е. Е. Домовой // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2: Д (Давать) – К (Крошки). М.: Междунар. отн., 1999а. С. 120–124.

Левкиевская Е. Е. Задабривать // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2: Д (Давать) – К (Крошки). М.: Междунар. отн., 1999б. С. 244–246.

Левкиевская Е. Е. Леший // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 3: К (Круг) – П (Перепелка). М.: Междунар. отн., 2004. С. 104–108.

Панченко А. Отношение к детям в русской традиционной культуре // Отечественные записки. М., 2004. URL: <http://www.strana-oz.ru/2004/3/otnoshenie-k-detyam-v-russkoy-tradicionnoy-kulture> (дата обращения: 29.08.2019).

Плотникова А. А. Завивать // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2: Д (Давать) – К (Крошки). М.: Междунар. отн., 1999. С. 232–233.

Плотникова А. А. Шерсть // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 5: С (Сказка) – Я (Ящерица). М.: Междунар. отн., 2012. С. 576–579.

СД – Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отн., 1995–2012. Т. 1–5.

Толстой Н. И. Белый цвет // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 4: П (Переправа через воду) – С (Сито). М.: Междунар. отн., 2009. С. 151–154.

References

Bayburin A. K. Obryadovye formy polovoy identifikatsii detey [Ritual forms of sexual identification of children]. *Etnicheskie stereotipy muzhskogo i zhenskogo povedeniya: sb. st.* [Ethnic stereotypes of male and female behavior: Collection of articles]. Ed. by A. K. Bayburin. I. S. Kon. St. Petersburg, 1991, pp. 257–265. (In Russ.)

Vinogradova L. N. Rusalka [Mermaid]. *Slavyanskije drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 t.* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols.]. Ed. by N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunar. otnosheniya Publ., 2009, vol. 4. P (Peroprava cherez vodu) – S (Sito) [P (Water crossing) – S (Sieve)], pp. 495–501. (In Russ.)

Vinogradova L. N., Levkievskaya E. E. Dukhi domashnie [Spirits of the house]. *Slavyanskije drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 t.* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols.]. Ed. by N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunar. otnosheniya Publ., 1999, vol. 2. D (Davat') – K (Kroshki) [D (Give) – K (Crumbs)], pp. 153–155. (In Russ.)

Vinogradova L. N., Tolstaya S. M. K probleme identifikatsii i sravneniya personazhey slavyanskoy mifologii [To the problem of identification and comparison of characters of Slavic mythology]. *Slavyanskiy i balkanskiy fol'klor. Verovaniya. Tekst. Ritual* [Slavic and Balkan folklore. Beliefs. Text. Ritual]. Moscow, 1994, pp. 16–44. (In Russ.)

Vlasova M. N. *Novaya ABEVEGA russkikh suveriy* [New ABEVEGA of Russian superstitions]. St. Petersburg, Severo-Zapad Publ., 1995. 383 p. (In Russ.)

Gura A. V. Koshka [Cat]. *Slavyanskije drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 t.* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols.]. Ed. by N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunar. otnosheniya Publ., 1999, vol. 2. D (Davat') – K (Kroshki) [D (To give) – K (Crumbs)], pp. 637–640. (In Russ.)

Gura A. V. Laska [Marten]. *Slavyanskije drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 t.* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols.]. Ed. by N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunar. otnosheniya Publ., 2004, vol. 3. K (Krug) – P (Peropelka) [K (Circle) – P (Quail)], pp. 82–85. (In Russ.)

Gura A. V. Sobaka [Dog]. *Slavyanskije drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 t.* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols.]. Ed. by N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunar. otnosheniya Publ., 2012, vol. 5. S (Skazka) – Ya (Yashcheritsa) [S (Fairy tale) – Ya (Lizard)], pp. 93–95. (In Russ.)

Levkievskaya E. E. *Vostochnoslavyanskiy mifologicheskiy tekst: semantika, dialektologiya, pragmatika*. Diss. dokt. filol. nauk. [East Slavic mythological text: Semantics, dialectology, pragmatics. Dr. philol. sci. diss.]. Moscow, 2007. 634 p. (In Russ.)

Levkievskaya E. E. Domovoy [Boggart]. *Slavyanskije drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 t.* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols.]. Ed. by N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunar. otnosheniya Publ., 1999a, vol. 2. D (Davat') – K (Kroshki) [D (Give) – K (Crumbs)], pp. 120–124. (In Russ.)

Levkievskaya E. E. Zadabrivat' [Soften up]. *Slavyanskije drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 t.* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols.]. Ed. by N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunar. otnosheniya Publ., 1999b, vol. 2. D (Davat') – K (Kroshki). [D (To give) – K (Crumbs)], pp. 244–246. (In Russ.)

Levkievskaya E. E. Leshiy [Goblin of the woods]. *Slavyanskije drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 t.* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols.]. Ed. by N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunar. otnosheniya Publ., 2004, vol. 3. K (Krug) – P (Peropelka) [K (Circle) – P (Quail)], pp. 104–108. (In Russ.)

Panchenko A. Otnoshenie k detyam v russkoy traditsionnoy kul'ture [Attitude to children In Russian traditional culture]. *Otechestvennyye zapiski*. [Domestic notes]. Moscow, 2004. Available at: <http://www.strana-oz.ru/2004/3/otnoshenie-k-detyam-v-russkoy-tradicionnoy-kulture> (accessed 29.08.2019). (In Russ.)

Plotnikova A. A. *Zavivat'* [To curl]. *Slavyanskije drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 t.* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols.]. Ed. by N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunar. Otnosheniya Publ., 1999, vol. 2. D (Davat') – K (Kroshki). [D (To give) – K (Crumbs)], pp. 232–233. (In Russ.)

Plotnikova A. A. *Sherst'* [Wool]. *Slavyanskije drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 t.* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols.]. Ed. by N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunar. Otnosheniya Publ., 2012, vol. 5. S (Skazka) – Ya (Yashcheritsa) [S (Fairy tale) – Ya (Lizard)], pp. 576–579. (In Russ.)

SD – *Slavyanskije drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 t.* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols.]. Ed. by N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunar. otnosheniya Publ., 1995–2012, vols. 1–5. (In Russ.)

Tolstoy N. I. *Belyy tsvet* [White color]. *Slavyanskije drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 t.* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols.]. Ed. by N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunar. otnosheniya Publ., 2009, vol. 4. P (Pereprava cherez vodu) – S (Sito) [P (Water crossing) – S (Sieve)], pp. 151–154. (In Russ.)

MYTHOLOGICAL TRADITION OF THE SEVERNY KOMMUNAR VILLAGE (SIVINSKY DISTRICT, PERM REGION): IDEAS AND BELIEFS ABOUT THE HOUSEHOLD SPIRIT

Mariia A. Granova

Postgraduate Student in the Department of Theoretical and Applied Linguistics

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. marjanaandreeva@mail.ru

SPIN-code: 3653-3938

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2577-6652>

ResearcherID: D-2785-2018

Submitted 29.08.2019

The article examines the folk beliefs associated with the household spirit living in a house that are typical of the territory of the named district. The research is based on records of dialectal speech of Russian residents of the village of Severny Kommunar in the Sivinsky district of the Perm region collected by teachers and students of the Faculty of Philology of Perm State National Research University in June 2019. The study aims to compare these beliefs with the common Slavic folk tradition and mythological ideas of the Russians living in the Perm region. The analysis made it possible to establish that in the village of Severny Kommunar, there is still preserved a well-developed set of ideas about the household spirit that includes many Slavic beliefs. The specificity of the beliefs of this territory consists in three aspects: firstly, two-component lexemes (grandfather-boggart, neighbor-father) act as nominations of the character and not as ritual appeals to him; secondly, there is a motif that the household spirit can take the form of a child (boggart baby); thirdly, there is a belief about the simultaneous presence in the house of two house spirits with opposite characteristics (a male patron spirit living in the residential part of the house and a harmful female spirit living in the cellar). The study also allows us to see two key trends regarding the folk mythological tradition of the inhabitants of the village: first, there is an active influence of the mass media on the demonological ideas in this territory; second, there takes place a serious reduction of these beliefs (for example, the household spirit gradually loses its distinctive characteristics and either turns into a character that scares children or begins to be perceived as a representative of 'evil spirits' in general).

Key words: household spirit; Slavic mythological tradition; transformation of mythological ideas; Severny Kommunar; Perm region.

УДК 811.111

doi 10.17072/2073-6681-2019-3-38-46

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЭМОЦИЙ В КАЧЕСТВЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕКСТОВ

Анастасия Владимировна Колмогорова**д. филол. н., профессор, зав. кафедрой романских языков и прикладной лингвистики
Сибирский федеральный университет**

660041, Россия, г. Красноярск, Свободный просп., 79. nastiakol@mail.ru

SPIN-код: 4582-4134

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6425-2050>

ResearcherID: D-9618-2017

Любовь Александровна Вдовина**магистрант I курса****Сибирский федеральный университет**

660041, Россия, г. Красноярск, Свободный просп., 79. lu.vdovina@gmail.com

SPIN-код: 1651-8340

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8129-8408>

ResearcherID: F-2690-2019

*Статья поступила в редакцию 22.03.2019***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:***Колмогорова А. В., Вдовина Л. А. Лексико-грамматические маркеры эмоций как параметры для sentiment-анализа русскоязычных интернет-текстов // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 38–46. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-38-46***Please cite this article in English as:***Kolmogorova A. V., Vdovina L. A. Leksiko-grammaticheskie markery emotsiy kak parametry dlya sentiment-analiza russkoyazychnykh internet-tekstov [Lexical and Grammatical Markers of Emotions as Parameters for Sentiment Analysis of Internet Texts in Russian]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 3, pp. 38–46. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-38-46 (In Russ.)*

Рассматриваются промежуточные результаты создания автоматического классификатора русскоязычных интернет-текстов, распределяющего тексты на 8 классов в соответствии с 8 базовыми эмоциями, выделяемыми шведским биологом Гуго Левхеймом: «злость / гнев», «интерес / возбуждение», «удовольствие / радость», «брезгливость / отвращение», «удивление», «стыд / унижение», «страх / ужас», «страдание / тоска». Материалом для формирования обучающей выборки для классификатора послужили анонимные текстовые записи в жанре «интернет-откровения» пользователей в социальной сети «ВКонтакте». В основе работы классификатора лежит алгоритм машинного обучения с использованием метода опорных векторов. На вход классификатору подаются различные лингвистические параметры: например, частотность использования пунктуационных знаков «?», «!», «?!», «...», усилительных наречий, а также коллокации «когда люди говорят»; наличие в обрабатываемом тексте отрицательной частицы «не», конструкций «такой + прилагательное», «так + наречие», парцелляции, вопросительных слов, частицы «-то», лемм из лексико-семантических полей «смерть», «болезнь», «семья», «одиночество». На выходе получаем на основе учета статистической значимости «входящих» параметров текста его атрибуцию к одному из 8 эмоциональных классов текстов.

Результаты, рассматриваемые в публикации, заключаются в валидации дискриминантных черт текстов различных эмоциональных классов, выделенных исследовательской группой в предыдущих публикациях в качестве параметров для автоматической атрибуции текстов. Рассматривается степень

их влияния на точность работы классификатора. Достигнутая точность классификатора сравнивается с показателями фиктивного классификатора, осуществляющего атрибуцию случайным образом.

В заключение делаются выводы о наиболее эффективных для работы классификатора лингвистических параметрах, оценивается перспективность данного проекта с точки зрения практических задач, а также поднимается вопрос о продолжении исследования для увеличения точности атрибуции.

Ключевые слова: вербальные маркеры; машинное обучение; сентимент-анализ; эмоциональная тональность; ранжированный классификатор; классификация базовых эмоций; компьютерная лингвистика; социальные медиа.

Введение

Развитие современных технологий в значительной степени повлияло на все научные дисциплины, в том числе и на языкознание. Сегодня особый интерес представляют исследования в области компьютерной лингвистики, поскольку они позволяют автоматически обрабатывать и анализировать большой объем языковых данных, в том числе веб-страницы, блоги и социальные медиа.

Публикация посвящена описанию вербальных маркеров, используемых в качестве параметров для автоматической атрибуции русскоязычных интернет-текстов к одному из 8 эмоциональных классов текстов. Работа выполняется в рамках сентимент-анализа. Подобные исследования предполагают выявление тональности текста при помощи методов NLP (обработки естественного языка), статистики, машинного обучения [Pang, Lee 2002; Pang, Lee 2008]. На сегодняшний день в исследовательской и технологической практике преобладают классификаторы, способные автоматически определять либо две тональности текста (позитивную и негативную), либо три, включая нейтральную (проекты см.: [Bollen, Mao, Zeng 2011; Chetviorkin, Loukachevitch 2013]). Атрибуция же текстов к разнообразным классам эмоций, в особенности на русскоязычном материале, пока представляет собой определенную лакуну.

В данной статье предметом обсуждения является статистическая релевантность ряда вербальных маркеров, предварительно полученных путем лингвистического анализа, в ходе их использования в качестве параметров для работы классификатора. Маркеры валидируются на основе выявления зависимостей между подаваемыми на вход модели машинного обучения по прецедентам параметрами и точностью атрибуции текстов в результате работы классификатора.

1. Классификация базовых эмоций

За основу классификации взята трехмерная модель базовых эмоций шведского биолога Г. Левхейма, визуализированная им в виде куба. Модель призвана описать корреляции между уровнем в крови субъекта эмоции специфических гормонов, выполняющих функции мона-

минных медиаторов, – допамина, норадреналина и серотонина – и эмоциональным состоянием, испытываемым субъектом. Основные эмоции упорядочены в ортогональной системе координат трех основных моновалентных осей. Конец каждой из осей репрезентирует низкие и высокие уровни медиаторов, в то время как в каждом из 8 углов находится одна из базовых эмоций, выделяемых Г. Левхеймом вслед за С. Томкинском и обозначаемых двучленными терминами для дифференцирования слабой и сильной степеней интенсивности эмоции [Lövhelm 2012].

Таким образом, в зависимости от уровней норадреналина, допамина и серотонина выделяются следующие базовые эмоции: «злость / гнев», «интерес / возбуждение», «удовольствие / радость», «брезгливость / отвращение», «удивление», «стыд / унижение», «страх / ужас», «страдание / тоска».

2. Представление данных и выбор алгоритма

Для создания компьютерного классификатора был выбран подход, основанный на машинном обучении с учителем (машинное обучение по прецедентам). При реализации такого подхода построение классификатора происходит на специально размеченном текстовом корпусе (обучающей выборке), в котором текстам приспаны метки, кодирующие важные признаки распознаваемых единиц / текстов. Обучение представляет собой по сути выявление общих закономерностей, присущих текстам, на основе данных обучающей выборки [Юсупова, Богданова, Бойко 2012].

В качестве используемого алгоритма классификации был выбран метод опорных векторов (SVM), поскольку это наиболее быстрый метод нахождения решающих функций [Wiebe, Riloff 2005; Witten, Frank 2005]. В данном методе используется разделяющая полоса максимальной ширины, благодаря чему в дальнейшем осуществляется более уверенная классификация. Программный код реализован на языке программирования Python, поскольку на данный момент он предоставляет наиболее широкий инструментарий для работы с естественным языком [Большакова 2017; VanderPlas 2017].

Обучающая выборка была сформирована нами из материала анонимных текстовых записей пользователей в паблике «Подслушано» социальной сети «ВКонтакте», повествующих об их личном опыте и эмоциональных переживаниях. Выборка состоит из 12123 постов, распределенных по классам следующим образом: «злость / гнев» – 1906, «интерес / возбуждение» – 2063, «удовольствие / радость» – 968, «брезгливость / отвращение» – 790, «удивление» – 2489, «стыд / унижение» – 902, «страх / ужас» – 2508, «страдание / тоска» – 497. Тексты частично были размечены по эмоциям экспертами-носителями русского языка на одной из краудсорсинговых платформ. Однако большая их часть была соотнесена с той или иной эмоцией благодаря соответствующим хештегам (например, #стыдно рассматривался как тематический маркер эмоции «стыд / унижение» и т. д.).

Таким образом, на вход классификатора подаются текстовые данные, которые при помощи функций преобразуются в числовое представление и помогают классификатору провести атрибуцию текстов к одному из 8 классов эмоций. Для улучшения качества модели на вход классификатора подаются также определенные параметры. В качестве последних используются вербальные маркеры – лексические единицы, их сочетания – коллокации, синтаксические конструкции, пунктуационные знаки, предварительно оцененные в ходе экспертного лингвистического анализа (подробнее о методике см.: [Колмогорова, Калинин 2018]) как потенциально значимые для текстов определенного класса.

3. Базовые вербальные маркеры, используемые в качестве параметров

Поскольку в качестве критерия атрибуции служит преобладающая в тексте эмоция, в качестве параметров были выбраны языковые средства, предположительно репрезентирующие конкретные эмоциональные состояния [Болотнов 1981; Шаховский 2009].

Благодаря использованию методов контекстного, семантического, синтаксического анализа с привлечением инструментария корпусного менеджера Sketch Engine для создания функций классификатора были выбраны следующие вербальные маркеры, характерные для отдельных классов эмоций [Колмогорова, Калинин, Маликова 2018; Колмогорова 2018]:

1) использование сочетания слов «так / такой + прилагательное (полное либо краткое)»;

2) использование сочетания слов «так + наречие»;

3) частотность отрицательной частицы *не* или слова *нет*;

4-7) частотность пунктуационных знаков «?», «!», «?!», «...»;

8) наличие парцелляции;

9) наличие вопросительных слов *кто, что, почему, где, как, куда, откуда, когда, какой, чей, отчего, зачем, сколько, кого*;

10) наличие лексем из лексико-семантического поля «болезнь»: *врач, болезнь, боль, неизлечимый, неизлечимо, больница, лекарство, таблетка*;

11) наличие лексем из лексико-семантического поля «смерть»: *смерть, умирать, умереть, могила, похороны, кладбище, оплакивать, оплакать, скорбеть, хоронить, похоронить, скончаться, захоронить, погибнуть, погибать, кремировать, осиротеть*;

12) наличие лексем из лексико-семантического поля «семья»: *жена, муж, супруга, супруг, мама, мать, папа, отец, брат, сестра, дочь, сын, ребенок, бабушка, дедушка, тетя, дядя, семья, прабабушка, прадедушка, правнук, правнучка, внук, внучка, племянник, племянница*;

13) наличие лексем из лексико-семантического поля «одиночество»: «одиночество», «одинокий», «одинок»;

14) частотность конструкции «когда люди говорят»;

15) частотность частицы «-то»;

16) частотность наречий меры степени: *очень, очень-очень, довольно-таки, достаточно, вполне, неслабо, настолько, сильно, невероятно, фантастически, удивительно, особенно, чертовски, столь, прямо-таки, необычайно, поистине, чрезвычайно, супер, исключительно, шибко, весьма, слишком, чересчур, чрезмерно, крайне, изрядно*;

17) наличие местоимений *сам, себя*;

18) частотность словоформ глагола *говорить*;

19) наличие слов, указывающих на «чужое слово», так называемых ксенопоказателей: *якобы, мол, дескать*.

Вышеперечисленные вербальные маркеры были проанализированы на предмет их частотности в текстах различных эмоциональных классов. По результатам тестирования были получены следующие результаты (табл. 1, где представлена доля текстов с ненулевым значением параметра в каждой категории эмоций).

Доля текстов (%), в которых присутствуют анализируемые вербальные маркеры,
в корпусе текстов каждого из классов
The Percentage of Texts Containing Analyzed Verbal Markers
among All Texts in Each of the Classes

Маркер / эмоция	Злость / гнев	Брезгливость / отвращение	Тоска / страдание	Удовольствие / радость	Интерес / возбуждение	Страх / ужас	Унижение / стыд	Удивление
1. Так / такой + прил.	5,299	4,9371	4,628	10,124	5,671	4,585	4,878	4,178
2. Так + наречие	5,089	3,165	5,634	5,372	4,653	5,502	14,856	5,022
3. Не, нет	76,337	69,114	72,032	68,492	73,534	81,140	74,723	74,166
4. ?	26,653	6,582	8,652	7,645	10,761	9,41	8,315	13,62
5. !	64,585	26,329	10,261	49,897	38,294	16,228	20,177	22,860
6. ?!	7,293	1,139	0,402	0,826	0,872	1,037	0,887	1,486
7. ...	13,746	21,645	22,938	17,975	17,693	25,478	26,607	20,088
8. Парцел.	13,064	11,013	11,268	13,533	14,736	17,464	10,421	10,888
9. Вопрос. слова	93,022	86,709	88,33	85,640	87,203	91,108	90,687	88,871
10. ЛСП болезнь	4,407	3,291	3,420	6,302	5,041	20,734	6,430	6,187
11. ЛСП смерть	1,941	0,633	4,829	3,202	2,036	27,153	6,208	4,299
12. ЛСП семья	22,560	26,835	21,931	40,392	33,786	56,579	43,237	36,119
13. ЛСП одиноч.	0,787	0,126	50,1	2,273	0,921	1,196	0,111	0,643
14. Когда люди...	2,676	0	0,201	0,103	0,194	0	0,111	0,161
15. -то	22,350	28,354	20,724	17,562	25,4	28,35	26,94	25,512
16. Нареч. меры и степени	15,845	16,835	26,559	19,835	24,479	22,328	28,825	21,977
17. Сам, себя	25,498	20,126	28,773	27,996	26,854	24,442	25,277	21,776
18. Говорить	9,811	7,342	5,030	8,988	12,361	13,078	12,528	13,138
19. Ксенопоказатели	4,407	2,405	1,006	1,756	4,459	3,628	3,991	3,937

Примечание. В каждой из строк темно-серым цветом выделена ячейка, соответствующая эмоции, для которой наиболее характерен анализируемый маркер, светло-серым – в наименьшей степени.

По результатам анализа можно отметить, что большинство маркеров наиболее ярко выражено в категориях «злость / гнев» и «страх / ужас», в то время как для категорий «брезгливость / отвращение», «удовольствие / радость», «интерес / возбуждение», «удивление» найдено всего по одному наиболее характерному маркеру.

Злость / гнев: наиболее частотное по сравнению с другими классами использование пунктуационных знаков «!», «?» и их комбинаций «?!»,

а также употребление вопросительных слов и конструкции «когда люди говорят». Наиболее редко встречаются многоточие, наречия меры и степени, а также лексемы из лексико-семантического поля (далее – ЛСП) «семья».

Брезгливость / отвращение: наиболее часто встречается частица «-то». Наиболее редко встречаются маркеры «так + наречие», «?», лексемы из ЛСП «болезнь», «смерть», лексемы *сам, себя*.

Тоска / страдание: по сравнению с другими классами здесь реже всего используются «!», «?», лексема *говорить* и слова-ксенопоказатели, в то же время наиболее часты лексем *сам, себя*, а также маркеры из ЛСП «одинокство».

Удовольствие / радость: наиболее распространено сочетание «*так / такой* + прилагательное». По сравнению с другими классами здесь реже всего встречаются отрицательная частица *не* и слово *нет*, вопросительные слова, а также слова с частицей «-то».

Интерес / возбуждение: чаще, чем в других классах, здесь встречаются вербальные маркеры, выражающие недоверие к правдивости информации при передаче чужого слова: *якобы, мол, дескать*. Частотность остальных маркеров находится в среднем диапазоне.

Страх / ужас: в данном классе текстов наиболее высока частотность следующих маркеров: парцелляция, *не* или *нет*, а также лексем из ЛСП «болезнь», «смерть», «семья».

Унижение / стыд: здесь чаще, чем в других эмоциональных классах текстов, встречаются многоточие, наречия меры и степени, а также сочетание «*так* + наречие». Напротив, парцелляция и слова из ЛСП «одинокство» встречаются наиболее редко.

Удивление: для данного класса наиболее выраженным оказался маркер лексема *говорить*, а сочетание «*так / такой* + прилагательное» встречается реже всего.

4. Результаты работы классификатора

В рамках данного исследования для оценки качества работы классификатора использована мера, комбинирующая точность и полноту (f1-score) классификации для каждого из классов в отдельности, а также значения *macro avg* (среднее арифметическое всех значений независимо от класса), *micro avg* (среднее арифметическое, учитывающее количество анализируемых фрагментов для каждого из классов) и *weighted avg* (взвешенное среднее арифметическое). В табл. 2–3 представлены значения точности работы классификатора при последовательном добавлении на вход параметров, соответствующих вышеуказанным функциям. В каждом последующем столбце на вход подаются все предыдущие параметры, а также один новый.

Для определения эффективности полученные результаты сравниваются с показателями точности фиктивного классификатора, выполняющего атрибуцию в случайном порядке (dummy classifier – DC).

Таблица 2 / Table 2

Оценка точности работы классификатора при добавлении новых параметров (маркеры 1–9)
Estimation of the Classifier's Accuracy When Adding New Parameters (Markers 1–9)

f1-score	Список параметров, подаваемых на вход									DC
	так + прил.	так + нареч.	не, нет	«?»	«!»	«?!»	«...»	парцел.	вопрос. слова	
Гнев			0.24	0.29	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.13
Отвращение										0.06
Тоска			0.03	0.12	0.14	0.14	0.15	0.13	0.13	0.07
Радость	0.11	0.10	0.07	0.08	0.05	0.05	0.04	0.03	0.06	0.12
Интерес			0.29	0.28	0.15	0.15	0.21	0.20	0.29	0.15
Страх	0.34	0.34	0.21	0.29	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.17
Стыд		0.15	0.11	0.12	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09
Удивление	0.01	0.01	0.13	0.01	0.05	0.05	0.05	0.06	0.14	0.16
micro avg	0.20	0.20	0.20	0.21	0.27	0.27	0.27	0.26	0.28	0.13
macro avg	0.06	0.07	0.13	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.19	0.12
weighted avg	0.08	0.09	0.17	0.17	0.20	0.20	0.21	0.21	0.24	0.14

Оценка точности работы классификатора при добавлении новых параметров (маркеры 10–19)
Estimation of the Classifier's Accuracy When Adding New Parameters (Markers 10–19)

f1-score	Список параметров, подаваемых на вход										DC
	ЛСП бо- лезнь	ЛСП смерть	ЛСП семья	ЛСП один.	когда люди...	-то	нареч. меры и сте- пени	сам, себя	говор.	ксено- пока- затели	
Гнев	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48	0.48	0.13
Отвращ.						0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
Тоска	0.13	0.12	0.13	0.45	0.45	0.46	0.44	0.41	0.40	0.40	0.07
Радость	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.12
Интерес	0.31	0.33	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.15
Страх	0.37	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48	0.17
Стыд	0.08	0.10	0.06	0.10	0.10	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14	0.09
Удив- ление	0.16	0.19	0.10	0.23	0.23	0.22	0.21	0.19	0.20	0.20	0.16
micro avg	0.28	0.31	0.31	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.13
macro avg	0.19	0.21	0.21	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.12
weighted avg	0.24	0.28	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.14

По результатам работы классификатора со всеми заявленными функциями видим достаточно высокий уровень точности для эмоций «злость / гнев» – 0.48, «страх / ужас» – 0.48 и «тоска» – 0.40 и низкую точность работы для эмоций «брезгливость / отвращение» – 0.06, и «радость / удовольствие» – 0.07.

Для 6 эмоциональных классов текстов из 8 представленных разработанный классификатор оказался значительно эффективнее фиктивного; для текстов, вербализующих эмоцию «отвращение», точность работы обоих классификаторов одинакова, а для текстов, выражающих эмоцию «радость», фиктивный классификатор произвел более точную атрибуцию.

Влияние параметров, подаваемых классификатору, не всегда является положительным; так, при добавлении параметра частотности «?» эффективность определения эмоции «удивление» упала с 0.13 до 0.01, эмоции «интерес» – с 0.29 до 0.28, т. е. на основании данного параметра классификатор построил некую ложную модель, которая в действительности не свидетельствует о принадлежности текста к данному эмоциональному классу. При этом эффективность для классов «гнев», «тоска», «радость», «страх» и «стыд» в целом возросла на 0.24 пункта. Таким образом, сумма значений точности в общей сложности увеличилась на 0.12 пунктов.

В свою очередь, параметр частотности конструкции «когда люди говорят» сам по себе не привел ни к каким изменениям, т. е. все значения эффективности классификации остались на прежнем уровне. Вероятнее всего, данный эффект является результатом низкой встречаемости самой конструкции и данный параметр может оказаться эффективным применительно к корпусам большего объема.

Параметр частотности «?!», напротив, при его добавлении снижает точность для класса «стыд», не влияя при этом на другие классы. Казалось бы, из этого можно сделать вывод, что данный параметр оказывает на классификатор отрицательный эффект, и убрать его, однако при тестировании классификатора со всеми остальными параметрами, за исключением данного, точность для класса «удивление» падает на 0.01, а для класса «стыд» не увеличивается. В данном случае мы видим эффект построения классификатором моделей на основе всех имеющихся параметров и их взаимосвязей. Таким образом, несмотря на кажущуюся «бесполезность» отдельных параметров, в случае их совместного применения получается положительный эффект.

Можно заметить также, что при совместном взаимодействии добавление параметра, характерного для одного из классов и не характерного для другого, не всегда оказывает положительное

или отрицательное воздействие на прирост точности для этих классов соответственно.

Заключение

Валидация параметров на основе ряда вербальных маркеров показала, что частотные вербальные маркеры являются более эффективными и показательными для улучшения точности работы классификатора, чем редко встречающиеся.

Практическая значимость полученных результатов по анализу вербальных маркеров и их использованию для повышения точности работы классификатора заключается в том, что данный набор маркеров может использоваться как основа для дальнейшей разработки эффективной компьютерной программы, определяющей преобладающую в тексте эмоцию. Такая разработка может быть полезной для создания текстов, репрезентирующих то или иное эмоциональное состояние, и улучшения качества машинного перевода путем выбора наиболее подходящего лексического эквивалента с учетом тональности текста.

Классификатор, учитывающий частотность встречаемости выявленных нами вербальных маркеров, работает лучше, чем алгоритм фиктивного классификатора, однако данный набор маркеров не является достаточным для полного решения задачи sentiment-анализа текстов, поскольку общая взвешенная эффективность работы составляет всего 31 %, т. е. в правильную категорию входит лишь каждый третий текст. Тем не менее существенное повышение эффективности работы классификатора представляется возможным за счет выявления новых дискриминантных черт, характерных для каждого из эмоциональных классов текстов, в особенности для классов, точность определения которых является минимальной, поэтому работа над проектом будет продолжаться.

Примечание

¹ Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (проект «Разработка классификатора русскоязычных интернет-текстов по критерию их тональности на основе модели эмоций “Куб Левхейма”» № 19-012-00205).

Список литературы

Болотнов В. И. Эмоциональность текста в аспектах языковой и неязыковой вариативности: основы эмотивной стилистики текста. Ташкент: Фан, 1981. 116 с.

Большакова Е. И. и др. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и анализ данных / Е. И. Большакова, К. В. Воронцов, Н. Э. Ефремова, Э. С. Клышинский, Н. В. Лука-

шевич, А. С. Сапин. М.: Изд-во НИУ ВШЭ, 2017. 269 с.

Колмогорова А. В. Вербальные маркеры эмоций в контексте решения задач sentiment-анализа // Вопросы когнитивной лингвистики. 2018. № 1. С. 83–93.

Колмогорова А. В., Калинин А. А. Частотность и сочетаемость соматизмов в текстах различной эмоциональной тональности // Компьютерные и интеллектуальные технологии. 2018. Вып. 17. С. 317–330.

Колмогорова А. В., Калинин А. А., Маликова А. В. Лингвистические принципы и методы компьютерной лингвистики для решения задач sentiment-анализа русскоязычных текстов // Актуальные проблемы филологии и педагогический лингвистики. 2018. № 1(29). С. 139–148.

Шаховский В. И. Эмоции как объект исследования в лингвистике // Вопросы психолингвистики. 2009. № 9. С. 29–42.

Юсупова Н. И., Богданова Д. Р., Бойко М. В. Алгоритмическое и программное обеспечение для анализа тональности текстовых сообщений с использованием машинного обучения // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2018. № 16 (6(51)). С. 91–99.

Bollen J., Mao H., Zeng X. Twitter mood predicts the stock market // Journal of Computational Science. 2011. № 1(2). P. 1–8.

Chetviorkin I. I., Loukachevitch N. V. Sentiment analysis track at romip-2012 // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии, по материалам конференции «Диалог-2013». 2013. Т. 2. С. 40–50.

Lövheim H. A New Three-dimensional Model for Emotions and Monoamine Neurotransmitters // Medical hypotheses. 2011. № 78. P. 341–348.

Pang B., Lee L. Opinion Mining and Sentiment Analysis // Foundations and Trends in Information Retrieval. 2008. Vol. 2, № 1–2. P. 1–135.

Pang B., Lee L., Vaithyanathan Sh. Thumbs up? Sentiment classification using machine learning techniques // Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). 2002. P. 79–86.

VanderPlas J. Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data. Sebastopol: O’Reilly Media, 2017. 548 p.

Wiebe J., Riloff E. Creating subjective and objective sentence classifiers from unannotated texts // Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. Berlin: Springer, 2005. 486 p.

Witten I. H., Frank E. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques (Second Edition) // Burlington: Morgan Kaufmann, 2005. P. 56–63.

References

- Bolotnov V. I. *Emotsional'nost' teksta v aspektakh yazykovoy i neyazykovoy variativnosti: osnovy emotivnoy stilistiki teksta* [Emotionality of text in the aspects of linguistic and non-linguistic variability: basics of text emotivity]. Tashkent, Fan Publ., 1981. 116 p. (In Russ.)
- Bol'shakova E. I., Vorontsov K. V., Efremova N. E., Klyshinskiy E. S., Lukashevich N. V., Sapin A. S. *Avtomaticheskaya obrabotka tekstov na estestvennom yazyke i analiz dannykh* [Automatic natural language text processing and data analysis]. Moscow, HSE Publishing House, 2017. 269 p. (In Russ.)
- Kolmogorova A. V. Verbal'nye markery emotsiy v kontekste resheniya zadach sentiment-analiza [Verbal markers of emotions in sentiment analysis researches]. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki* [Issues of Cognitive Linguistics], 2018, issue 1, pp. 83–93. (In Russ.)
- Kolmogorova A. V., Kalinin A. A. Chastotnost' i sochetanost' somatizmov v tekstakh razlichnoy emotsional'noy tonal'nosti [Frequency and compatibility of somatisms in texts of different emotional tonality]. *Komp'yuternye i intellektual'nye tekhnologii* [Computer and Intellectual Technologies], 2018, issue 17, pp. 317–330. (In Russ.)
- Kolmogorova A. V., Kalinin A. A., Malikova A. V. *Lingvisticheskie printsipy i metody komp'yuternoy lingvistiki dlya resheniya zadach sentiment-analiza russkoyazychnykh tekstov* [Linguistic principles and computational linguistics methods for the purposes of sentiment analysis of Russian texts]. *Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki* [Current Issues in Philology and Pedagogical Linguistics], 2018, issue 1(29), pp. 139–148. (In Russ.)
- Shahovskiy V. I. Emotsii kak ob'ekt issledovaniya v lingvistike [Human emotions as an object of the study in linguistics]. *Voprosy psikholingvistiki* [Journal of Psycholinguistics], 2009, issue 9, pp. 29–42. (In Russ.)
- Yusupova N. I., Bogdanova D. R., Boyko M. V. *Algoritmicheskoe i programmnoe obespechenie dlya analiza tonal'nosti tekstovyykh soobshcheniy s ispol'zovaniem mashinnogo obucheniya* [Algorithms and software for sentiment analysis of text messages using machine learning]. *Vestnik Ufimskogo gosudarstvennogo aviatsionnogo tekhnicheskogo universiteta* [Herald of Ufa State Aviation Technical University], 2018, issue 16 (6(51)), pp. 91–99. (In Russ.)
- Bollen J., Mao H., Zeng X. Twitter mood predicts the stock market. *Journal of Computational Science*, 2011, pt. 1(2), pp. 1–8. (In Eng.)
- Chetviorkin I. I., Loukachevitch N. V. Sentiment analysis track at romip-2012. *Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii, po materialam konferentsii «Dialog-2013»* [Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Papers from the Annual International Conference 'Dialogue' (2013)], 2013, vol. 2, pp. 40–50. (In Eng.)
- Lövheim H. A New Three-dimensional Model for Emotions and Monoamine Neurotransmitters. *Medical Hypotheses*, 2011, pt. 78, pp. 341–348. (In Eng.)
- Pang B., Lee L. Opinion Mining and Sentiment Analysis. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 2008, vol. 2, issues 1–2, pp. 1–135. (In Eng.)
- Pang B., Lee L., Vaithyanathan Sh. Thumbs up? Sentiment classification using machine learning techniques. *Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2002, pp. 79–86. (In Eng.)
- VanderPlas J. *Python data science handbook: Essential tools for working with data*. Sebastopol, O'Reilly Media, 2017. 548 p. (In Eng.)
- Wiebe J., Riloff E. *Creating subjective and objective sentence classifiers from unannotated texts*. *Computational Linguistics and Intelligent Text Processing*. Berlin, Springer, 2005. 486 p. (In Eng.)
- Witten I. H., Frank E. *Data mining: Practical machine learning tools and techniques* (Second Edition). Burlington, Morgan Kaufmann, 2005, pp. 56–63. (In Eng.)

LEXICAL AND GRAMMATICAL MARKERS OF EMOTIONS AS PARAMETERS FOR SENTIMENT ANALYSIS OF INTERNET TEXTS IN RUSSIAN

Anastasia V. Kolmogorova

Professor, Head of the Department of Romance Languages and Applied Linguistics

Siberian Federal University

79, Svobodnyy prospekt, Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation. nastiakol@mail.ru

SPIN-code: 4582-4134

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6425-2050>

ResearcherID: D-9618-2017

Lyubov A. Vdovina

Master's Student

Siberian Federal University

79, Svobodnyy prospekt, Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation. lu.vdovina@gmail.com

SPIN-code: 1651-8340

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8129-8408>

ResearcherID: F-2690-2019

Submitted 22.03.2019

The article covers intermediate results of the creation of an automatic classifier for Russian-language Internet texts, which distributes those into 8 classes, in accordance with 8 basic emotions proposed by the Swedish biologist Hugo Levheim: 'anger / rage', 'interest / excitement', 'enjoyment / joy', 'contempt / disgust', 'surprise', 'shame / humiliation', 'fear / terror', 'distress / anguish'. The material of the training sample are anonymous texts in the genre of 'Internet revelations' posted by users of the social network VKontakte. The operation of the classifier is based on the machine learning algorithm using the support vector machine method. The input parameters are the frequency of the punctuation marks '?', '!', '?!', '...' used, the presence of the negative particle '*ne*' <not>, the use of constructions '*takoi*' <such> + adjective', '*tak*' <so> + adverb', the collocation '*kogda lyudi govoryat*' <when people say>, the presence of parceling, question words, particle '*-to*', lexemes from lexical fields 'death', 'disease', 'family', 'loneliness', as well as measure and degree adverbs.

The results considered in the paper consist in the validation of the most characteristic verbal markers of specific emotions as parameters that determine the accuracy of the classifier. We conclude that there is a dependence between the efficiency of parameters and the frequency of correlating verbal markers occurrence within emotional text corpora. The achieved accuracy of the classifier is compared with the results of a dummy classifier that performs attribution randomly.

In conclusion, the paper highlights the most useful verbal markers, assesses the prospects of this project in terms of practical problems, and raises the question of continuing the study to increase the accuracy of attribution.

Key words: verbal markers; machine learning; sentiment analysis; ranked classifier; classification of basic emotions; computational linguistics; social media.

УДК 81'28

doi 10.17072/2073-6681-2019-3-47-56

СОПЕРНИЧЕСТВО В ЛЮБВИ В ЗЕРКАЛЕ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ (на материале говоров Русского Севера)¹

Яна Владимировна Малькова

лаборант-исследователь топонимической лаборатории

кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

620000, Россия, г. Екатеринбург, просп. Ленина, 51. yana-malkova@list.ru

SPIN-код: 2391-6261

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3511-0878>

ResearcherID: P-8937-2018

Статья поступила в редакцию 25.08.2019

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Малькова Я. В. Соперничество в любви в зеркале диалектной лексики (на материале говоров Русского Севера) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 47–56. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-47-56

Please cite this article in English as:

Malkova Ya. V. Sopernichestvo v lyubvi v zerkale dialektnoy leksiki (na materiale govorov Russkogo Severa) [Reflection of Love Rivalry in Dialect Lexis (Based on Examples from the Russian North Dialects)]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 3, pp. 47–56. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-47-56 (In Russ.)

Рассматривается репрезентация в языке такого психолого-социального сценария, как соперничество в любви. В качестве материала берутся диалектные лексемы, зафиксированные на территории Русского Севера. Уделяется внимание семантическому и мотивационному аспектам анализа выбранных языковых фактов, а также производится контекстный анализ частушечных текстов, в которых репрезентирована исследуемая тема. Утверждается аксиологическая нагруженность понятия соперничества в любви в традиционном социуме при сопоставлении с языковой ситуацией в современном городском пространстве, где ведущей формой противостояния является соревнование в спорте и политике. Отмечается широкая номинативная выделенность такого компонента прототипической ситуации соперничества, как субъект, при этом подчеркивается преобладание лексем с дефиницией 'соперница в любви'. Подобная гендерная модификация объясняется пассивной ролью женщины в деревенском социуме в вопросе любовного выбора. Такое положение дел в традиционном обществе заставляет девушку включаться в борьбу за жениха. Мотивационный анализ показывает, что во внутреннюю форму исследуемых лексем преимущественно закладываются характеристики поведения соперниц (грубость обращения, причинение вреда и т. д.). Соперничество также часто концептуализируется через пространственные образы, а именно важную роль играет идея «враждебных» локусов – «напротив», «против чего-л.». Соперничество в любви является частой темой фольклорных произведений. Частушечные тексты дают своеобразный социальный типаж девушки, вступающей в борьбу за жениха. Народное сознание приписывает сопернице в любви определенные черты внешности, особенности характера и поведения.

Ключевые слова: диалектная лексика; семантика; мотивология; контекстный анализ; этнолингвистика; севернорусские говоры; народная аксиология; лексика соперничества в любви.

Данная статья посвящена рассмотрению ключевых особенностей языковой репрезентации такого феномена социальной жизни человека, как соперничество в любви, на примере языковых фактов, зафиксированных на территории Русского Севера.

Соперничество представляет собой интерес как явление, совмещающее в себе яркую акциональную составляющую (стремление превзойти кого-л. в чем-л.) и значительный эмоциональный компонент. Таким образом, соперничество ориентировано как на внутренний мир человека, так и на сосуществование людей в обществе.

В традиционном социуме наибольшей символической нагрузкой обладает соперничество в любви, о чем свидетельствует активное номинативное воплощение идеограмм 'соперник в любви', 'соперница в любви', ср. волог. *перебойник* 'соперник в любви; молодой человек, который стремится, возбуждив симпатию, любовь к себе, заставить разлюбить другого' [СВГ 7: 28], волог. *грубияночка* 'соперница': *Грубьяночка она́ была моя, одного́ мужика́ полюбили* [КСГРС] и др.

Таким образом, среди лексических единиц, касающихся соперничества, именно в диалектах отмечается соперничество в любви, в то время как другие виды противостояния практически не упоминаются (имеем в виду прямое лексическое воплощение понятий). Лексика, не принадлежащая сфере любовных отношений, составляет всего лишь 9 % относительно числа всех севернорусских слов со значением соперничества: волог. *упевать* 'стараться одержать верх над соперником в пении частушек, перепевать': *Сударушку плясали парень с девкой, Он тебя упевает, а ты его* [СВГ 11: 130]², костром. *не быть* 'не соперничать': *Мужику против ахадемика не быть* [СГКЗ: 232].

Если говорить об **устройстве семантического пространства** в данном фрагменте лексической системы, то нужно отметить, что его центром, безусловно, являются обозначения субъектов ситуации соперничества: новг., волог. *сво́яня* 'соперница в любви' [СРНГ 36: 329], волог. *злодейка* 'соперница' [СВГ 2: 172], волог. *перебейник* 'соперник в любви; молодой человек, который стремится, возбуждив симпатию, любовь к себе, заставить разлюбить другого' [СВГ 7: 28]. Обозначения соперничающих девушек и парней составляют 81 % числа лексем, входящих в исследуемое поле.

Наименования действий, связанных со стремлением превзойти соперника в любви, составляют периферию поля: арх. *перебой*, волог., пск., смол., арх., р. Урал, твер., новг., влад., яросл. *на, в перебой идти* 'соперничество в любовных отношениях, сватовстве' [СРНГ 26: 28–29], костром. *пере-*

бивать 'отбивать от кого-либо, привлекать на свою сторону': *Как бы ты, подруженька, / Была бы мне не милая, / Я давно бы у тебя / Перебила милого* [СРНГ 26: 25–26], ленингр., арх. *отсушить* 'колдовством заставить разлюбить кого-н., разлучить с кем-н.' [СРГК 4: 334].

Стоит обратить внимание на асимметрию в распределении лексики по секторам поля. Значительное преобладание наименований субъектов соперничества обусловлено, во-первых, экспрессивностью самого понятия, которое стоит за языковыми фактами. С другой стороны, устойчивость данной идеограммы связана с ее активным бытованием в фольклоре, в частушечных текстах, о которых подробнее будет сказано ниже.

Внутри выделенных семантических областей существуют модификации по гендерным характеристикам. Лексем с дефиницией 'соперник' составляют 10 % материала, а 'соперница' – 90 % (относительно числа всех лексем с дефинициями 'соперник', 'соперница').

Такое соотношение, по-видимому, обусловлено представлениями о любовных отношениях в традиционном обществе. В данном типе социума выбор обычно диктуется мужчиной и именно мужчина обладает правом посвататься. Этот фактор заставляет женщину включаться в борьбу, поскольку ее права в любовном выборе значительно ограничены. Кроме того, патриархальное общество навязывает высокий, главенствующий статус мужчины, что обуславливает борьбу женщин за мужчину, а не наоборот. Ср. контексты: волог. *У дёвки, коль парень хоро́ший, супоста́ток мно́го* [СВГ 10: 158], костр. *Жанихато у меня перебейка увела* [СГКЗ: 272].

Отметим и то, что неприязнь в народной культуре жестко связана с определенными сценариями. *Соперница* является героиней фольклорных произведений. Существует особый фольклорный жанр *наветка* – частушка, исполняемая на молодежных гуляниях и содержащая в себе сообщение о любовных взаимоотношениях (обычно конфликтных) исполняющего с другим участником беседы. Подробно этот жанр был описан Е. Л. Березович и Т. В. Леонтьевой [Березович, Леонтьева 2016, 2017]. Отмечается, что исполнительницами *наветок* чаще всего являются незамужние девушки-соперницы в любви, «которые ведут диалог, сплошь состоящий из колкостей, острот, угроз» [Березович, Леонтьева 2016: 49]. Фольклорное, текстовое закрепление данной социальной роли также способствует лексикализации понятия.

Однако значима и символическая роль *наветок*. Исполнение таких частушек является своеобразным словесным поединком, протекающим между соперницами в любви. Зачастую *наветки*

содержат вызов, оскорбления и угрозы [Березович, Леонтьева 2016: 49–50].

Говоря о более «пассивном» положении женщины и особых способах борьбы в сфере любовных взаимоотношений, можно в качестве параллели привести другие жанры традиционной культуры, связанные с выбором в любви и определением семейного будущего. Это, во-первых, гадания, причем Л. Н. Виноградова отмечает, что «наиболее массовой и подробно разработанной может быть признана группа матримониальных гаданий, совершаемых молодежью (преимущественно девушками)» [СД 1: 483]. Широко применялись различные виды любовной магии: для того чтобы привлечь жениха, чтобы муж не изменял, чтобы разлучить мужчину с любовницей и т. д. [СД 3: 154]. Существовало множество ритуальных действий, направленных на предотвращение безбрачия и избавление от него (см. подробнее: [Гура 2011: 36–38]).

Безусловно, значимым фактором для формирования *соперничества* является и негативное отношение к безбрачию в традиционной культуре вообще (см. об этом, например: [Гура 2011: 33–35; Зверева 2013: 29–31 и др.]).

О *соперничестве* реже говорится в том случае, когда мужчина с женщиной уже состоят в браке, ср. волог. *статеечка* ‘разлучница’: *Статеечка мужа у неё увела. Так теперь одна и живёт* [СВГ 10: 123]. Однако измена мужа может заставить включиться в борьбу жену. В традиционной культуре «прелюбодеяние мужа не ставит под угрозу институт брака» и в то же время «к разведенным и брошенным женам относились с презрением» [СД 4: 614]. Именно поэтому женщина стремится вернуть мужа в семью: смол. *посёстра* ‘любовница; соперница’: *Усе к пасёстри ходить яе мужык. Ну тока устречу яе, я ей пькажу, как мужукоу адбивать* [ССГ 8: 180–181].

Обратимся к рассмотрению **мотивационно-го своеобразия** лексики со значением соперничества.

При концептуализации любовного соперничества широко используются **социальные мотивы**, потому как оно непосредственным образом соотносится с существованием людей в обществе.

В языке могут закрепляться представления о **поведении людей**, вступающих в борьбу, своеобразная оценка их действий. Так, соперникам приписывается **грубое, дерзкое**, неприемлемое обращение, ср. волог. *грубиянка, грубияночка* ‘соперница’: *Грубияночка она была моя, одного мужика полюбили* [КСГРС]. Действия соперников понимаются как **причинение вреда, зла**: волог., яросл. *лиходейка* ‘соперница’ [СРНГ 17: 78], волог. *лиходеичка* ‘то же’: *Супостатка та, если отбивает кавалера, модёная, лиходеичка* –

та же супостаточка [СГРС 7: 108]; волог. *лодэйка* ‘то же’: *Дроля венчался, взял лодэйку мою* [СВГ 2: 172].

Значительное число обозначений субъектов соперничества в любви образовано от глагола *бить* (и родственных слов), что указывает на представление о **перехвате**, как, например, в волог. *перобейка* ‘соперница; девушка, отбивающая парней’ [КСГРС], костр. *перобойка* ‘девушка, отбившая у кого-л. парня’, *перобоечка* ‘соперница в любви’ [ЛКТЭ], волог. *перобейошка* ‘соперница в любви; девушка, которая стремится, возбуждая симпатию, любовь к себе, заставить разлюбить другую’ [СВГ 7: 28], костр. *перобивать* ‘отбивать, уводить невесту или жениха’: *Перобивает жениха – соперница, говорит, перобьет* [ЛКТЭ]. Идею физического противостояния поддерживает и арх. *отоймать* ‘отбить кого-либо’: *Девки сердятся на нас, / Вы сердитесь, не сердитесь, / Отоймем ребят у вас* [СРНГ 24: 253].

Соперница в любви не отличается постоянством в поведении, для нее характерно выбирать то одного человека, то другого, **постоянно вступать в новые отношения**: костром. *пероборищица* ‘разлучница, соперница’ [СГКЗ: 273]. Такая девушка может характеризоваться **льстивым, угодливым поведением**, стремлением приблизиться к молодому человеку: волог. *подмазуля* ‘соперница’ [КСГРС], ср. сев.-двин., яросл. *подмазывать* ‘лестить кому-л.; подольщаться, подмазываться’ [СРНГ 28: 74].

Присутствует в рассматриваемом семантическом пространстве **мотив родства**, как в новг., волог. *своия* ‘соперница в любви’ [СРНГ 36: 329], костр. *своичина* ‘соперница, девушка, стремящаяся отбить парня у другой’ [ЛКТЭ], которые, вероятно, имеют связи с костр. *своя* ‘родственница со стороны мужа (жены)’ [там же].

Возможно, данные мотивационные линии объясняются тем, что в представлении языка соперники и соперницы становятся как бы родственниками по парню или по девушке, ср. также олон. *попарщик* ‘тот, кто соперничает с кем-л., ухаживая за девушкой; соперник-ровесник’ [СРНГ 29: 298]. С. М. Толстая, исследуя дериваты прасл. **svojь*, отмечает, что больше всего продолжений корня в славянских языках находим в сфере обозначения брачного родства [Толстая 2008а: 33]. Поскольку же сфера выбора партнера и свадьбы, брака близки и находятся в постоянном пересечении, то можно предполагать существование подобного перехода.

Может быть важна и другая причина, а именно следы древнего права мужских родственников жениха на невесту [СД 1: 245]. Широко известен факт возможного сожительства женщины с родственниками мужа, а именно отцом или братья-

ми [СД 4: 614–615]. Такой тип конфликтов является одним из самых тяжелых среди семейных и потому обращает на себя особое внимание.

В концептуализации идеи соперничества играют важную роль **пространственные образы**.

Центральным мотивом является **положение «напротив»**, ср. арх., печор., карел., новг., пск., зап.-брян., смол., яросл., перм., ср.-приирт., иркут. *супротивница* ‘соперница в любви’ [СРНГ 42: 262], арх., вят., ленингр. *сопротивница* ‘недоброжелательница; соперница’ [СРНГ 40: 6], волог. *супротивница* ‘соперница в любви’ [СРНГ 42: 261]. Волог. лексема *противная* в знач. сущ. ‘соперница’ [СВГ 8: 97] может быть связана как с семантикой противоположности, так и с обозначением отвращения, которое вызывает соперница у второй девушки.

Локус против чего-л. наделяется в традиционной культуре отрицательными оценками, поскольку маркирует «чужое» пространство [СД 4: 304]. При обозначении соперничества главным, как кажется, является то, что объект, расположенный напротив, осознается как нечто, что преграждает путь, а значит, противодействует, проявляет агрессию. В языковом представлении соперничества в любви мотивы враждебности, причинения вреда играют одну из ключевых ролей, ср. костром. *О-ё-ё-ё-еньки, да, / О-ё-ё-ё- ё-ей. / Ой, какое горюшка, да / У миня у маладой. / Пириборщица сидит, / У самой переборочка. / Падайду – и палятят / С галавы гребёначки* [СГКЗ: 273], перм., ср. Прииртышь *Супротивницу мою изведу да иссушу* [СРНГ 42: 262], иркут., свердл. *супера* ‘соперница в любви’: *Я свою суперу Веру посажу на небеса, посиди, моя супера, повишучивай глаза* (частушка) [там же: 249].

Близкую к пространственной семантику дают лексемы волог. *супостат* ‘соперник в любовных отношениях’ [СВГ 10: 158], *супостатка* ‘соперница в любовных отношениях’ [там же], *супостаточка* волог. ‘то же’ [там же], костром. ‘то же’ [СГКЗ: 371], волог. *статеечка* ‘разлучница’ [СВГ 10: 123]. Как отмечается в этимологической литературе, устар. и высок. литер. *супостат* ‘противник, недруг’ происходит от **sq-* и **po-statъ*, которое связано с рус. *стать* [ТСлРЯ 2007: 959]. Соперники, таким образом, представляются в языке как люди, стоящие друг напротив друга. Такое положение также рождает символическую оценку отношений между субъектами ситуации как враждебных.

Отметим при этом, что в целом рассмотренные выше лексемы могут иметь также семантику вражды, ср., например, сев.-двин., волог., новг., зап.-брян., смол., яросл., костр., вят., урал., иркут. *супротивник* ‘противник, враг, неприятель’: *Едет по полю, просит себе сильного супротив-*

ника повоевать [СРНГ 42: 262], арх. *сопротивничек* фолькл. ласк. ‘достойный противник’: *Да искал он себе да поединничка, Поединничка себе да сопротивничка* [СРНГ 40: 6], а также встречающиеся на другой территории новг., твер., пск. *супротивница* ‘женск. к противник, враг, неприятель’: *Не заводи, милой, гулянья У окошек у своих, Я большая супротивница Родителям твоим* [СРНГ 42: 262]; волог. *супостатель* ‘противник, недруг, неприятель, враг’: *Сохрани, Христос истинный, От врага супостателя, От злых от лихих людей* [Диалекторский: 490], *супостатка* ‘злодейка, враг, противница, недруг’: *Посылает ко мне мать верную служанку, / Свою верную служанку, мою супостатку...* [там же]. Если рассматривать приведенные лексемы как многозначные, то можно предположить семантический переход ‘враг’ → ‘соперник’ при смене сферы функционирования лексем. Пространственную же символику в таком случае следует рассматривать как более древний пласт развития значения. Однозначно принять эту версию мешает преимущественное бытование лексики вражды в фольклорных текстах, а именно в исторических песнях.

Мотивировочный признак, заложенный в словах со значением ‘разлучить с помощью магических действий’, может относиться к сфере **магических действий**, поскольку данные лексемы принадлежат периферии поля. Так, например, с идеей магического «знания» связано волог. *ознатовать* ‘по суеверным представлениям: подчинить колдовской волшебной силе; околдовать’: *Вот выйдет замуж, какая соперница найдется, ознатует, чтоб не любил муж* [СРГК 4: 166].

Однако подобные лексемы могут быть образованы и по иной модели, указывающей на особенности эмоционального мира человека. Так, арх., ленингр. *отсушить* ‘колдовством заставить разлюбить кого-н., разлучить с кем-н.’ [СРГК 4: 334] связано с целым рядом слов с корнем *-сух-*, имеющих семантику любви, а также любовных заговоров. По мнению С. М. Толстой, любовные переживания номинируются с помощью значения *сухого*, поскольку из-за душевных страданий может возникнуть «иссушение» плоти [Толстая 2008б: 56–57].

Обращает на себя внимание сравнительно небольшое число мотивационных моделей, представленных в рамках данного поля. Более того, как кажется, подавляющее большинство из них находит отражение и на других территориях. Приведем некоторые данные:

1) поведение: заурал., ср.-урал. *грубиян* ‘соперник в любви’ [СРНГ 7: 156], урал., новосиб. *грубиянка* ‘соперница в любви’ [там же], яросл. *лиходейка, лиходеечка* ‘соперница’ [ЯОС 6: 7],

новг. *злодейка* 'та, которая соперничает с кем-л., добиваясь любви какого-л. мужчины; соперница' [НОС: 335], твер. *перебейка* 'соперница' [СРНГ 26: 24];

2) мотив родства: новг. *свойк* 'соперник' [НОС: 1067], *свёчка* 'соперница в любви' [там же], *свойночка* уменьш.-ласк. 'соперница в любви' [СРНГ 36: 329], ленингр., новг. *свойня* 'соперница' [СРГК 6: 20], а также отсутствующие на исследуемых территориях смол. *пасестра*, пск., курск. *пасёстра* 'любовница; соперница' [СРНГ 25: 253];

3) пространственный код: новг. *супротивник* 'тот, кто соперничает с кем-л., добиваясь любви какой-л. женщины; соперник' [НОС: 1161], *супротивница* новг. 'женск. к *супротивник*' [там же], перм. 'соперница' [СПГ 2: 420], а также не представленные на Русском Севере новг. *поперёчница* 'соперница': *Вот супостат-то приехал и с подружкой стал гулять. Я её, поперёчницу, до самой её смерти ненавидела* [НОС: 905].

Вероятно, такое положение дел можно объяснить бытованием подавляющего большинства исследуемых лексем в фольклоре. Как отмечает С. Б. Адоньева, «определение ролей при описании отношений между девушками и парнями в спонтанной диалогической речи заимствуется из частушечного словаря» [Адоньева 2004: 160]. Небольшое количество мотивационных моделей и незначительные территориальные различия объясняются устойчивостью фольклорных текстов и их бытованием в разных областях.

Анализ лексического материала и текстовых высказываний позволяет предполагать, что существует некий **социальный типаж соперницы** (о существовании особых социальных типов в разных культурах см., например: [Еремина, Леонтьева, Щетинина 2018]). Набор устойчивых характеристик человека, вступающего в соперничество в любви, дают посвященные любовным переживаниям частушечные тексты, о которых было сказано ранее. Выделение основных мотивов приводит к выводу о существовании неких обобщенных представлений о сопернице.

В текстах чаще всего находят отражение пейоративные характеристики соперницы: волог. *Пошел милый к супостаточке / Назад-то оглянись, / После ягодки-земляночки / Пошел рябину исть* [СПЧ: 180]; *Меня хаёт и ругает... / Хоть бы хаял человек; / Меня хаёт супротивница, / Которой хуже нет!* [Симаков: 144]; волог. *Изменил мене милёнок, / Думал в гору поднялся. / Ниже среднего спустился – / За последнюю взял* [ЭМТЭ].

Сопернице могут приписываться определенные **особенности внешности**. Она некрасива (*Супостатка, не модей, / Не красивее людей!* /

Супостаткина краса – / Только черные глаза [Симаков: 139]; костр. *Своячина моя, своячина хвалёная, семи водами умываешься – и всё зелёная* [ЛКТЭ]); имеет плохую фигуру (волог. *Грубьяночки не знала – / Вот она которая! / Ить какая подмазуля / Широкоподолая!* [КСГРС]; костр. *Перебойка звонкая, / Как иголка тонкая, / Как с крыши перекладина, / Ещѐ смеётся, гадина* [ЛКТЭ]); низкорослая (волог. *Лиходеечка моя маленького ростика. / Она похожа на собачку, / Только нету хвостика* [ЭМТЭ]); лупоглазая (костр. *Ты, подружка моя Ньюшка, / Лупоглазая сова, / Думаешь, отбила дролю, / А я бросила сама* [там же]). Соперница бедна, у нее мало красивых вещей (*Супостаточка бела, / Бела и обходительна; / Из одного платица / Никогда не выходила* [Симаков: 140]; волог. *Супостаточка заносится, / Бруслетка на руке / Все именье ее знаю – / Мыши ходят в сундуке* [ЭМТЭ]).

Исполнительница частушки может осмеивать манеру говорить соперницы: *Про меня подружка судит, / Что я плохо говорю; / Её, штокальницу, миленький / Не любит самою* [Симаков: 144].

Тем не менее в текстах иногда содержится и **положительная характеристика** соперницы, признание за ней достоинств. Так, противница может представляться как красивая девушка, которая способна конкурировать с исполнительницей частушки (волог. *Супостатка хороша, я ее не хуже. / Попадетя на дороге – / Закупаю в луже* [СПЧ: 162]). Соперница модно одета (*Супостаточка модна – / Гребенкам утыкается, / На высоких каблуках / Ходит вытягается* [Симаков: 139]), накрашена (волог. *Супостаточка-мазилочка / Мазилу пролила. / Больше разу не намажется, / Посмотрим, какова* [ЭМТЭ]). «Принаряживание» соперницы чаще осмеивается и расценивается как желание привлечь к себе внимание (*Супротивница-заброта / Забротила сарафан. / Она за ягодкой гоняется, / Да я то не отдам!* [Симаков: 135]), жеманство (волог. *Супостаточка моя / Модная-премодная / Изогнулась, извилась, / Как вица огородная* [ЭМТЭ]). Однако в то же время, чтобы обойти соперницу, необходимо одеться лучше и красивее ее (*Голубое свое платье / Переделу на капот; / Перебью у супостаточки – / Наделаю хлопот!* [Симаков: 134]).

Соперница чаще моложе исполнительницы частушки (*Девушка-подружка, / Не тронь-ка моего. / Тебе годиков не много, / Дождидайка-сь своего!* [там же: 133], *Подруженька, ой! / У нас с тобой один любой! / Ты постарее меня, / Уступи-ка для меня!* [там же]). В данных текстах отражено существование особой народной установки на то, что девушка должна выйти замуж в определенном возрасте. В частушках может от-

ражаться и представление об очередности выхода замуж в семье: младшая сестра должна выйти замуж после старшей (волог. *Под окошечком костер, / Милашка любит двух сестер. / Упала щепка с костра – / Отбила младшая сестра* [СПЧ: 162]).

Сопернице приписываются определенные **черты характера**. В первую очередь, это **хитрость** (*Я сижусь не весела, / Молодая девушка: / Навязалась на меня, / Хитра перебеечка* [Симаков: 136]). Соперница часто говорит неправду, стремится очернить свою противницу (*Я к обеде ходила, / Дорожка не проторная; / Подружка милому сказала, / Что я не проворная* [там же: 137]; *Подружка, милая моя, / Похвали дружку меня! / Подружка хитрая была, / Дружку расхаяла меня* [там же]) или же напрасно пообещать любовь парню (*Не гляди, милый, на это, / Что подружка учит; / Она любить тебя не станет, / Только нас разлучит* [там же: 140]).

Соперница проявляет **высокомерие, ведет себя заносчиво** по отношению к своей противнице: *Перебеечка идёт, / Идёт и не поклонится. / Она боится поклониться – / Шея переломится* [ЛКТЭ]; *Супостатка, не куражься, / Ну, какая тебе честь: / У тя сряду и наряду, – / Одно платье красно есть!* [Симаков: 145]. Она насмехается над второй девушкой, осознавая собственное превосходство: *Грубиночка моя / Ходит, как бандиточка, / Она смеется надо мной, / Такая паразиточка* [ЭМТЭ].

Если говорить об особенностях **поведения соперницы**, то она постоянно пытается **причинить вред конкурентке**, ср. *Супыстаточка за дrolечку / Паленом хочет бить. / Я супыстаточки сказала: / Всё равно буду любить* [СГКЗ: 371]; *Полно, милая подружка, / Предо мной канаву рыть; / «Канаву рой, – того гляди, / Туда сама не попади!»* [Симаков: 142]. Разными способами она пытается добиться внимания молодого человека: *Супостаточка за миленьким / С бутылочкой бежит; / Ты не пей-ко, милый, воточки: / Она приворожит!* [там же: 140].

Соперница **отстаивает свои права** в борьбе за молодого человека, утверждает равные возможности девушек в любовном выборе: волог. *Супостатка, из-за дроли / Не кляни и не ругай; / Сундучок купи окованный / Да дролю запирай!* [СПЧ: 177].

Среди общих характеристик соперницы также выделяется то, что она может быть приезжей или из соседней деревни: *Ты, гостейка, не модей, / У нас ребят не перебей! / На денек приехала, / На перебой поехала!* [Симаков: 135]; волог. *Супостатка прибежала / Из чужой деревушки, / Я даю рекомендацию: / Гоните, девушки!* [ЭМТЭ].

Исполнительница частушки может высмеивать соперницу за то, что та не обладает качествами, которые особенно ценятся в традиционном социуме. Она плохая хозяйка (волог. *Супротивница смеется, / А сама-то какова? / Две недели пришивала / К белой кофте рукава* [СПЧ: 177]; *Супостаточка моя / Не садовый яблычек: / Полторы недели шила / На машине фартучек* [Симаков: 138]), не умеет исполнять частушки (волог. *Милый, вашей ухажерочке / Не спеть и не сплясать: / Она сидит, повесив голову, / Не знает, что сказать* [ЭМТЭ]).

Итак, анализ русской вербальной традиции показывает важное положение идеи соперничества в любви в традиционном социуме. Однако, поскольку соперничество является одним из важнейших социальных феноменов, можно предполагать, что разные формы общественной жизни обуславливают акцентирование различных видов соперничества. Действительно, сферы столкновения интересов людей принципиально различаются в зависимости от условий, в которых человек живет, от ценностей и задач, предлагаемых тем или иным укладом. Таким образом, вероятно, ведущее положение лексики соперничества в любви во всем массиве языковых фактов, связанных с воплощением соревновательности и вражды, характерно не для всех культур. Попробуем обосновать данное положение.

Изучение специфики соперничества в разных обществах требует отдельного объемного исследования, которое невозможно вместить в рамки одной статьи. Тем не менее приведем некоторые показательные примеры, подтверждающие нашу гипотезу.

Мы осуществили пилотную выборку контекстов из Национального корпуса русского языка с лексемами *соперник* и *соперница*. Предварительный подсчет числа контекстов, связанных с той или иной тематической областью, показывает, что ведущей сферой в современном городском дискурсе, где проявляется соперничество, является сфера профессионального спорта (37 % относительно числа всех контекстов в исследованной выборке): *В пиковые эпизоды аргентинцы отлично сочетали агрессию с хладнокровием и неизменно забивали нужный – “тот самый” – мяч, который помогал им отразить очередную эмоциональную атаку соперника и сохранить инициативу за собой* [Дмитрий Навоша. Маньяно у Карла украл победу. DreamTeam терпит первое поражение в истории // Известия. 2002.09.05]³. При этом зачастую слово *соперник* употребляется в собирательном значении: *Но позволив сопернику размочить счёт, наши только сильнее разозлились и в четвёртой партии просто разгромили бразильскую команду*

[Семен Новопрудский. Два прихлопа. Сборная России по волейболу впервые выиграла Мировую лигу // Известия. 2002.08.19].

Зачастую о *соперничестве* говорится в контексте политической борьбы (14 % контекстов): *Однако в Берлине не созывают совещаний, посвящённых пугающему росту антигерманских настроений. Ревность к удачливому сопернику тоже аргумент сомнительный. Положим, наша страна действительно соперничала с США и досоперничалась до нынешнего лютого антиамериканизма. Но это не объясняет антиамериканских настроений в тех странах, которые в силу объективных причин соперничать с США были в принципе не в состоянии* [Максим Соколов. Меня уже никто не любит. Колонка обозревателя // Известия. 2002.09.25]; *Выяснилось, что на трибунах для почётных гостей могут одновременно оказаться и нынешний президент Жак Ширак, и его неудачливый соперник на последних выборах, бывший премьер-социалист Лионель Жоспен* [Эльмар Гусейнов. Тарпищев пообещал водку и икру от Ельцина // Известия. 2002.11.27].

21 % материала составляют контексты, содержащие указание на соперничество в любви: *Далее шла подружка и соперница Лилечка. Маецкий, которого она у Лилечки увела. Известный режиссёр* [Людмила Улицкая. Пиковая дама (1995–2000)].

Остальные сферы не отличаются столь значительной наполненностью, но представлено также соперничество профессиональное, а также возникшее по разным причинам на бытовой почве.

Русские диалекты дают иную картину. Действительно, особенности социальной жизни обуславливают возникновение тех или иных форм соперничества или их полное отсутствие. Так, в имеющихся у нас диалектных данных нет лексики, обозначающей соперничество по идеологическим и политическим причинам.

Спортивное соревнование в той форме, в которой оно существует в современном городе, также не свойственно традиционному укладу. Спорт предполагает жесткое противостояние, обусловленное стремлением доказать собственное превосходство. Такая форма соревновательности рождается на профессиональной почве, а также зачастую имеет точки соприкосновения с политическим противостоянием.

В традиционном обществе, как кажется, не существует такого рода конфликта. Спортивные состязания можно сопоставить с некоторыми видами игр (например, игры с соревнованием), однако все они осуществляют иные функции. Как известно, народные игры служат для социализации и консолидации в обществе, имеют развлекательные цели, а также могут быть связаны с

магическими ритуалами, будучи сопряженными с обрядом [СД 2: 382].

По-видимому, подобные устоявшиеся в культуре функции игр и соревнований снимают негативную составляющую в отношениях между участниками. Именно поэтому соперничество не получает в данном случае особого номинативного воплощения и по своим свойствам сближается с партнерством, ср. характерный пример: *костр. стенка, в стёнку* ‘детская игра, цель которой кинуть монетку об стену так, чтобы она, отскочив, попала как можно ближе к монетке соперника’: *В стёнку играешь: берёшь денежки, об стёнку – и далёко ли упадёт. А другому надо к твоей поближе. Он кинул – и если четвертью от твоей можно достать – забирает* [ЛКТЭ].

В диалектной лексической системе, как кажется, иначе, чем в современном городском дискурсе, воплощается идея соперничества на профессиональном поприще. Как отмечает М. А. Еремина, трудовая деятельность может представляться в диалектах «как своего рода соревнование между субъектами труда» [Еремина 2003: 101], однако умение оказаться впереди остальных, проявить особое усердие и превзойти остальных оценивается положительно [там же]. Очевидно, существуют некоторые различия в восприятии труда в разных культурах. Традиционной общинности в некоторой степени противопоставлено более индивидуализированное современное сознание. Деревенскому обществу, по нашей гипотезе, в большей степени присущи коллективный характер труда и ориентированность на общий результат в противопоставление индивидуальным стремлениям к преуспеванию и межличностной борьбе в городском социуме. По мнению М. А. Ереминой, основными условиями деревенского труда «являются коллектив, а также отношения одновременно согласия и соревнования между его членами» [там же]. Тем не менее нельзя не отметить, что поднятая проблема является очень обширной и заслуживает отдельного изучения.

Понимание соперничества также может меняться в разные эпохи. Так, например, в русских диалектах слова волог., новг. *супостат* ‘о сопернике в любви’ [СРНГ 42: 255–256], арх., печор., карел., новг., пск., зап.-брян., смол., яросл., перм., иркут. *супротивница* ‘соперница в любви’ [там же: 262], волог. *лиходеичка* ‘соперница’: *Супостатка та, если отбивает кавалера, модёная, лиходеичка – та же супостаточка* [СГРС 7: 108] употребляются, как мы можем отметить, в контексте бытовых взаимоотношений. Однако в древнерусском языке эта лексика использовалась в военном и религиозном дискурсе и обозначала более острые формы противостояния, ср.

сжпостать 'неприятель, враг': Сжпостати наши попраши стбню твож, Аще воины Хви есмъ, пжтьмь истины, троуда длъжъни есмъ ходити и мжжъскы стокати на сжпостата нашего, Соупостать нашъ дьяволъ, 'враг, дьявол', 'противник, противоборец (в переносн. знач.)' [Срезневский 3: 620–621]; сжпротивъникъ 'враг, противник', 'дьявол': Побъдидь мирьскую похоть и миродержьця князя вьга сего, супротивника [там же: 623], сжпротивънии 'в знач. сущ. враг, неприятель', 'противник': Юсова вельчства пргвъзвышадтиса сжпротивноуоумоу, 'враг, дьявол': Избави ихъ древнаа прельсти и козни соупротивнаго [там же: 624]; лиходгъи: Кто лиходгъи великихъ князеи побъжитъ изъ Русской земли..., и Новгороду тыхъ лиходгъевъ не приимати [Срезневский 2: 28]⁴.

Итак, обобщая вышесказанное, отметим, что соперничество в любви занимает важнейшее положение в традиционной культуре. Именно противостояние на почве выбора пары получает особое лексическое выражение (по сравнению с другими формами борьбы), осмысление в фольклоре, а также имеет множество форм акционального выражения. По-видимому, такое положение дел характерно именно для диалектного дискурса.

Соперничество в любви в большей степени мыслится, по данным говоров Русского Севера, как женское «занятие», поскольку возможности женщин в выборе значительно ограничены. Противостояние происходит, как правило, в форме частушечного агона, где девушки могут высказать свои догадки об измене, обнаружить свои чувства и эмоции.

В частушках формируется устойчивый образ соперницы в любви. Как правило, представление о противнице наполнено отрицательными коннотациями, ей приписываются различные негативные черты внешности, характера и поведения.

Примечания

¹ Исследование выполнено в рамках проекта 34.2316.2017/ПЧ «Волго-Двинское междуречье и Белозерский край: история и культура регионов по лингвистическим данным», поддержанного Минобрнауки РФ.

² Подчеркнем, что такой вид соперничества, в свою очередь, является уникальным для деревенского социума.

³ Здесь и далее данные из НКРЯ приводятся без паспортизации.

⁴ Отметим также и то, что такие значения фиксируются диалектными словарями, однако контексты показывают, что употребляются подобные лексемы преимущественно в составе исторических песен и былин: перм., волог. супо-

статель 'супостат, неприятель, враг': Уж мы ждали неприятеля, Неприятеля да супостателя короля шведского [СРНГ 42: 256], супротивник томск. 'противник, враг, неприятель': Едет по полю, просит себе сильного супротивника повоевать, олон. 'участник поединка': Выкликает он поединцица, супротив себя да супротивника [там же: 262].

Список источников

Дилакторский – Словарь областного вологодского наречия. По рукописи П. А. Дилакторского 1902 г. / изд. подгот. А. И. Левичкин, С. А. Мызников. СПб.: Наука, 2006. 677 с.

КСГРС – картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, Екатеринбург).

ЛКТЭ – лексическая картотека Топонимической экспедиции Уральского федерального университета (кафедра русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, Екатеринбург).

НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: <http://ruscorpora.ru/> (дата обращения: 15.07.2019).

НОС – Новгородский областной словарь / Ин-т лингв. исслед. РАН; изд. подгот. А. Н. Левичкин и С. А. Мызников. СПб.: Наука, 2010. 1435 с.

СВГ – Словарь вологодских говоров: в 12 т. / под ред. Л. Ю. Зориной, Т. Г. Паникаровской. Вологда: Изд-во ВГПИ / ВГПУ, 1983–2007.

СГКЗ – Ганцовская Н. С. Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье Костромы и Унжи. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова; М.: Кн. клуб Книгоvek, 2015. 512 с.

СГРС – Словарь говоров Русского Севера / под ред. А. К. Матвеева, М. Э. Рут. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. Т. 1–.

СД – Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отн., 1995–2012.

Симаков – Симаков В. И. Сборник деревенских частушек Архангельской, Вологодской, Вятской, Олонецкой, Пермской, Костромской, Ярославской, Тверской, Псковской, Новгородской, Петербургской губерний. Ярославль: Тип. К. Ф. Некрасова, 1913. 673 с.

СПЧ – Сказки, песни, частушки Вологодского края / под ред. В. В. Гура. Вологда: Северо-Зап. кн. изд-во, 1965. 331 с.

СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: в 6 т. / гл. ред. А. С. Герд. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994–2005.

Срезневский – Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письмен-

ным памятникам: в 3 т. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1893–1912.

СРНГ – *Словарь русских народных говоров* / гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1–22), Ф. П. Сороколетов (вып. 23–42), С. А. Мызников (вып. 43–). М.: Л.; СПб.: Наука, 1965. Вып. 1–.

ССГ – *Словарь смоленских говоров*: в 11 вып. / отв. ред. Л. З. Бояринова, А. И. Иванова. Смоленск: СГПИ / СГПУ, 1974–2005.

ТСЛРЯ 2007 – *Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов* / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова; отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 2007. 1175 с.

ЭМТЭ – *картотека фольклорных и этнографических материалов Топонимической экспедиции Уральского федерального университета* (кафедра русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, Екатеринбург).

ЯОС – *Ярославский областной словарь*: в 10 вып. / науч. ред. Г. Г. Мельниченко. Ярославль: ЯГПИ им. К. Д. Ушинского, 1990.

Список литературы

Адоньева С. В. Прагматика фольклора. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Амфора, 2004. 312 с.

Березович Е. Л., Леонтьева Т. В. Наветка как форма символического осуждения // *Живая старина*. 2016. № 2(90). С. 49–52.

Березович Е. Л., Леонтьева Т. В. НАМЕК в диалектной лингвокультурной среде: жанровая разновидность частушек и лексические репрезентации понятия // *Вестник Томского государственного университета. Филология*. 2017. № 47. С. 5–27.

Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. М.: Индрик, 2011. 936 с.

Еремина М. А. Лексико-семантическое поле «Отношение человека к труду» в лексике русских народных говоров: этнолингвистический аспект: дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003. 244 с.

Еремина М. А., Леонтьева Т. В., Щетинина А. В. Галерея лингвистических портретов социальных типажей / отв. ред. Т. В. Леонтьева. Екатеринбург: Ажур, 2018. 332 с.

Зверева Ю. В. Наименования человека по отношению к браку в пермских говорах // *Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология*. 2013. Вып. 1(21). С. 28–36.

Толстая С. М. Слав. *svoj: семантика и аксиология // *Etnolingwistyka: Problemy języka i kultury*. Lublin, 2008a. Т. 20. S. 29–38.

Толстая С. М. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М.: Индрик, 2008б. 528 с.

References

Adon'eva S. V. *Pragmatika fol'klora* [Folklore pragmatics]. St. Petersburg, St. Petersburg University Press, Amfora Publ., 2004. 312 p. (In Russ.)

Berezovich E. L., Leont'eva T. V. NAMEK v dialektnoy lingvokul'turnoy srede: zhanrovaya raznovidnost' chastushek i leksicheskie reprezentatsii ponyatiya [HINT in dialect linguocultural environment: folklore genre and lexical representations of the notion]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya* [Tomsk State University Journal of Philology], 2017, issue 47, pp. 5–27. (In Russ.)

Berezovich E. L., Leont'eva T. V. Navetka kak forma simvolicheskogo osuzhdeniya [Navetka as a form of symbolic disapproval]. *Zhivaya starina* [Living Past], 2016, issue 2(90), pp. 49–52. (In Russ.)

Eremina M. A. *Leksiko-semanticheskoe pole 'Otnoshenie cheloveka k trudu' v leksike russkikh narodnykh govorov: etnolingvisticheskiy aspekt*. Dis. kand. filol. nauk [Lexico-semantic field 'Human attitude to work' In Russian dialectal lexis: ethnolinguistic aspect. Cand. philol. sci. diss.]. Ekaterinburg, 2003. 244 p. (In Russ.)

Eremina M. A., Leont'eva T. V., Shchetinina A. V. *Galereya lingvisticheskikh portretov sotsial'nykh tipazhey* [Gallery of linguistic pictures of social models]. Ed. by T. V. Leont'eva. Ekaterinburg, Azhur Publ., 2018. 332 p. (In Russ.)

Gura A. V. *Brak i svad'ba v slavyanskoy narodnoy kul'ture: semantika i simbolika* [Marriage and wedding in Slavic folk culture: semantics and symbolism]. Moscow, Indrik Publ., 2011. 936 p. (In Russ.)

Tolstaya S. M. *Prostranstvo slova. Leksicheskaya semantika v obshcheslavyanskoy perspective* [Word space. Lexical semantics in common-Slavic perspective]. Moscow, Indrik Publ., 2008. 528 p. (In Russ.)

Tolstaya S. M. Slav. *svoj: semantika i aksiologiya [The Slavic root *svoj- '(one's) own': its semantics and axiology]. *Etnolingwistyka: Problemy języka i kultury* [Ethnolinguistics. Problems of Language and Culture], 2008, issue 20, pp. 29–38. (In Russ.)

Zvereva Yu. V. Naimenovaniya cheloveka po otnosheniyu k braku v permskikh govorakh [Man nomination in the aspect of marriage in Perm dialects]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2013, issue 1(21), pp. 28–36. (In Russ.)

**REFLECTION OF LOVE RIVALRY IN DIALECT LEXIS
(Based on Examples from the Russian North Dialects)**

Yana V. Malkova

Research Assistant in the Toponymic Laboratory

of the Department of Russian Language, General Linguistics and Verbal Communication

Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

51, Lenina prospekt, Yekaterinburg, 620000, Russian Federation. yana-malkova@list.ru

SPIN-code: 2391-6261

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3511-0878>

ResearcherID: P-8937-2018

Submitted 25.08.2019

The article deals with language representation of such psychological and social scenario as love rivalry. Dialectal lexical items observed on the territory of the Russian North are taken as the material for the research. Particular attention is given to semantic and motivational aspects in the analysis of the chosen language facts. Furthermore, contextual analysis of couplet texts concerned with the topic under study is performed. The author notes axiological load of the notion of love rivalry in traditional society as compared to the state of language in modern cities, where competitions in sports and politics are the leading forms of opposition. There is observed a wide nominative prominence of a subject as a component of the prototype situation of rivalry, with the dominance of lexical items rendering the 'love rivaless' definition. Such gender modification is explained through the passive role of women in the country society in terms of the love choice. This state of affairs in traditional society makes girls get engaged into the battle for bachelors. Motivational analysis shows that the inner form of lexical items under research mainly consists of the characteristics of behavior typical of rivalesses (brusqueness, violence, etc.). Rivalry is also conceptualized through spatial images, namely an important part is given to the idea of 'hostile' loci ('opposite', 'against something'). Love rivalry often acts as a topic for folk pieces. Couplet texts present a unique social model of a girl engaged into the battle for a bachelor. Folk perception credits the love rivaless with a particular appearance, character and features of behavior.

Key words: dialect lexis; semantics; motivology; contextual analysis; ethnolinguistics; Northern Russian dialects; folk axiology; love rivalry lexis.

УДК 81.161.1'25

doi 10.17072/2073-6681-2019-3-57-70

АФФИКСАЛЬНЫЕ ЭМОТИВЫ В СКАЗАХ П. БАЖОВА И ИХ ПЕРЕВОД

Наталья Михайловна Нестерова

**д. филол. н., профессор кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода
Пермский национальный исследовательский политехнический университет**
614900, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29. nest-nat@yandex.ru

профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций

Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15

SPIN-код: 7055-1600

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9064-6742>

ResearcherID: L-6734-2015

Елена Алексеевна Аристова

к. пед. н., доцент кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
614900, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29. elena-aristova2006@yandex.ru

SPIN-код: 7305-9822

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9326-814X>

ResearcherID: N-5161-2017

Ольга Витальевна Протопопова

старший преподаватель кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
614900, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29. olgprotopopova@yandex.ru

SPIN-код: 7243-0887

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6165-6941>

ResearcherID: N-5328-2017

Статья поступила в редакцию 14.04.2019

Про́сьба ссыла́ться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Нестерова Н. М., Аристова Е. А., Протопопова О. В. Аффиксальные эмотивы в сказах П. Бажова и их перевод // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 57–70. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-57-70

Please cite this article in English as:

Nesterova N. M., Aristova E. A., Protopopova O. V. Affiksál'nye emotivy v skazakh P. Bazhova i ikh perevod [Emotive Affixes in Pavel Bazhov's Tales and Ways of Their Translation]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 3, pp. 57–70. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-57-70 (In Russ.)

Рассмотрены аффиксальные образования в сказах П. Бажова и способы их перевода на английский язык. В оригинале они выступают важным средством стилизации разговорности как главного жанрообразующего средства в литературном сказе. Выявлено, что сказы Бажова недостаточно изучены в аспекте перевода, в частности, с позиции передачи на иностранные языки их словообразовательных особенностей. Между тем воспроизводить их на языке перевода необходимо, чтобы обеспечить воздействие на носителей иной культуры, близкое к восприятию российского реципиента. Решению такой сложной задачи посвящен наш сопоставительный анализ двух вариантов перевода на английский язык сказа «Серебряное копытце», выполненного носителями разных языков – русского и английского. Русские аффиксальные дериваты придают тексту сказа яркую эмоционально-оценоч-

ную окраску, которая в обоих переводах, хотя и в разной степени, снижена вследствие расхождения словообразовательных систем русского и английского языков, а также межкультурных различий. Дается оценка передачи по-английски таких эмотивных переводом, как диминутивы и пейоративы, а также префиксальные глаголы. В результате сопоставительного анализа, выявившего многочисленные приемы компенсации эмотивов, утраченных при переводе, иначе, с помощью разноуровневых языковых средств, авторы приходят к выводу: следует вести речь не столько о непереводаемости бажовских произведений, сколько о степени их переводимости. Представляется, что русско-английский перевод сказов Бажова мыслим и посилен для лингвокреативного переводчика, способного компенсировать отсутствие в английском языке средств передачи эмоций, выражаемых по-русски.

Ключевые слова: стилизация; разговорность; сказы Бажова; эмотивы; переводимость; переводемы; аффикация; словообразование.

*Переводы мыслимы потому,
что до нас веками переводили друг друга
целые литературы, и переводы – не способ
ознакомления с отдельными произведениями,
а средство векового общения культур и народов.*

Б. Пастернак

Одним из самых сложных видов художественного перевода является воссоздание на иностранном языке оригинала, тематически близкого к народной жизни и быту, обладающего яркой национальной самобытностью и спецификой [Федоров 2002: 318]. В свое время В. А. Жуковский отмечал: «Все языки имеют между собой некоторое сходство в высоком, и совершенно отличны один от другого в простом или, лучше сказать, простонародном» [Жуковский 1960].

Это справедливо по отношению к сказам П. П. Бажова, язык которых в соответствии с природой жанра приближен к фольклорному, являя собой пример творческого освоения уральским писателем средств и приемов русской народно-поэтической речи. Вот лишь некоторые примеры: *Братцы милые, сестрицы любезные!*; *Дурман-чашки*; *Одна-одинёшенька*; *Денёк-другой*; *Дитятко*; *Мамонька*; *Каменна девка* и т. п.

К сожалению, недостаточно исследований, посвященных вопросам перевода бажовских произведений на иностранные языки. Между тем воссоздание самобытных уральских сказов на других языках является сложной переводческой задачей. Об этом свидетельствуют немногочисленные пока публикации на эту тему. Так, А. Э. Буженинов рассмотрел синтаксические и лексические трансформации при переводе бажовских сказов на французский язык для выявления различий национальных менталитетов [Буженинов 2010, 2015]. Трудности передачи русского просторечия в английском переводе на материале сказов П. Бажова описаны также в недавних публикациях, см.: [Харахорина, Харитоновна 2016; Сафина 2018]. В рамках нашего собственного комплексного исследования того, как переводятся произведения П. Бажова на английский язык, был ранее выполнен анализ воспроизведения при переводе уральских диалектизмов

[Аристова, Протопопова 2017]. При этом все авторы констатируют снижение уровня экспрессивности в переводных текстах.

Можно утверждать, что на данном этапе исследований научно осмысливается главным образом воспроизведение на иностранных языках разговорной лексики из сказов П. П. Бажова. Соответственно недостаточно внимания ученые уделяют передаче других средств, которые также используются при стилизации авторского сказа под фольклорное произведение. Поэтому мы сочли актуальным рассмотреть, как воспроизводятся в английском переводе словообразовательные средства, имитирующие живую разговорную речь. Ради достижения этой цели как материал исследования был использован сказ П. Бажова «Серебряное копытце» и два варианта его перевода на английский язык.

Объектом изучения стали сказовые произведения П. П. Бажова; предметом – передача аффиксальных образований в английском переводе как важное средство, позволяющее автору реализовать интенцию эстетической сказовой разговорности. Авторы исследования считают принципиально важным и полезным проводить предпереводческий анализ оригинала с целью его интерпретации и более глубокого понимания переводящей личностью. Такая рефлексия лежит в русле когнитивно-деятельностного подхода к процессу перевода, обеспечивающего адекватное воспроизведение исходного текста на иностранном языке, и отвечает современным тенденциям переводоведения.

Публикация в СССР первого сборника «Малахитовой шкатулки» (1939 г.) сразу вызвала большой читательский интерес, не угасающий до сих пор: сказы переиздаются, заново иллюстрируются, переводятся на различные иностранные языки. В разное время переводчиками произве-

дений П. Бажова на английский язык были Ева Мэннинг, Алан М. Вильямс, Анна Гунин и др. К сожалению, сегодня выполняются единичные переводы бажовских произведений. Так, в 2014 г. появилось всего два перевода сказов Бажова на английский язык. Достаточно полные зарубежные издания сборника вышли уже давно – в 1944 и 1974 гг. Марк Липовецкий связывает эти факты с практической непереводаемостью сказов, которая объясняется двумя причинами: лингвистической и культурной [Липовецкий 2014: 228]. Имеются в виду расхождения языковых систем и культурные различия, не позволяющие переводчику находить и использовать соответствия в иностранном языке. Тем не менее нам представляется возможным говорить о степени переводаемости сказовых произведений на английский язык.

Несомненна особая сложность перевода литературных сказов, что объясняется их жанрово-стилевой спецификой. Предтечей таких сказов послужил фольклорный устный рассказ эпического характера – быль, бывальщина. В отличие от сказки, он главным образом опирался не на вымысел, а на достоверные жизненные факты из недавнего прошлого; его герои – умельцы, рабочие, силачи, золотоискатели, поэтому в фольклорных сказах много указаний на реалии. В то же время точные зарисовки народного быта и нравов органично соседствовали в сказах с элементами вымысла, фантастики. В роли сказителя выступал простой человек из народа, обычно сам участник или очевидец происшествий [Даниэлян 2008].

Названные жанровые признаки свойственны и литературным, авторским сказам. В произведениях П. Бажова это ярко проявляется, например, при изображении демонических персонажей – носителей тайной силы. В его сказах часто наблюдается сплав действительности с фантастикой, что создает иллюзию исторической достоверности, но с элементами вымысла. Наряду с воссозданием реальных событий и персонажей повествуется о явлениях тайной силы, о действиях ее представителей.

Таким образом Павел Бажов отразил мифологические воззрения уральцев, сохранившиеся, впрочем, и у представителей других регионов. В наивысшей степени такие «обломки» исторической старины содержатся в волшебных сказках разных народов [Буслаев 2003: 11]. В бажовских сказах, однако, также представлена архаичная фольклорная картина мира, в данном случае – региональная уральская. Берущий свои истоки в народном творчестве авторский сказ манифестирует древнейшее представление людей о мире и природе, о добре, зле и других жизненных ценностях. Результат многовекового осо-

знания человеком себя, своих интересов в потоке бытия рождало обряды и мифы как форму согласования существования народа с окружающим миром [Алексеева 2008].

Распространенность и популярность литературных сказов в нашей стране привлекли к ним внимание стилистов и литературоведов. Глубоко и всесторонне осмыслена природа жанра в трудах выдающихся отечественных ученых XX в.: Б. Эйхенбаума, М. Бахтина, В. Виноградова и др. Так, акад. В. В. Виноградов писал о сложной комбинации в сказовых произведениях приемов устной, разговорной и письменной речи [Виноградов 1980: 17–18]. Сказ в литературе есть повествование с художественной имитацией монологической речи, произносимой сказителем, очевидцем или участником событий. При этом создается впечатление, будто речь именно в процессе произнесения и порождается, она стилизуется под литературно не обработанное высказывание [Виноградов 1980: 29].

Заложившие теоретическую базу целого научного направления – бажоведения – работы отечественных исследователей не утратили своего значения и получили дальнейшее развитие в сочинениях А. И. Горшкова, Р. Гельгардта, Д. Жердева, В. А. Мишланова, В. В. Абашева и мн. др.

И в наше время изучение жанровых особенностей сказа продолжается, в частности как нарратива. Так, В. Шмид задался прагматичным вопросом: какие семантико-стилистические явления характерны для *классического* сказа, который, по мнению ученого, поддается достаточно точному описанию. Такой текст мотивирован образом нарратора, чья точка зрения управляет всем повествованием. Рассказчик – человек из народа, его умственный кругозор ограничен. Он наивен и непрофессионален, отдален от автора повествования. Это обуславливает двуголосность текста: в нем одновременно выражаются наивный нарратор и изображающий его речь автор. Перечисленные признаки более значимы, так как без них, полагает В. Шмид, характерный (классический) сказ теряет смысл. Менее существенны и важны следующие свойства жанра: его устность, спонтанность, разговорность, неграмотность и диалогичность [Шмид 2003: 106–107].

Следовательно, главное жанрообразующее свойство авторского сказа – интенция к художественному воспроизведению чужой звучащей речи посредством различных способов и приемов, т. е. ее **стилизация**. Вслед за Т. Г. Винокуром полагаем, что стилизация есть перенесение стилистических особенностей высказываний, рожденных одной коммуникативной ситуацией, в другую, но сконструированную по ее подобию [Винокур 1980: 216]. Применительно к теме мы

считаем возможным и оправданным далее рассматривать стилизацию через призму категории эстетической **разговорности**. В понимании стилистов это создание впечатления говорения в словесном искусстве [Сиротинина 1988: 350]. Прагматическая цель эстетической разговорности заключается в воздействии на интеллект, эмоции и воображение адресата текста при развешивании в нем авторского замысла.

Бажову весьма успешно удалось реализовать прагматику сказовой разговорности в эстетических целях: высокохудожественно воздействовать на адресата именно благодаря мастерской имитации живой, экспрессивной русской народной речи – обиходно-бытовой, часто сниженной и анормативной, уместной в непринужденной беседе. Созданию ее достоверности во многом способствует употребление уральских диалектизмов разных видов. Сбалансированное включение региональных речевых особенностей в тексты придает им уральской самобытности, яркого местного колорита, отражая историческую обстановку в образах, которые обусловлены этнически. Однако использование лексических средств отнюдь не единственный способ имитации разговорности: важную роль играют также и грамматические ресурсы, к рассмотрению которых мы переходим далее.

Большую группу средств для стилизации под сказовое письмо у Бажова составляют грамматические формы, свойственные русскому фольклору в целом. Это частицы, глаголы, местоимения, вводные слова и конструкции соответствующей семантики (*слыш-ко, малахитница-то, говорю, прямо сказать, мол, видишь, значит, вишь, чур*), повторы (*пил-гулял, девки-бабы, чашки-ложки, честно-благородно, бьет да бьет*). Используются также тавтологические и синонимичные выражения с функцией усиления (*один-одинёшенек, жили-поживали, голым-голёшенька, черным-чернёхонька, правда-истина*) и др.

На уровне морфологии выделяются многократные бесприставочные глаголы типа *сжигать, говаривать, видывать, рабатывать* и др. С помощью характерных суффиксов указывается на повторяемость действий в прошлом, например: *Знавал я Григорья... никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал*. Привлекаются и типичные для русского фольклора краткие прилагательные: *Сама черненька да бассенька, а глазки зелененьки. Шкатулка малахитова* и т. п. Знак принадлежности текстов именно к речи уральцев – существительные мужского рода типа *Данилушко, дедушко, дедо, парнишко*.

Указанные основные способы выражения грамматических явлений в сказах Бажова

направлены на стилизацию разговорного начала, которое переводчику необходимо также воспроизвести, но уже с помощью форм иностранного языка. Это обеспечит воздействие на носителя иной культуры, близкое восприятию российского реципиента. Соответственно, задача переводчика состоит в передаче и мыслей, содержания оригинала, и его значимых особенностей формальными средствами иностранного языка. «Специфика выбора и применения грамматических вариантов при переводе... определяется соотношением и взаимодействием грамматических систем двух языков» [Федоров 1983: 197].

В нашем случае системы языков оригинала и переводов существенно расходятся по способам выражения грамматических значений. В русском языке как преимущественно **синтетическом** происходит соединение грамматического показателя с самим словом посредством окончаний, аффиксов, внутренних флексий и др. Общим приемом **аналитических** способов является выражение грамматического значения за пределами слова, например, с помощью предлогов, союзов, артиклей, вспомогательных глаголов и других служебных слов, а также с помощью порядка слов и общей интонации высказывания [Мечковская 2001: 69–70]. Это характерно для английского языка, на который выполнялись изучаемые нами переводы.

Как подчеркивает Е.А. Земская, в языках типа русского трудно переоценить значение словообразования [Земская 1992: 5]. П. Бажов эффективно использовал эту специфическую черту русской морфологии – способность выражать различные смысловые оттенки слова с помощью развитой системы словообразования, продуктивности аффиксов. Благодаря применению суффиксов и префиксов лексическим единицам придаются разнообразные экспрессивные оттенки. Пример: *На голбчике, у печки, девчоночка сидит, а рядом кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая, и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно. Поглядел Кокованя на девчоночку и спрашивает: - Это у вас Григорьева-то подаренка?* («Серебряное копытце»).

Так путем аффиксации образуются слова с ярким эмоционально-оценочным значением. В бажовских сказах такие лексемы часто приобретают умилительно-ласкательный оттенок благодаря суффиксам. Это такие диминутивные формы, как, например: *камешки, мамоньки, черненька, скоре-хонька, пряменько, хитренько, хозяйюшка, парнишечки, огоньки, дитятко* и др. В то же время для сказов с острой социальной направленностью ха-

рактурны и образования с суффиксами неодобрительной окраски, т. е. пейоративы: *людюшки, письмишко, куричешки, народишко* и т. п.

Особо показательна суффиксация различных частей речи, выявленная путем сплошной выборки в сказе «Серебряное копытце». Благодаря наблюдению в ходе предпереводческого анализа в оригинале были обнаружены многочисленные случаи **суффиксации** в различных частях речи.

В наш список вошли существительные, большинство из которых образовано с помощью ласкательно-уменьшительных суффиксов: *сиротка, девчоночка, носишко, шерстка, собачонки* и т. п., в том числе имена собственные *Дарёнка / Дарёнушка, Мурёнка / Мурёнушка* и *Серебряное копытце*. Так эмоционально говорится о девочке-сиротке, ставшей участницей фантастических событий, и о сказочных животных, которые помогли положительным героям, вознаградив их за доброту, трудолюбие и честность.

Вот примеры диминутивных прилагательных с суффиксами положительной эмоциональной оценки: *махонькая, серенькая, зелененькие* (всего их 5), а также суффиксальных наречий: *скупенько, спокойнехонько*. Встречаются и словосочетания существительных с прилагательными, оба компонента в которых образованы путем суффиксации: *головка легонькая, маленькая девчонка, ножки тоненькие, шерстка буренькая*, что особенно подчеркивает любование персонажами – девочкой, дедом, кошкой и козликком.

Примеры показывают, как умело Бажов использовал стилистическое богатство словообразовательных ресурсов, обладающих яркой выразительностью. Обилие экспрессивных вариантов с уменьшительными, уничижительными или ласкательными суффиксами чрезвычайно характерно для бытовой разговорной речи. Их введение в текст сообщает фамильярную, интимную окраску, иногда выражает сочувствие, иронию и всегда придает повествованию характер живой и непринужденной беседы [Голуб 1997: 200]. Именно таким образом уральский писатель удачно стилизовал свои произведения под сказы в аспекте словообразования, что усилило впечатление разговорности.

С учетом важной роли словообразовательных средств, обеспечивающих жанрообразующую стилизацию изложения под говорение, переводчику сказов необходимо стремиться к передаче грамматических приемов средствами иностранного языка. Это именно такая ситуация, когда особенности грамматической формы оригинала играют особую стилистическую роль и когда задачей перевода становится если не прямое воспроизведение этих черт, то воссоздание их функций путем использования аналогичных

средств выражения языка перевода, считает известный ученый [Федоров 1983: 192–193].

Как же решать эту грамматическую задачу при переводе бажовских произведений на английский язык, преимущественно аналитический? Известно, однако, что в нем также имеются уменьшительно-ласкательные суффиксы *-ie, -y, -ette, -let, -ling*. Например: *girlie* – девчушка, *auntie* – тетушка, *sonny* – сынок, *doggy* – собачка, *kitchenette* – кухонька, *branchlet* – веточка, *manling* – человечек. Тем не менее подобное словообразование не столь продуктивно, встречается оно редко и обычно в устойчивых выражениях [Ахметханова 2015].

Именно поэтому диминутивы в английском языке (как, впрочем, и в других западноевропейских языках) обычно образуются аналитически, посредством лексических добавлений прилагательных [Лескина, Слабко 2015]. Такие лексемы указывают на размер объекта либо на его субъективное восприятие, выражая оттенки участия, сочувствия или одобрения. В переводе же эти отношения иногда не выражаются, а лишь подразумеваются или воспроизводятся широким контекстом [Федоров 1983].

Разнообразные эмоции, которыми так содержательно насыщены сказы Бажова, вербализуются в них посредством особых языковых знаков – эмотивов. В. И. Шаховский понимал эмотивы как единицы перевода. Как известно, вопрос выделения единицы перевода всегда был и остается достаточно дискуссионным. Одно из первых определений такой единицы принадлежит Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне, согласно которым, единица перевода – это «наименьший сегмент высказывания, где связность знаков такова, что они не могут переводиться отдельно» [Vinay, Darbelnet 1972 (1958): 37]. Ученые подчеркивают, что единицей перевода может быть слово и его часть, а в отдельных случаях несколько слов сразу. Таким образом, уже в первом подходе к толкованию (пониманию) одного из основных терминов переводоведения содержится указание на размытость границ понятия, стоящего за термином «единица перевода».

Многие исследователи считают, что при определении единицы перевода нужно разделять два подхода: говорить о единице перевода с исследовательской точки зрения и с точки зрения самого реального процесса перевода. Так, единицами перевода можно считать не те единицы, которые выделяются переводчиком в ходе выполнения перевода, а единицы, выделяемые исследователем в ходе анализа при сопоставлении оригинала и перевода, между которыми существуют отношения определенной эквивалентности [González 2003: 20–21].

Интересным, на наш взгляд, представляется понимание единицы перевода М. Балляром, который считает, что говорить о единице перевода нужно с учетом существующей возможности выбора варианта перевода. В отличие от традиционного взгляда на единицу перевода как результат деления исходного текста, французский исследователь считает, что окончательно можно вычлени единицу только в переводном варианте [Ballard 1996: 58].

Исходя из того что данная статья представляет собой попытку авторов исследовать возможности и границы переводимости бажовских русскоязычных аффиксальных эмотивов на английский язык, в качестве единицы анализа авторы сочли возможным считать часть слова (аффикс) и ее переводное соответствие, в котором, как указывал М. Балляр, единица перевода окончательно раскрывается.

В. И. Шаховский, автор лингвистической теории эмоций, подчеркивал, что эмотивный смысл может быть «упакован» в эмотивных аффиксах [Шаховский 1997: 139]. Их он называл микропереводами. В данной работе в качестве таких микропереводом (единиц перевода) рассматриваются диминутивные и пейоративные образования в одном из самых поэтических сказов П. Бажова «Серебряное копытце». Авторами было проведено сопоставление оригинала с двумя его переводами на английский язык, выполненными Е. Мэннинг и Е. А. Аристовой (носитель русского языка). Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1 / Table 1

**Воспроизведение диминутивов и пейоративов в переводах
Reproduction of Diminutives and Pejoratives in Translation**

Оригинал	Мэннинг	Аристова
I. Отдельные лексемы		
Топоток	pitter-pitter pat	the stomping
Кошчонка	the cat was	a skinny cat
Собачонки	small, Pussy	dogs
Окошечко	dogs	window
Носишко	window	–
Сиротка	a button nose	the orphan
Комочек	the orphan	something small
Махоньякая	a little ball	–
Узелок	a bit of a thing a little bundle	a small bundle
II. Словосочетания		
Девчоночка	a little girl, the	a small girl
маленькая	child was small	
Ножки тоненькие	thin legs	slender legs
Головка легоньякая	a slender head	small head
Шерстка буренькая, серенькая	brown, silver-grey	brownish, grey

Как видим, в первую группу вошли 7 диминутивных существительных. В этих примерах путем суффиксации передается положительная субъективная оценка одобрения поступков самой девочки, помогающих ей животных, их действий (*топоток*) и окружающих предметов быта (*окошечко*). Последняя лексема в обоих переводах воспроизведена нейтрально: window (окно), т. е. с потерей экспрессивности. К этим диминутивам-существительным примыкает также разговорно-сниженное прилагательное *махоньякая* с той же функцией, опущенное при переводе Е. А. Аристовой, но переданное Е. Мэннинг аналитически – a bit of a thing.

Для усиления общей тональности доброты, восхищения автор использовал сложные переводемы-словосочетания. Вот пример описания козла Бажовым: «Какой-то комочек катится... ножки тоненькие, головка легоньякая, а на рожках по пяти веточек». У Е. Мэннинг видим: «like a little ball bounced out... He had thin legs and a slender head, and five tines (зубец, отросток на рогах) on his horns.». Вариант Е. Аристовой: «something small running... with slender legs and a small head with horns of five antlers (отросток оленьего рога)». Эмотивность, выраженная в оригинале усиленно, посредством суффиксации и существительных, и прилагательных, в английском тексте лишь частично передается лексически, за счет использования прилагательных thin – тонкий; slender – стройный, тонкий; small, little – маленький. Соответственно утрачивается ощущение особо подчеркнутой тональности доброжелательности и восхищения сказочным животным, для восполнения чего становится необходимо прибегать к компенсации в широком контексте. Так, Е. Мэннинг использует свои приемы сохранения уменьшительности там, где это удобно сделать в английском тексте, пытаюсь описательно, расчлененно компенсировать это в более широком контексте: A bit of a hut – домишко, a bit of a hay – немножко сена.

У Е. А. Аристовой диминутивные словосочетания переданы с добавлением соответствующих прилагательных – a small girl, a skinny cat, a small bundle, slender legs, small head. В целом в переводе носителя русского языка использовано меньше средств выражения уменьшительности и разговорности, а значит, существенно снижен уровень желательной эмотивности.

Лексемы *кошчонка* и *собачонки* оказались пейоративами, поскольку в них суффикс –онк выражает пренебрежение к этим животным со стороны персонажей сказа. Е. Мэннинг пейоратив *кошчонка* перевела с лексическими добавлениями *the cat was small* (кошка была маленькая), а иногда как *Pussy* (киска). Последний вариант не

совсем удачен. Так, в английском сборнике «Сказки Матушки Гусыни» персонаж *Pussy* – это милая кошечка, в то время как у Бажова ярко выражен оттенок пренебрежительности, однозначно характеризующий недобрую хозяйку. В переводе же Е. Мэннинг необоснованно проявляется ласкательно-уменьшительное отношение. Более удачным представляется вариант Е. А. Аристовой с лексическим добавлением: *a skinny cat*. Пейоратив *собачонки* в обоих вариантах переведен нейтрально – *dogs*, что тоже нивелирует неодобрение сказителя нападками собак на кошку.

Подводя итог сравнению приемов передачи по-английски микропереводом в виде суффиксальных образований, отметим: при использовании достаточно однообразных, но доступных лексических приемов обе переводчицы воспроизвели диминутивы удачнее, нежели пейоративы.

Интересно также рассмотреть способы передачи в переводе говорящих имен, образованных суффиксально (см. табл. 2).

Таблица 2 / Table 2

Воспроизведение имен собственных в переводах Reproduction of Proper Names in Translations

Бажов	Мэннинг	Аристова
Кокованя	Kokovania	Cocovanya
Подаренушка	Giftie	Daryonka
Дарёнка	Daryonka	Daryonka
Мурёнушка / Мурёнка	Pussy	Muryonka
Серебряное копытце	Silver hoof	Silver hoof

Имена героев в обоих переводах транслитерированы, чего хотя бы в случае с прозвищем *Кокованя* явно недостаточно: никак не удалось передать значение одиночества доброго старика, присущее диалектному русскому слову *куковать*. *Мурёнка* – явно ласковое производное имя от звукоподражательного русского слова *мурлыкать*. Этот прием никак не воспроизведен. К сожалению, и при переводе имени *Серебряное копытце* как *Silver hoof* утрачена тональность доброжелательности и восхищения животным. Вместе с тем отметим удачное решение Е. Мэннинг, которая обыграла имя сироты *Подарёнушка*, когда назвала ее «подарочек» (*giftie*) и сделала сноску с объяснением *Podaryonka – gift – подарок*. В целом же приходится констатировать, что воспроизведение по-английски микропереводом суффиксов имен собственных в обоих случаях оказалось недостаточно выразительным из-за невозможности передать их разговорное начало.

Перейдем к анализу и оценке способов передачи по-английски других переводом из «Серебряного копытца» – префиксальных образований. В оригинале выявлена префиксация только одной части речи, а именно глаголов: *осиротела*, *выглядит*, *спросил* и др. Сказу вообще присуще

повышенное употребление глаголов как таковых, что объясняется повествовательным строем жанра, который предназначен изображать характер протекания событий и действий. Использование Бажовым для стилизации изложения под живую разговорную речь именно глагольной префиксации отнюдь не случайно. Ведь в семантической структуре русского глагола тесно переплетаются лексический и грамматический компоненты. При соединении приставки с глаголом слову придаются различные оттенки, уточняющие, конкретизирующие процессуальный признак предмета, т. е. действие. Е. А. Земская утверждает, что именно в сфере префиксации глаголов наиболее силен фактор, отражающий «позицию человека по отношению к действию» [Земская 1992: 85]. Поэтому префиксальные глаголы часто являются эмотивами, выражающими субъективные эмоциональные оценки.

При наблюдении над функционированием глаголов в оригинале с опорой на грамматические словари русского языка выявлено порядка 50 префиксальных глаголов [Кузнецова, Ефремова 1986; Ефремова 2005]. В 48 случаях это были образования с одной приставкой, по значению которой их удалось сгруппировать. Самой крупной оказалась группа из 15 глаголов с приставкой **по-**: *покричала*, *погляжу*, при этом в 12 случаях префикс означал недолгое совершенное действие, типичное для нарратива. 7 глаголов образованы посредством приставки **за-**, означающей начало процесса: *задремала*, *замахал*. Отмечены также глаголы на **с-**: *свернулась*, *сходили* т. д. со значением законченности совершенного действия и движения с разных сторон; на **при-** (*признать*, *придумала*, *приговаривает*) со значением приближения и прибавления; на **от(о)-** (*отдал*, *отговорил*, *отбивается*) со значением удаления. Реже встречались производные глаголы с префиксами **под-** (типа *подрастет*, *подкатился*), **вы-** (*выходить*, *выбежала*), **пере-** (*передумал*, *перевезти*), **до-** (*добежала*) со своими специфическими значениями.

Отмечен единственный глагол с двумя приставками: **за-** и **по-**: *запокапывали*. Префикс **за-** придает данному образованию значение начала действий, а **по-** – недолгого совершенного. В этом случае налицо явное усиление процессуального признака, интенсивности действия.

Воспроизводимы ли при переводе глаголов те оттенки значений, которые придаются им с помощью разнообразных приставок? К таким образованиям правомерно отнести утверждение о том, что «русский глагол, кажется, струится от радости бытия, но в переводе он становится не больше, чем подстрочником» [Набоков 1996: 240]. Очевидным образом задача переводчика

усложняется, когда необходимо воспроизвести эмотивные смыслы, заключенные в русских глагольных префиксах.

В рамках данной статьи мы сосредоточимся на передаче по-английски лишь тех приставочных глаголов из сказа «Серебряное копытце», которые маркируются в словарях русского языка как разговорные и просторечные [Ожегов, Шведова 2006]. Именно на их понятийное содержание часто «наслаиваются различные коннотативные (экспрессивные) оттенки...» [Васильев 1981: 35]. Всего в оригинале выявлено 13 таких эмотивов: 12 одноприставочных глаголов-переводом (*приманить, погляжу, поддакивает* и т. п.) и один глагол с двумя приставками (*запокапывали*).

Для детального анализа способов перевода вышеназванных лексем отобрано 6 наиболее показательных случаев (табл. 3).

Таблица 3 / Table 3

**Воспроизведение префиксальных глаголов в переводах
Reproduction of Prefixal Verbs
in the Translations**

Бажов	Мэннинг	Аристова
Попрыгивает	Trotting (бег рысью, быстрый шаг)	–
Подъедает	He may nibble a bit of hay from the stacks	He finds his food in haystacks
Забойсья	Won't you be frightened?	You'll be afraid
Запобайвалась	She felt a bit queer-like	She was afraid
Запостукивало	She heard the pitter-pitter-pat (частое легкое постукивание)	She heard the tapping (постукивание)
(Слёзки) запокапывали	She even cried a bit	Eyes filled with tears

За отсутствием в аналитическом языке перевода морфем, соответствующих русским префиксам, сохранить в достаточной мере эмотивность приставочных глаголов обеим переводчицам не удалось. Вместе с тем усматриваются попытки компенсировать эту потерю путем использования разнообразных английских видо-временных форм. Так, в предложении *He may nibble a bit of hay from the stacks* при переводе разговорного глагола *подъедает* со значением, по В. Далю, *доедать, подбирать поедая остатки* Е. Мэннинг уместно прибегает к форме Present Simple. Так указывается и на регулярность, исчерпанность глагольного действия соответственно префиксу **под-**. При передаче значения глагола *попрыгивает* с приставкой **по-**, указывающей на интенсивность повторяющегося про-

цесса, та же переводчица формой дпящегося времени *trotting* восполняет отсутствие в английском языке соответствия русскому префиксу. Благодаря таким приемам варианты Е. Мэннинг следует, на наш взгляд, оценить как достаточные успешные способы воспроизведения экспрессивности.

Далее рассмотрим, каким образом переводились зачинательные глаголы с приставкой **за-**. В двух случаях из четырех они обозначают начало такого эмоционального состояния или переживания, как боязнь (*забойсья*) и страх (*запобайвалась*). В переводе Аристовой их разговорная окраска, к сожалению, нейтрализована, тогда как Е. Мэннинг и в этом случае решила задачу более творчески. Эмотив *запобайвалась* передан аналитически, с традиционным лексическим добавлением: *She felt a bit queer-like*. Более интересно воспроизводится яркое и экспрессивное выражение *забойсья, поди*, переданное в форме вопроса *Won't you be frightened?* Благодаря синтаксической трансформации, вероятное предположение, содержащееся в русском высказывании (соответственно значению вводного слова *поди*), в переводе выражено более определенно, экспрессивно.

Любопытны оба варианта передачи безличного глагола *запостукивало* со значением многократно совершенного действия. Переводчицы заменили эту синтаксическую конструкцию на личную; при этом если у Е. Аристовой появляется дополнение *the tapping* (постукивание), то Е. Мэннинг сумела воспроизвести его даже звукоподражательно: *the pitter-pitter-pat*.

Сложная переводема *слезки запокапывали* за счет удвоения префиксов отличается повышенной экспрессивностью, которая, к сожалению, почти утрачена в переводах. У Е. Мэннинг видим обычное лексическое *a bit*, у Е. Аристовой – *Eyes filled with tears*, а значит, нейтрализуется значение интенсивного эмоционального переживания – грусти. Исследование наших материалов показало, что при переводе на аналитический язык эмотивных микропереводом-префиксов приставочный способ словообразования не был реализован по объективной причине: из-за невозможности сделать это средствами аналитического языка. Стремление переводчиц компенсировать снижение эмотивности русских разговорно-просторечных глаголов с приставками описательно, с помощью уточнений, или путем синтаксических трансформаций следует оценить положительно.

Итак, предпереводческий анализ оригинала П. Бажова показал, что аффикация различных частей речи усиливает эмотивность текста. Микропереводемы-аффиксы различных частей речи выполняют в бажовском оригинале важную роль

как одно из грамматических средств стилизации повествования под живое непринужденное общение сказителя с читателем. Воспроизведение экспрессии первоисточника, достигаемое описанным словообразовательным способом, часто является трудноразрешимой переводческой задачей прежде всего вследствие различных типологических средств русского и английского языков. Отсутствие в английском языке аналогичных средств аффиксации существенно осложняет переводческую задачу и требует ее осмысленных творческих решений. При этом трудности передачи в переводе эмотивных аффиксов-микроразнообразия не следует рассматривать узкоформально: с учетом тесной связи разных уровней языка отсутствие прямых соответствий возможно компенсировать не только лексически, но и другими способами, в более широком контексте.

Проведенный сопоставительный анализ русского текста сказа «Серебряное копытце» и двух его переводов на английский язык в аспекте воспроизведения словообразовательной разговорности путем аффиксации выявил существенное снижение эмотивности в переводных текстах. Вследствие этого не обеспечивается адекватное воздействие на читателя-носителя иностранного языка и иной культуры. Вот, например, как самокритично отозвалась Е. Мэннинг о своем переводе: *Although I have made every effort to recapture the spirit of the original, in returning to the Russian text I am conscious that it is still but a pale copy. (Хоть я и приложила большие усилия, чтобы передать дух оригинала, но я понимаю, что по сравнению с русским текстом, мой перевод – всего лишь бледная копия)* [Мэннинг 1950: 8].

Вместе с тем представляется, что недостаточно и однобоко объяснять обнаруженное снижение эмотивности в переводах сравнительно с оригиналом лишь типологическими различиями языков. Аффиксальные микропереводемы, выступающие важными носителями эмотивного значения, вносят свою лепту в отражение национального характера, в языковую картину мира. В формировании личности носителя языка, отмечает С. Г. Тер-Минасова, участвуют все средства, в том числе и грамматические, также реализующие функцию языка как орудия культуры [Тер-Минасова 2008: 150–151]. Если для носителей русского языка, продолжает ученый, типичны повышенная эмоциональность и открытое ее проявление, то англичане явно тяготеют к недооценке, недосказанности (*understatement*): в их менталитете отсутствуют такие «нежности» [там же: 155]. «Неравенство» репертуара лексических и грамматических средств выражения эмоций в русском и английском языках подчеркивает и А. Вежбицкая. В своей знаменитой работе «Рус-

ский язык» она пишет: «Сравнивая английский язык с русским, особенно интересно отметить, что именно русский здесь выступает как язык, уделяющий эмоциям гораздо большее внимание и имеющий значительно более богатый репертуар лексических и грамматических выражений для их разграничения. Такое различие в арсенале эмотивов не может не отразиться на переводе, соответственно накладывает определенный отпечаток на процесс и результат переводческой деятельности» [Вежбицкая 1996: 33–88].

С другой стороны, именно это различие делает перевод русскоязычных художественных текстов (как правило, отличающихся высокой степенью эмотивности) на английский язык весьма сложной задачей. В случае же сказов П. Бажова – это настоящее испытание (*challenge*) для переводчика. От него требуется особого рода лингвокреативность, чтобы компенсировать отсутствие в английском языке тех средств выражения эмоций, которые имеются в русском языке. Сопоставительный анализ оригинальных бажовских текстов и их переводов на английский язык как раз и позволяет выявить, как считал П. Вяземский, насколько язык перевода может приблизиться к языку иностранному [цит. по: Федоров 1983: 17]. Вяземский писал про русский язык, но то же самое можно сказать и про любой язык, в нашем случае – про английский.

В заключение резюмируем, что отмеченное в ходе нашего исследования снижение уровня экспрессивности в текстах П. Бажова на английском языке отнюдь не ставит под сомнение возможность выполнения переводов замечательного уральского писателя. Следует, по-видимому, говорить о мере переводимости, на которую действительно существенно влияют лингвистические и культурные факторы. Солидаризуемся с авторитетным суждением Б. Пастернака, чьи слова вынесены в эпиграф, о том, что переводы мыслимы, они выполнялись и раньше, веками. И при общности текста художественные переводы могут «становиться вровень с оригиналами своей собственной неповторимостью» [Пастернак 1943: 394]. Они есть лучшее средство культурной дипломатии, инструмент преодоления межкультурных барьеров. Переводчик художественной литературы способствует сближению стран и народов, он борется с ксенофобией и недоверием. Важнейшее свойство художественной литературы – ее нерасторжимая связь с историей и культурой страны, что делает такие тексты источниками непредвзятой страноведческой информации, фактом национального мироощущения и духовной жизни народа. К таким произведениям относятся замечательные сказы Павла Бажова, у которых, хочется верить, есть будущее и в переводах.

Список источников

Бажов П. П. Малахитовая шкатулка. Уральские сказы. Свердловск: Ср.-Урал. кн. изд-во, 1973. 496 с.

Bazhov P. Malachite Casket: Tales from the Urals / translated by Eve Manning. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1950. 250 p.

Список литературы

Абашиев В. В. Интермедиаальные трансформации горной мифологии П. П. Бажова в романе Ольги Славниковой «2017» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2014. Вып. 1(25). С. 145–158.

Алексеева М. Л. Теория и практика перевода: реалии: учеб. пособие для студ. вузов. Екатеринбург: УрГПУ, 2008. 225 с.

Аристова Е. А., Протопопова О. В. Сказы П. Бажова в аспекте стилистического предпереводческого анализа // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2017. Т. 9, вып. 4. С. 5–15.

Ахметханова Г. М. Уменьшительно-ласкательные суффиксы в английском языке. 16.06.2015. URL: <https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/06/16/umenshitelno-laskatelnye-suffiksy-diminutivnost-v> (дата обращения: 05.10.2018).

Бажовская энциклопедия. Екатеринбург: Изд. дом «Сократ», 2007. 640 с.

Барина И. А., Нестерова Н. М., Сергутина Д. А. О реалиях русской народной сказки и проблеме их перевода или Beyond the Thrice-nine Land // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 5(59): в 3 ч. Ч. 1. С. 49–53. URL: www.gramota.net/editions/2.html (дата обращения: 10.11.2018).

Буженинов А. Э. Лексико-семантические трансформации при переводе художественного текста как средство выявления особенностей национального менталитета России и Франции (на примере переводов сказов П. П. Бажова на франц. язык) // Инновационная наука. 2015. № 10. С. 143–149.

Буженинов А. Э. Роль лексико-семантических трансформаций в выявлении особенностей национального менталитета России и Франции (на материале сказов П. П. Бажова и их переводов на франц. язык) // Казанская наука. 2010. № 9. С. 16–21.

Буслаев Ф. И. Народный эпос и мифология. М.: Высш. шк., 2003. 400 с.

Васильев Л. М. Семантика русского глагола. М.: Высш. шк., 1981. 184 с.

Вежбицкая А. Русский язык // Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Рус. словари, 1996. С. 33–88.

Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: Изд-во ин-та общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.

Винокур Т. Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М.: Наука, 1980. 237 с.

Голуб И. Б. Стилистика Русского языка. М.: Рольф, 1997. 448 с.

Голушин И. Диминутив как носитель эмотивного значения: проблема перевода // Вестник Череповецкого государственного университета. 2018. № 2. С. 70–86.

Голушин И. Диминутив как переводема (на материале романа М. Шишкина «Письмовник» и его перевода на сербский язык) // Вестник Череповецкого государственного университета. 2008. № 4. С. 48–56.

Даниэлян Э. С. Курс лекций по русскому народному поэтическому творчеству для студентов факультета русского языка, литературы и иностранных языков по специальности «филолог». 2008. URL: <http://refdb.ru/look/1750982-pall.html> (дата обращения: 01.03.2018).

Ефремова Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. 2-е изд., испр. М.: Астрель: АСТ, 2005. 636 с.

Жуковский В. А. О басне и баснях Крылова. Собрание сочинений: в 4 т. М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1960. Т. 4. URL: http://az.lib.ru/z/zhu-kowskij_w_a/text_0360.shtml (дата обращения: 01.02.2018).

Земская Е. А. Словообразование как деятельность. М.: Наука, 1992. 221 с.

Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф. Словарь морфем русского языка. М.: Рус. яз., 1986. 1136 с.

Лескина С. В., Слабко Ю. В. Представленность разноуровневых диминутивов в русском и английском языке // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. 2015. Т. 12, № 1. С. 15–21.

Липовецкий М. Н. Зловещее в сказах Бажова // Quaestio Rossica. 2014. № 2. С. 212–230.

Мечковская Н. Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков: учеб. пособие для студ. филол. и лингв. спец. 2-е изд. М.: Флинта: Наука, 2001. 312 с.

Мишланов В. А. О некоторых особенностях синтаксиса сказов Павла Бажова // Известия Уральского государственного университета. 2003. № 28. С. 69–83.

Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1996. 240 с.

Нестерова Н. М., Соболева О. В. Русский глагол в «золоченой клетке» перевода // Индустрия перевода: сб. науч. тр. Пермь, 2013. № 1. С. 222–226.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: ООО «А ТЕМП», 2006. 944 с.

Пастернак Б. Заметки переводчика. Ч. 1 // Собр. соч.: в 5 т. М.: Худож. лит., 1991. Т. 4. 910 с.

Рудник-Карват З. О функциях уменьшительности и увеличительности существительных в текстах // Лики языка: к 45-летию научной деятельности Е.А. Земской. М.: Наследие, 1998. С. 315–326.

Сафина А. Ю. Особенности перевода сказа П. П. Бажова «Голубая змейка» на английский язык // Актуальные вопросы филологической науки XXI века: сб. ст. VII Междунар. науч. конф. молодых ученых (9 февр. 2018 г.): в 2 ч. Ч. 1: Современные лингвистические исследования. Екатеринбург: УМЦ-УПИ, 2018. С. 245–249.

Сиротитина О. Б. О терминах «разговорная речь», «разговорность» и «разговорный тип речевой культуры» // Лики языка / Ин-т рус. языка РАН. М., 1988. С. 348–353.

Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур. М.: Слово, 2008. 334 с.

Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): для институтов и факультетов иностранных языков: учеб. пособие. 5-е изд. СПб.: Филол. фак-т СПбГУ; М.: ООО «Изд. Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. 416 с.

Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): учеб. пособие. 4-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Л. С. Бархударов. М.: Высш. шк., 1983. 330 с.

Харахорина А. А., Харитоновна Е. В. Особенности перевода русской просторечной лексики (на примере сказки П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» и ее перевода на англ. язык) // На перекрестке Севера и Востока (Методологии и практики регионального развития): материалы II Междунар. науч.-практ. конф. Магадан, 2016. С. 278–280.

Шаховский В. И. О переводимости эмотивных смыслов художественного текста // Перевод и коммуникация. М.: Ин-т. языкозн. РАН, 1997. С. 138–152.

Шмид В. Нарратология. М.: Языки слав. культуры, 2003. 312 с.

Ballard M. *Gaspard de Tende: théoricien de la traduction* // La traduction en France à l'âge classique / ed. M. Ballard, L. D'Hulst. Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 1996. P. 43–62.

González Matthews G. L'équivalence en traduction juridique: analyse des traductions au sein de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) // González Matthews Gladys. Thèse présentée à la

Faculté des études supérieures de l'Université Laval pour l'obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.). Québec, 2003. IX. 430 p.

Vinay J.-P. Stylistique comparée du français et de l'anglais / J.-P. Vinay, J. Darbelnet. P.: Marcel Didier, 1972 (1958). 332 p.

References

Abashev V. V. Intermedial'nye transformatsii gornoy mifologii P. P. Bazhova v romane Ol'gi Slavnikovoy '2017' [Intermedia transformation of P.P. Bazhov's mountain mythology in the novel '2017' by Olga Slavnikova]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2014, issue 1(25), pp. 145–158. (In Russ.)

Alekseeva M. L. *Teoriya i praktika perevoda: realii: ucheb. posobie dlya studentov vuzov* [Theory and practice of translation: realities: Textbook for students of higher educational institutions]. Ekaterinburg, USPU Press, 2008. 225 p. (In Russ.)

Aristova E. A., Protopopova O. V. Skazy P. Bazhova v aspekte stilisticheskogo predpervodcheskogo analiza [Pavel Bazhov's tales in the aspect of stylistic pre-translation analysis]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2017, vol. 9 issue 4, pp. 5–15. (In Russ.)

Golub I. B. *Stilistika Russkogo yazyka* [Stylistics of the Russian language]. Moscow, Rol'f Publ., 1997. 448 p. (In Russ.)

Akhmetkhanova G. M. *Umen'shitel'no-laskatel'nye suffiksy v angliyskom yazyke* [Diminutive suffixes in English]. Available at: <https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/06/16/umen-shitelno-laskatelnye-suffiksy-diminutivnost-v> (accessed 05.10.2018). (In Russ.)

Bazhovskaya entsiklopediya [Bazhov's encyclopaedia]. Ekaterinburg, Sokrat Publ., 2007. 640 p. (In Russ.)

Barinova I. A., Nesterova N. M., Sergutina D. A. O realiyakh russkoy narodnoy skazki i probleme ikh perevoda ili Beyond the Thrice-Nine Land [On the realities of a Russian folk tale and the problem of their translation or Beyond the Thrice-Nine Land]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki* [Philological Sciences. Issues of Theory and Practice]. 2016, issue 5(59): in 3 pts., pt. 1, pp. 49–53. Available at: <http://www.gramota.net/editions/2.html> (accessed 10.11.2018). (In Russ.)

Buzheninov A. E. *Leksiko-semanticheskie transformatsii pri perevode khudozhestvennogo teksta kak sredstvo vyyavleniya osobennostey natsional'nogo mentaliteta Rossii i Frantsii* [Lexical and semantic transformations in the translation of a literary text as a means of revealing the peculiarities of the national

mentality of Russia and France]. *Innovatsionnaya nauka*. [Innovative Science]. 2015, issue 10, pp. 143–149. (In Russ.)

Buzheninov A. E. *Rol' leksiko-semanticheskikh transformatsiy v vyavlenii osobennostey natsional'nogo mentaliteta Rossii i Frantsii* (na materiale skazov P. P. Bazhova i ikh perevodov na frants. yazyk) [*A role of syntactic transformation in the revelation of the national mentality's features of Russia and France* (on the material of the Bazhov's tales in the translation into French)]. *Kazanskaya nauka*. [Kazan Science], Kazan, 2010, issue 9, pp. 16–21. (In Russ.)

Buslaev F. I. *Narodnyy epos i mifologiya* [Folk epos and mythology]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 2003. 400 p. (In Russ.)

Vasil'ev L. M. *Semantika russkogo glagola* [The semantics of the Russian verb]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1981. 184 p. (In Russ.)

Vezhbitskaya A. *Russkiy yazyk* [The Russian Language]. *Yazyk. Kul'tura. Poznanie* [Language. Culture. Cognition]. Moscow, Russkie slovari Publ., 1996, pp. 33–88. (In Russ.)

Vinogradov V. S. *Vvedenie v perevodovedenie (obshchie i leksicheskie voprosy)* [Introduction to translation studies (general and lexical issues)]. Moscow, Izdatel'stvo instituta obshchego srednego obrazovaniya RAO Publ., 2001. 224 p. (In Russ.)

Vinokur T. G. *Zakonomernosti stilisticheskogo ispol'zovaniya yazykovykh edinits. Monografiya* [Regularities in stylistic use of language units. Monograph]. Moscow, Nauka Publ., 1980. 237 p. (In Russ.)

Golushin I. *Diminutiv kak nositel' emotivnogo znacheniya: problema perevoda* [Diminutive as a carrier of emotive meaning: the problem of translation]. *Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta* [Cherepovets State University Bulletin], 2018, issue 2, pp. 70–86. (In Russ.)

Golushin I. *Diminutiv kak perevodema* (na materiale romana M. Shishkina 'Pis'movnik' i ego perevoda na serbskiy yazyk) [Diminutive as a translation unit (based on the material of M. Shishkin's novel 'Pismovnik' and its translation into Serbian)]. *Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta* [Cherepovets State University Bulletin], 2008, issue 4, pp. 48–56. (In Russ.)

Danielian E. S. *Kurs lektsiy po russkomu narodnomu poeticheskomu tvorchestvu dlya studentov fakulta russkogo yazyka, literatury i inostr. yazykov po spetsial'nosti 'filolog'* [A course of lectures on Russian folk poetry for students of the Faculty of Russian language, literature and foreign languages in the specialty 'Philologist'], 2008. Available at: <http://refdb.ru/look/1750982-pall.html> (accessed 01.03.2018). (In Russ.)

Efremova T. F. *Tolkovyiy slovar' slovoobrazovatel'nykh edinits russkogo yazyka* [Dictionary of word-formation units of the Russian language]. 2nd revised edition. Moscow, Astrel: AST Publ., 2005. 636 p. (In Russ.)

Zhukovskiy V. A. *O basne i basnyakh Krylova* [On the fable and Krylov's fables]. *Sobranie sochineniy v 4 t.* [Collected works in 4 vols.]. Moscow, Leningrad, Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury Publ., 1960, vol. 4. Available at: http://az.lib.ru/z/zhukovskij_w_a/text_0360.shtml (accessed 01.02.2018). (In Russ.)

Zemskaya E. A. *Slovoobrazovanie kak deyatelnost'* [Word-formation as an activity]. Moscow, Nauka Publ., 1992. 221 p. (In Russ.)

Kuznetsova A. I., Efremova T. F. *Slovar' morfem russkogo yazyka* [Dictionary of Russian morphemes]. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 1986. 1136 p. (In Russ.)

Leskina S. V., Slabko Yu. V. *Predstavlennost' raznourovnevykh diminutivov v russkom i angliyskom yazyke* [Multi-level representation of diminutives in Russian and English]. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika* [South Ural State University Bulletin. Series: Linguistics], 2015, vol. 12, issue 1, pp. 15–21. (In Russ.)

Lipovetskiy M. N. *Zloveshchee v skazakh Bazhova* [The ominous in Bazhov's tales]. *Quaestio Rossica*, 2014, issue 2, pp. 212–230. (In Russ.)

Mechkovskaya N. B. *Obshchee yazykoznanie: Strukturnaya i sotsial'naya tipologiya yazykov: Uchebnoe posobie dlya studentov filologicheskikh i lingvisticheskikh spetsial'nostey* [General linguistics: Structural and social typology of languages: Textbook for students of philological and linguistic specialties]. 2nd edition. Moscow, Flinta: Nauka Publ., 2001. 312 p. (In Russ.)

Mishlanov V. A. *O nekotorykh osobennostyakh sintaksisa skazov Pavla Bazhova* [On some features of the syntax of Pavel Bazhov's tales]. *Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta* [Izvestia. Ural Federal University Journal], 2003, issue 28, pp. 69–83. (In Russ.)

Nabokov V. V. *Lektsii po russkoy literature* [Lectures on Russian Literature]. Moscow, Nezavisimaya gazeta Publ., 1996. 240 p. (In Russ.)

Nesterova N. M., Soboleva O. V. *Russkiy glagol v 'zolochenoy kletke' perevoda* [Russian verb in the 'gilded cage' of the translation], *Perm': sb. nauch. trudov. Industriya perevoda* [Perm: Collection of Scientific Works. Industry of Translation]. Perm, 2013, issue 1, pp. 222–226. (In Russ.)

Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. *Tolkovyiy slovar' russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of the Russian language]. 4th updated edition. Moscow, A TEMP Ltd, 2006. 944 p. (In Russ.)

Pasternak B. Zametki perevodchika. Chast 1 [Translator's notes. Part 1]. *Sobranie sochineniy v 5 t.* [Collected works in 5 vols.]. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1991, vol. 4. 910 p. (In Russ.)

Rudnik-Karvat Z. O funktsiyakh umen'shitel'nosti i uvelichitel'nosti sushchestvitel'nykh v tekstakh [On the functions of diminutive and augmentative nouns in texts]. *Liki yazyka: k 45-letiyu nauchnoy deyatel'nosti E. A. Zemskoy* [Faces of language: to the 45th anniversary of scientific work of E. A. Zemskaya]. Moscow, Nasledie Publ., 1998, pp. 315–326. (In Russ.)

Safina A. Yu. *Osobennosti perevoda skaza P. P. Bazhova 'Golubaya zmeykana' angliyskiy yazyk* [The features of translation of P. Bazhov's tales 'Blue snake' into English]. *Aktual'nye voprosy filologicheskoy nauki 21 veka: sb. statey VII Mezhdunar. nauch. konf. molodykh uchenykh (9 fevralya 2018 g.): v 2 t.* [Current issues of philology of the 21st century: Proceedings of the 7th Int. Sci. Conf. of Young Scientists (Feb 9, 2018) in 2 vols. Ekaterinburg, UMTs-UPI Publ., 2018, vol. 1. Sovremennye lingvisticheskie issledovaniya [Modern linguistic research], pp. 245–249. (In Russ.)

Sirotitina O. B. *O terminakh 'razgovornaya rech'', 'razgovornost'' i 'razgovorny tip rechevoy kul'tury'* [On the terms 'colloquial speech', 'colloquiality' and 'colloquial type of speech culture']. *Liki yazyka: Institut russkogo yazyka RAN.* [Faces of language: Institute of Russian language of RAS]. Moscow, 1988, pp. 348–353. (In Russ.)

Ter-Minasova S. G. *Voyna i mir yazykov i kul'tur* [War and Peace of Languages and Cultures]. Moscow, Slovo Publ., 2008. 334 p. (In Russ.)

Fedorov A. V. *Osnovy obshchey teorii perevoda (lingvisticheskie problemy): Uchebnoe posobie dlya institutov i fakul'tetov inostr. yazykov* [Fundamentals of general translation theory (linguistic issues): Textbook for institutions and faculties of foreign languages]. 5th edition. St. Petersburg, Faculty of Philology of Saint Petersburg State University, Moscow, Filologiya Tri Ltd Publ., 2002. 416 p. (In Russ.)

Fedorov A. V. *Osnovy obshchey teorii perevoda (lingvisticheskie problemy): Uchebnoe posobie* [Fundamentals of general translation theory (linguistic problems): Textbook]. Ed. by L. S. Barkhudarov. 4th revised and updated edition. Moscow, Vysshaya Shkola Publ., 1983. 330 p. (In Russ.)

Kharakhorina A. A., Kharitonova E. V. *Osobennosti perevoda russkoy prostorechnoy leksiki (na primere skazki P. Bazhova 'Malakhitovaya shkatulka')* [Features of translation of Russian vernacular vocabulary (on the material of Bazhov's fairy tale 'The Malachite Box')]. *Na perekrestke severa i vostoka (Metodologii i praktiki regional'nogo razvitiya). Materialy II Mezhd. nauchno-prakt. konf. Magadan, 30 noyabrya – 01 dekabrya* [At the crossroads of North and East (regional development methodologies and practices). Proceedings of the 2nd Int. Sci. and Pract. Conf. Magadan, November 30 – December 01], 2016, pp. 278–280. (In Russ.)

Shakhovskiy V. I. *O perevodimosti emotivnykh smyslov khudozhestvennogo teksta* [On the translatability of emotive meanings of a literary text]. *Perevod i kommunikatsiya* [Translation and Communication]. Moscow, Inostrannye yazyki, RAS Publ., 1997. pp. 138–152. (In Russ.)

Schmid V. *Narratologiya* [Narratology]. Moscow, LRC Publishing House, 2003. 312 p. (In Russ.)

Ballard M. Gaspard de Tende: théoricien de la traduction. *La traduction en France à l'âge classique.* Ed. by M. Ballard, L. D'Hulst. Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1996, pp. 43–62. (In Fr.)

González Matthews G. *L'équivalence en traduction juridique: analyse des traductions au sein de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).* González Matthews Gladys. Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval pour l'obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph. D.). Québec, 2003, IX, 430 p. (In Fr.)

Vinay J.-P. Darbelnet J. *Stylistique comparée du français et de l'anglais.* Paris, Marcel Didier, 1972 (1958). 332 p. (In Fr.)

EMOTIVE AFFIXES IN PAVEL BAZHOV'S TALES AND WAYS OF THEIR TRANSLATION

Nataliya M. Nesterova

**Professor in the Department of Foreign Languages, Linguistics and Translation
Perm National Research Polytechnic University**

29, Komsomolskiy prospekt, Perm, 614900, Russian Federation. nest-nat@yandex.ru

**Professor in the Department of Journalism and Mass Communication
Perm State University**

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation

SPIN-code: 7055-1600

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9064-6742>

ResearcherID: L-6734-2015

Elena A. Aristova

**Associate Professor in the Department of Foreign Languages, Linguistics and Translation
Perm National Research Polytechnic University**

29, Komsomolskiy prospekt, Perm, 614900, Russian Federation. elena-aristova2006@yandex.ru

SPIN-code: 7305-9822

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9326-814X>

ResearcherID: N-5161-2017

Olga V. Protopopova

**Senior Lecturer in the Department of Foreign Languages, Linguistics and Translation
Perm National Research Polytechnic University**

29, Komsomolskiy prospekt, Perm, 614900, Russian Federation. olgprotopopova@yandex.ru

SPIN-code: 7243-0887

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6165-6941>

ResearcherID: N-5328-2017

Submitted 14.04.2019

The paper focuses on the emotive affixes used by P. Bazhov in his tales and the problem of their translation into English. In the original Russian text these affixes are important means of the colloquial language stylization as one of the basic ways of genre formation. It has been revealed that Bazhov's tales are insufficiently studied in the aspect of translation, particularly in terms of transferring their word-formation features to foreign languages. Meanwhile it is necessary to reproduce them in the target language to ensure that the impact on the readers of a different culture will be close to the perception of the Russian recipient. The comparative analysis of two English versions of the *Silver Hoof* tale is aimed at the solution of this complex problem. It is obvious that Russian affixal derivatives (emotives) give the text of the tale a bright emotional coloring, but it is inevitably lost in the English translations due to the differences of word-formation systems of the Russian and English languages as well as intercultural differences. The authors have analyzed the English translations of such emotive units as diminutives, pejoratives and prefixed verbs. The comparative analysis of Bazhov's text and its English translations has revealed that the translators use the different ways to convey emotive meanings of Russian emotive affixes using language units of different levels. The authors have come to a conclusion that one should talk not so much about the untranslatability of Bazhov's tales as about the degree of their translatability. Thus, it is supposed that a creative translator can find the ways to render the emotive meanings of the original.

Key words: stylization; colloquial language; Bazhov's tales; emotives; translatability; affixation; word formation.

УДК 81'27

doi 10.17072/2073-6681-2019-3-71-79

ЗАПРЕТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ В РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕРМСКОГО СТАРООБРЯДЧЕСТВА¹

Екатерина Николаевна Свалова**к. филол. н., доцент кафедры общего языкознания, русского
и коми-пермяцкого языков и методики преподавания языков****Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет**

614090, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, 24. svalova87@mail.ru

SPIN-код: 6094-4184

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8181-808X>*Статья поступила в редакцию 22.07.2019***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:***Свалова Е. Н. Запреты и предписания в речевой культуре пермского старообрядчества // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 71–79. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-71-79***Please cite this article in English as:***Svalova E. N. Zaprety i predpisanija v rechevoy kul'ture permskogo staroobryadchestva [Everyday Prohibitions and Prescriptions in the Speech Culture of the Perm Old Believers]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 3, pp. 71–79. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-71-79 (In Russ.)*

В статье рассмотрены устойчивые выражения с семантикой запрета и предписания, зафиксированные в речи староверов Пермского края. Эти прескриптивные высказывания отражают мировоззрение представителей старообрядческой культуры, систему ценностей религиозного сообщества, выступают как средство самоидентификации его представителей. Внимание обращено на выражения, которые организуют повседневное поведение.

Исследуемые высказывания как речевой жанр содержат истолкования базовых категорий бытия человека, норм поведения в быту. При этом отраженная в них система запретов и правил связана с духовностью человека: религиозное начало остается ведущим в жизненной практике и приобретает нередко форму ее гиперсакрализации. В основе вербальных запретов и дозволений зачастую лежит оппозиция «свое-чужое», где за «своим» закрепляется правильное (праведное), должное поведение, за чужим – прямо противоположное (от антихриста). Ненормативное поведение оценивается как греховное.

Анализ материала показывает, что высказывания-запреты и предписания демонстрируют высокую степень сохранности, несмотря на то, что в современных условиях некоторые нормы потеряли актуальность (редуцировались или исчезли), а к существующим правилам появились послабления. Зафиксированные в речи пермских старообрядцев изречения в значительной степени соотносимы с прескрипциями старообрядцев других территорий России. При этом очевидны отличия в их компонентном составе, в художественной оформленности (рифма и ритм, которые нередко создаются благодаря диалектной огласовке и народно-этимологическими сближениями). Не тождественны и объяснения (нарративы интерпретационного характера) существующих норм и правил. Таким образом, многие описываемые прескрипции имеют свою локальную, пермскую специфику, которая главным образом проявляется на лингвистическом уровне.

Ключевые слова: речевая культура старообрядчества; речевой жанр; этикетные формулы; прескрипции; языковые средства выражения запрета.

Запреты, являясь устойчивыми высказываниями о вере и обязанностях, представляют интерес для исследователей разных областей гуманитарного знания. Подобного рода вербальные пре-скрипции в традиционной культуре связаны с многовековым культурно-языковым опытом народа, поэтому в современных научных раз-ыс-каниях они все чаще являются объектом изучения этнолингвистики, лингвокультурологии и фольклористики. Выявляя функцию запретов, ученые сходятся во мнении о том, что «подчи-нение» запрещающим выражениям делает жизне-деятельность этноса «нормативно стабильной» [Владыкина 1997: 241], а сам запрет интерпретируется как «форма ограничения прав и желаний, предупреждение и назидание во имя гармонич-ной жизнедеятельности» [Гайсина 2013: 12]. За-метим в связи с этим, что культура в целом пред-ставляет собой систему моральных запретов и табу (часто условных) и владение любыми ее формами требует отказов и ограничений.

Запреты, регламентирующие бытовое и обря-довое поведение, хозяйственную деятельность человека и сообщества, давно привлекает внима-ние исследователей. В российской этнографии и фольклористике первое более полное изучение запретов (и более строгих их форм – табу) вы-полнено на материале самых разных культур Д. К. Зелениным. Ученый в работе «Табу слов у народов Восточной Европы и Средней Азии» [Зеленин 1929] исследовал промысловые, ското-водческие и бытовые запреты и увидел во мно-гих из них отраженность магических форм (в том числе магии слова). В наши дни интерес к запре-там не ослабевает. Л. А. Абукаева в статье «Ма-рийские запреты. К вопросу о природе и специ-фике» (2016) отметила высокую активность за-претов в повседневной коммуникации мари-йского народа, включенность их в систему обря-дов и ритуалов, тесную связь с суевериями. «Функция запретов, – пишет исследователь, – заключается в том, что они были призваны под-черкнуть почтительное отношение к объектам поклонения. Их соблюдение должно было обес-печить покровительство высших сил, безопас-ность и благополучие рода и семьи, а также от-дельного человека» [Абукаева 2016: 82]. Л. А. Абукаевой выделены разные классы за-претов: запреты культового характера, запреты утилитарно-практического (бытового) харак-тера. Говоря о функционировании запретов, Л. А. Абукаева подчеркивает, что запреты разли-чаются не только по содержанию и функции, но и по особенностям использования: они обладают различной степенью строгости выполнения» [там же: 83]. Запреты в фольклоре башкир рассмотре-ны в диссертации Ф. Ф. Гайсиной «Запреты как

фольклорный жанр в традиционной культуре башкир» (2013). Как считает исследователь, их происхождение связано с почитанием природы, сфер животного и птичьего мира, небесных тел и природных стихий. Запреты башкир, как и мно-гих других народов, «являются первичной фор-мой социального, правового регулирования жиз-недеятельности отдельных индивидов и социу-ма», представляя собой фольклорный жанр в традиционной культуре башкир, имеют «синте-тический характер, требующий изучения их в языковом, философском и правовом ракурсах» [Гайсина 2014: 4].

В языковом плане запреты рассматриваются как один из речевых жанров (или микрожанров), имеющий свою специфику [Руссинова 2006, Иванова 2014, Назари 2011]. К примеру, Фатеме Назари указывает, что запреты имеют как импе-ративное, так и неимперативное выражение [Назари 2011: 684], что семантика запрета в рус-ском языке обеспечивается использованием спе-циальных операторов отрицания (частица *не*, слово *нельзя*, которое выражает абсолютную не-возможность совершить какое-либо действие). Среди лексико-синтаксических средств чаще всего запрет выражают предложения с обобщен-ным значением, в которых глагольные предика-ты имеют «всевременное» значение, а имя субъ-екта выступает как обобщающее [Иванова 2014: 84]. Трансформацию значений компонентов за-претов Н. В. Иванова иллюстрирует старообряд-ческим правилом: *Ты можешь войти в другой храм, но ты не молишься вместе с ними*; в вы-сказывании подлежащее выражено местоимени-ем 2-го лица единственного числа *ты* с семанти-кой потенциально-конкретного лица. По семан-тике это отнесенное к сфере будущего волеизъ-явление говорящего, опирающееся на авторитет традиции, выражающее обобщенный коллектив-ный опыт нескольких поколений носителей ста-рообрядческой культуры. «Ответа» на высказан-ный запрет ждут не на словесном уровне, а на уровне действий.

Исследователями отмечается образование за-претов по модели параллелизма («мир реальный – мир потусторонний»), по модели противопо-ставления, на основе символизации или олице-творения [Абукаева 2016]. В целом же в кругу других устойчивых сочетаний запреты не обла-дают выраженной структурной стабильной оформленностью, несмотря на то, что их семан-тика устойчива. Еще одна черта единиц, относя-щихся к данному жанру, проявляется в том, в большинстве своем они не отличаются художе-ственной оформленностью, в отличие, например, от пословиц и поговорок. В паремиях также за-креплены нормы поведения, ср. о грехе «перего-

варивать» у верующих, т. е. много говорить: *умный молчит, а глупый ворчит*; приведенный рифмованный пример хорошо иллюстрирует стилистическую обработанность пословиц. Элементы художественной обработки очевидны в запретах, содержащих игру слова (*Чай от Бога отчаивает* о запрете пить так называемый «фамильный», т. е. привозной чай из листов чайного куста), звуковую инструментовку, рифму (*Кто курит табаки, тот хуже собаки* о грехе курения; *Что лайко, что зайко* о запрете есть зайчатину).

Запреты обеспечивают нормативно стабильное и гармоничное существование, выражают свою систему ценностей, правил, обычаев, норм, которая «служит основой конфессиональной и культурной идентичности староверов» [Иванова 2014: 74]. Формирование специфического поведения носителей старой веры продиктовано главным образом их стремлением к определенной изоляции от инокультурной среды, а запреты в основном связаны с духовными ориентирами личности, даже если они касаются быта и повседневности. Связь эта объясняется тем, что в практической деятельности сильно религиозное начало: человек ощущает потребность постоянного присутствия Бога, его волеизъявления, соучастия в ежедневном своем существовании. Этот жанр в культуре пермского старообрядчества (разных его согласий и толков) фиксируется давно. В нашей статье рассмотрены запреты, опубликованные архимандритом Палладием [Архимандрит Палладий 1863], активно используются этнолингвистические и фольклорные материалы экспедиций 2004–2019 гг. филологов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета в районы проживания старообрядцев.

Запреты и предписания функционируют в повседневной и обрядовой коммуникации, поэтому этот жанр логично рассматривать в обрядовом и бытовом проявлении. Подобным образом описан речевой этикет старообрядцев Эстонии (см.: [Морозова, Новиков 2007, Паликова 2010]). В то же время граница между этими видами коммуникации достаточно условна в традиционной культуре вообще. В среде старообрядцев быт еще в большей степени ритуализирован, поэтому многие предметы, явления и действия сакрализуются, возникающие запреты и предписания осмысливаются как непреложные истины и исполняются с истовостью верующего человека. Повседневное не осмысливается как противопоставленное исключительному, оно также имеет вечный смысл, раскрываемый во Христе, отсюда так называемая сверхсакрализация жизни (быта) в мировоззрении и культуре повседневности старовера, четкое следование выработанным прави-

лам и нормам поведения, бытовой консерватизм. Если цель соблюдения запретов в обычной жизни – предупреждение угрожающих жизни и благополучию событий и состояний, то многие старообрядческие запреты направлены на предотвращение греха, греховного поведения. Так, хорошо известный мужской запрет бриться воспринимается просто как суеверие (напр., *Мужчине перед рыбалкой не следует бриться, улова не будет*), которое восходит к архаическому представлению о концентрации в волосах и бороде жизненной силы. У старообрядцев же бритье считалось серьезным грехом, его воспринимали как «поругание образа Божия». Подобное отношение к бороде отражено в пословицах и поговорках: *Борода не вреда, глазам замана* (о сакральной ценности бороды, увеличивающей согласно народным представлениям физические способности человека); *Без бороды не мужик; Без бороды в Царство небесное не пустят* (*У меня папа бороду не носит, но сейчас говорит: «Пора уже бороду отращивать, а то как без бороды хоронить будут»* – Лысьва), в пренебрежительной характеристике никонианина *скоблёно рыло*. Близким по смыслу является старообрядческий запрет *стричь волосы, делать прическу женщинам* (*Нельзя волосы не то что стричь, завивать нельзя* – Лысьва). Нарушение запретов обычно исправляется чтением молитв (*Молитву надо творить, а то я измирилась, съездила в сельсовет на автобусе* – с. Сепыч, Верещагинский район; *измиричьтесь* – приобщиться к миру, к тем, кто вне согласия). В традиционной культуре избавление от опасных последствий нарушения достигается чаще всего мерами магического характера (вербальными и/или невербальными). Так, нарушение запрета на пожелание удачи у рыбаков «нейтрализуется» бранью в адрес пожелавшего.

В настоящей статье мы остановимся на бытовых запретах в речевой культуре староверов Пермского края. Речь идет о запрещениях, касающихся поведения в быту. Отметим, что многие запрещения (впрочем, как и дозволения) универсальны для старообрядчества в принципе, но оформлены нередко так, что имеют свою региональную специфику. Пермский языковой материал в этом смысле вписывается в широкую картину речевой культуры русских староверов, но при этом демонстрирует степень сохранности тех или иных запретов и предписаний, отношение к ним (способы интерпретации, в частности) и некоторые особенности их лингвистического оформления на конкретной территории, например, использование местной диалектной лексики и фразеологии. Так, в контексте запрета на использование вилок («*Мы вилками не пользуемся*»

– Лысьва) отмечено слово *вілошно*: название блюда, которое необходимо есть вилок (например, пельмени, холодец). Запрет известен и в православной среде, но касается исключительно поминального стола. В отдельных территориях Прикамья *вілошным* старообрядцы угощают гостей в обручение, перед свадьбой (с. Григорьевское, Нытвенский район). В наши дни отмеченная традиция практически утрачена.

В отличие от общеязыковых запретов, в качестве основного оператора отрицания при выражении запрета используются слова *грех* (*Мы не ели зайцев, грех есть зайцев* – Лысьва), *грешно*, *погрешно* (*Соль голыми руками не хватайте, только ложечкой. Очень погрешно* – д. Бурыволово, Кишертский район; *Записываться на матифон грешно, голос после меня наверху останется* – Усть-Уролка Чердынский район); выражения *не по вере, вера не велит* (*Зайца грешно по нашей вере есть* – В.-Язьва Красновишерский район).

Несмотря на близость запретов в повседневной и обрядовой среде, следует, на наш взгляд, рассматривать отдельно выражения, не связанные с конкретным обрядом, соотношенным с собственно религиозным событием или культовым действием, и бытовые запреты сугубо утилитарно-практического характера. Так, обрядовый запрет плясать на Пасху связан с необходимостью отказа от мирской суеты и всего плотского во время празднуемой встречи с Воскресшим: *На Пасху делали качели, плясать-то грешно. На качелях пели: Пасха священная нам днесь показая, Пасха святая, Пасха всечестная, Пасха Христос избавитель* (д. Антипина, Красновишерский район). Отметим также, что разграничение бытовых и культовых запретов не всегда возможно: по словам М. О. Шахова, «бытовой консерватизм старообрядчества основывается на религиозном традиционализме» [Шахов 2000]. Поэтому среди бытовых мы рассматриваем прежде всего пищевые запреты и те, которые связаны с обыденной жизнью человека (физические действия, уход за собой, контакт с современными техническими новшествами).

Пищевые запреты

В группе бытовых запретов большую часть образуют так называемые застольные и пищевые запреты, которые могут быть связаны с конкретным продуктом питания, со способом приготовления блюда или напитка и особенностями их употребления. В эту группу входят и этикетные выражения (чаще это предписания), которые так или иначе связаны с ситуациями употребления пищи (Е. С. Бойко называет их актом трапезования [Бойко 2012]). На основе представления о

том, что обеденный стол – это «Божья ладонь», а пища соответственно *Божье подаяние*, формулируется запрет на употребление пищи вне стола: *«От стола до стола никто не кусобиничал, раньше было»* (с. Култаево, Пермский район). Выражение иллюстрирует представление о том, что еда «вне стола» не воспринимается Божьей, поэтому не несет в себе пользы для человека. Само обозначение «вне стола» возможно интерпретировать и как период, не связанный с регламентированным временем для трапезы, и как употребление пищи (пользование чужой посудой) вне собственного дома, у чужих людей: *«А вот у нас сваты приезжали с Сибири. Он у нас не тил, не ел. Сходил на ключик, там воду взял. Мы говорим: ну как это, хоть поешь чё-нибудь. «А чё мне охота сорок лестовок отмаливаться»? Сорок лестовок ему за то, что поест где-то. Ак вот он и воздерживался. Ему нигде ни попить, ни поесть в чужом месте»* (Лысьва). Как и в ряде других территорий России, пермские староверы, называя стол *престолом*, не стелют на него клеенку (ср.: *На клиёнке грех ись, ну в ёй резина: она не чиста. Надо застилать только льниную скатерть. Только лён чистой* [Бойко 2012: 241]).

Известный запрет *не оставлять стол без солонки* – свидетельство восприятия соли как высосакрального продукта. В традиционных культурах соль – символ вечности и исключительной ценности, в практическом плане в разнообразных формах применяется как оберег. В высказываниях *Кто мачет яйцо в солонку, тот в дружбе с бесами* (с. Григорьевское, Нытвенский район; ср. распространенное *Соль рассыпается – бес улыбается*); *В солонку ни пальцем, ни яйцом* отражен запрет рассыпать соль, в том числе с отсылкой к образу опрокинутой Иудой на Тайной вечере солонки. Еще одно правило старообрядческого застольного этикета – *Не брать соль из солонки щепёткой*: сложенные вместе три перста никониан-православных называются *щепёткой, шепетью*. Таким образом, воспроизведение чуждого троеперстного крестного знамения уподоблялось старообрядцами святотатству. Еще один пример запрета с солью – невозможность в застолье о недосоленной пище сказать «без соли»: *«Без соли» нельзя говорить, когда едят. Выходит слово «бес», чтоб он солил. Надо говорить “недосол”*» (с. Фоки, Чайковский район).

Среди других правил приема пищи значима оппозиция «день – ночь». Фиксируются запреты на трапезу в ночное время (*Ночью хлеб стит*), в том числе и питье воды (*С постели ставши не пить по почам* [Архимандрит Палладий 1863: 194]). Отметим, что в ночное время запрещены

любые действия с водой: она тоже «спит» (*Грех набирать воду ночью*). Безусловно, в такого рода запретах ощущается «анимистическая подкладка» [Зеленин 1929: 56], древнее почитание воды как величайшей духовной ценности. Запрет на трапезу в ночное время реализуется в требовании не оставлять пищу открытой: *«Нельзя посуду незакрытой на ночь оставлять. Не положено по-нашему. Ну, у нас не положено. Мы всегда всё закрываем, посуду опрокидываем»* (Лысьва). Закрывание пищи, сосуда с напитком является предписанием-правилом для человека и считается преградой для нечистой силы: *«Надо хотя бы палочку сверху положить, чтобы бес не выкупался, ноги свои не ополоскал»* (В.-Язьва, Красновишерский район), аналогично вода в доме, которая оставалась на ночь незакрытой, считается опасной для человека.

Многие пищевые правила связаны и с запретом на конкретные продукты питания. Устойчив запрет на употребление в пищу мяса зайца. Кроме общей оценки «грех, грешно», «не дозволено», староверы предлагают различные объяснения запрета. По одной из версий есть зайца нельзя, потому что он рождается слепым и без шёрстного покрова: *«Мы не ели зайцев, грех есть зайцев – потому что зайцы рождаются слепые и голые. Хоть птица, хоть животное родится в таком виде, не положено его есть. Это ещё Моисей закон дал, и потом у нас это укоренилось. Так Бог велел»* (с. Меча, Кишертский район). По другой версии, запрет на зайца обусловлен внешней схожестью его с собакой: *«Что зайко – что лайко»* (Лысьва; в содержащей запрет поговорке использовано характерное для говоров название животного по свойственному для него действию и диалектное же оформление средним родом). Но не только соотношение по внешним физическим признакам в представлении староверов «роднит» собаку и зайца. Подчеркивается и тождественность их «функций»: собака, которая принадлежит хозяину-человеку и служит ему, одновременно считается и нечистым животным, и одним из воплощений черта; заяц подчиняется хозяину леса (*«Зайца грешно по нашей вере есть. Заяц это лешева собака, у его и лапы собачьи»* – с. В.-Язьва, Красновишерский район), его мясо *«вызывает похоть»*. Фиксируется и прямо противоположное объяснение запрета, связанное с позитивным восприятием зайца: *«В Библии написано, что зайца нельзя есть, записано, он когтистый, а которые говорят, он Иисуса Христа спас. Когда за Иисусом гонялись, он превратился в ребёнка. Зайца спросили: «Где Иисус»? Заяц де ответил: «Сосчитайте, у меня на самом кончике уха чёрные волосики есть. Когда эти волосики сосчитаете, я вам скажу, где Иисус».*

Они начали считать, а заяц нет-нет, да и тряхнёт головой, они сосчитать-то и не могут» (с. В.-Язьва, Красновишерский район).

Частично фиксируется в Пермском крае старообрядческий запрет на пельмени: *«Пельмени в обычные дни не дозволены были»* (д. Усть-Уролка, Чердынский район). Возможное объяснение его заключается в особом восприятии пельменей соседями-коми-пермяками преимущественно как обрядовой пищи, прикрепленной к поминальным обрядам: *«По кругу угощают: один человек подаёт вино красное или водку, а другой пельмяни. Пельмяни сварят и горячими пельменями всех угощают. По одному пельмешку все берут. Если в пост умер, то из грибов, а если в мясной период, то из мяса»* (Капилино, Юсьвинский район). Традиция до последнего времени жива на севере: *«В поминки на девять дней три перемены надо было делать. Три раза пельмени раньше подавали – кислые, мясные, грибные»* (д. Усть-Уролка, Чердынский район). Отмеченная традиция закрепились в коми-пермяцком соотношении пельменей со смертью (ср. в примете: *«Пельмяннез – куём, букв. ‘Пельмени – к смерти снятся’*). Блюдо известно и как «профетическое» средство и используется в гаданиях на судьбу (в Новый год, на именинах, крестинах стряпают пельмени с символически значимой начинкой). Наконец, пельменями «лечили» больных порчей (*«Перед тем, как больную с икотой накормили пельменями, порча у нее еще ругалась, матькалась: «Вы что, хотите меня накормить пельменями?»»* (д. Антипина, Красновишерский район). Ощущения отголоски восприятия пельменей как ритуальной пищи и в русской речи Прикамья: в говорах сохраняется застольные шуточные побуждения выпить при начале угощения пельменями *«На пельмени-то пьётся, Пельмень по воду ходил»* (п. Юго-Камский, Пермский район). Ассоциации пельменей с «нерусским» и явно языческим блюдом могли лечь в основу отмеченного запрета использовать их в повседневном быту.

Повсеместно распространены у староверов запреты на продукты, воспринимаемые как поздно появившиеся в России, завезенные: чай, кофе, картофель, сахар. Мотивация такого рода запретов достаточно подробно описана разными авторами, поэтому мы остановимся лишь на некоторых пермских контекстах, которые интересны в лингвистическом отношении.

Негативное отношение к картофелю выражалось в неприличных его номинациях в старое время: *«собачьи яйца, собачьи мудё»*. На использование продукта накладывался строгий запрет (то же во многих других территориях обитания старообрядцев (см.: [Волкова 1994: 78]). Отголоски запрета видны в сохраняющейся его характери-

стике *поросьячья еда* (с. Кын, Лысьвенский район). В речи пожилых еще встречаются рассказы о том, что из картошки вырастет собака (*Бабушка мне говорила, посади картошку в грядку, поливай ее, и потом у тебя из нее станет черная собака* – д. Пож, Юрлинский район). Распространенное в Прикамье в прошлом старообрядческое отношение к картофелю как к нечистому, «нерусскому» овощу постепенно исчезло, но некоторое время сохранялось в отдельных обрядовых запретах (*На поминки старообрядцы не готовили ни шанег, ни пирогов с картофелем. Говорили раньше – в картошке чёрт прячется*) – с. Калинино, Кунгурский район). Примерно так же в наши дни меняется отношение к бананам: *Один тут бананы купил. А старик-то говорит: «Поросьячью еду берёте?» – «А ты чё-но картошку заготавлишь, не поросьячью что ли? Картошка-та тоже поросьячья еда»* (д. Антипина, Красновишерский район).

Запрет пить фамильный (по другим названиям *китайский, турецкий*) чай (*Кто пьёт чай тот отчаянный человек* [Архимандрит Палладий 1863: 152]) отражает крайне значимое для носителей старой веры качество – сдержанность и миролюбие (о чем красноречиво говорит предписание *Нельзя ставить на молитву, если с кем не ладишь: «Нельзя ставить на молитву, если с кем ле не ладишь. А како худо бывает, когда умирам в ссоре – кто там нас отмолит? Утром поссорился, к вечеру помирись – так ране говорили»* [Дронова 2014: 18]). Другой запрет на чай *Чай от Бога отчаивает* мотивирован лингвистически – отмечает потерю надежды для любителя чая на Бога (в соответствии с этимологией глагола, образованного от старого *чаять* ждать). В народных преданиях о чае растение связывается со смертью Христа: *Когда Иисуса распяли, было затмение, а чай и табак расцвели. Вот поэтому чай пить и табак курить – грех* (с. Меча, Кишертский район). До наших дней вместо чая от чайного куста старообрядцы пьют *горный* (из собранных на возвышенностях трав), *копорский* (приготовленный из Иван-чая) чай, *травник* из листьев смородины. Самовар уже не называют *шпучая змея* (*медный зверь, нечистый дух* – с. Фоки, Чайковский район), хотя еще и помнят эти характеристики; постепенно отношение к чаю в старообрядческой среде изменилось (примерно с 60-х гг. XX в.).

Жесткие ограничения употребления спиртного содержит запрет *Пиво, вино и брага – ярость змеиная* [Архимандрит Палладий 1863: 194]. У современных старообрядцев нет жесткого табу на употребление алкоголя (*В старых книгах упоминается, только не водка называлась, а ракия, значит, можно* – с. Кын, Лысьвенский рай-

он; ср. мотивировка отступления от правила у русских староверов Латвии: *«Рюмку не грех. Ести ж писано: «Была свадьба. Ну, и не хватило, водки было мало. Ну, и как раз Иисус Христос шёл. Ну, и ему: “С воды сделай водку!” Ну, и вот люди все пили и веселились. Только нельзя до безумия напиваться. Ну, первая рюмка – на здоровье, вторая – на веселье, а третья – уже на безумие»* [Иванова 2014: 77]). При этом в речи отмечается большое количество разрешительных высказываний, содержащих ограничения в спиртном: *Первая для здоровья, другая для веселья, третья для пагубы души* (п. Рассоленки, Лысьвенский район); *Если выпить одну чарку (кружку), то это не является грехом, а вторая идет на гулянье, третья на блуд* (д. Горбуново, Пермский район).

Отмеченные пищевые запреты частью восходят к древним ветхозаветным правилам, которые были усвоены с принятием христианства (в том числе так называемый Моисеев закон, см. о запретах на зайчатину: [Кабакова 2015: 172]), частью являются отголосками языческих культов тотемных животных, мотивированы тем, что относятся к чужим, имеющим неизвестные свойства продуктам.

Запреты, связанные с обыденной жизнью

Запрещения на поведение человека в быту крайне разнотемны и касаются эмоционального и трудового поведения (*Грех смеяться в пятницу, Грех работать в праздник – праздничная работа в путь не идёт*), отношения к своей внешности (*Нельзя стричь ногти в воскресенье, Грех красить брови*), пользования многими предметами поздней или чужой культуры (*Грех смотреться в зеркало, Грешно фотографироваться, Грех носить одежду с нерусскими буквами*). Есть темы, для которых выработано большое количество запретов. Таков запрет на курение. Если запрет на употребление спиртного в старообрядчестве не является жестким, то курение находится под строжайшим запретом: *Табак хуже водки по алкогольности* (с. Кын, Лысьвенский район). Запрет выражен в массе выражений: *Кто курит, тот Бога от себя турит* (от диалектного *турить* гнать, выгонять; известен и вариант *Кто табак курит – Святого Духа из себя турит*), *Курить – грех, табачники – аду приказчики* (д. Б.Бизь, Лысьвенский район), *Кто курит табáки, тот хуже собаки* (Пермь). Обоснованием запрета являются народные рассказы о табаке как «противнике» Христа: *Табак нельзя курить. Когда Иисуса Христа на распять ввели, по табаку его ввели, и он ноги ему все сплел. И Иисус его проклял. Очень погрешно табак курить. А пить – немножко-то можно пить, не до блаженья.*

Можно для веселья, кости чтобы раскрепостились (д. Осинцево, Кишертский район).

Строго относятся носители веры к особому вниманию человека к своей внешности: *Золото нельзя носить – молнию притягает. Считается грехом прокалывать уши – на том свете будет змий за мочку сосать* (д. Осинцево, Кишертский район). Устойчив в связи с этим запрет женщине подстригать волосы: *Нельзя волосы не то что стричь, завивать нельзя. Косы когда чешешь, собирай, в гроб потом положат. Ангелам надо волосы-то, они их будут искать. А как ангел их их заберет? Поморцы волосы и ногти не собирают, хотя и не разбрасывают, сжигают в печке, говоря, что там ангелы найдут. А наши часовенные боятся, что ангелы крылья опалят* (Лысьва).

В запретах отражено и особое отношение старообрядцев к бане. Следующий фрагмент раскрывает целый набор правил поведения в бане: *Баня поганая. Потому что там садишься голый. Надо приходить из бани, обязательно умывать из умывальника водой лицо. В баню обязательно с крестиком ходить. Можно и в рот его взять, чтоб, как считается, поганым не быть. И не положено снимать крест-то. На крест можно лить воду. На поганое ведро, как тетка все говорила, есть молитва, а на банное ведро нет молитвы. Воду в бане пить нельзя, тоже поганая. В баню можно ходить, кроме воскресенья. В пятницу, субботу, субботу только до вечерней, говорят, можно ходить* (Лысьва).

Непростым является отношение к фотографированию. В основном современные носители веры относятся к этому процессу терпимо, но наиболее «истовые» старообрядцы либо определяют особые условия для возможности его осуществления (*Фотографироваться можно, только если встанешь на сено или солому* – д. Усть-Уролка, Чердынский район), либо отказываются фотографироваться. Распространено следующее объяснение запрета: *При крещении человек получает невидимое сияние вокруг головы, которое после кончины будет служить ему пропуском в рай. Этого сияния стает все меньше при каждом греховном деянии, а фотоаппарат когда работает, его ловит и забирает* (Лысьва). Типичны следующие комментарии в адрес фотографа: *Вот ты меня поймал в свое стеколышко, я теперь слепнуть буду* (Лысьва), *Чикнул меня, и с меня ведь кожу обдерёт* (с. В.Язьва, Красновишерский район). Аналогично отдельными носителями традиции воспринимается как грех запись на магнитофон: *Записываться на матифон грешно, я вот умру, а голос после меня наверху останется, болтаться где-то будет* (д. Усть-Уролка, Чердынский район).

Строгих правил в современном старообрядчестве, как находящейся в упадке культуре, становится все меньше. В связи с этим многие верующие избирают для себя послабления (ср. отношение к запрету смотреть телевизор: *Грешно конечно телевизор смотреть. Дак а поп-от на что? Пусть берёт грехи на себя* – д. Антипина, Красновишерский район, где сохраняется беглопоповское согласие). Нередко возникают разного рода трансформации старых норм. Так, в совместной работе на поле две женщины, старообрядка и мирская, вынуждены есть из одной чашки, но чтобы символически избежать «помешки», перегораживают ее на две части: *Посреди блюда положишь ножик или палочку, чтобы каждая ела со своей стороны* (д. Калиновка, Еловский район). Менее жесткое современное отношение старообрядцев к нормам, отступление от старых запретов связано и с философским отношением к понятию грех: по старообрядческой пословице, *Одни грехи смываешь, другие собираешь* (п. Сыпучи, Красновишерский район).

Рассмотренные бытовые запреты в большинстве случаев имеют выраженный религиозный смысл и служат для сохранения чистоты веры, выступают как каноническая, сакральная ценность. Запреты направлены на предотвращение греха, греховного поведения и одновременно являются важной составной частью коммуникативной культуры старообрядчества, служат для ее носителей ориентирами самоидентификации. Исследование запретов и предписаний позволяет полнее раскрыть принятое в современных работах понимание старообрядчества как лингвокультурной общности, выявить изменения в исторически сложившихся нормах и правилах общения, увидеть очевидную связь конфессии с русской диалектной лингвокультурой в целом. Неверно было бы рассматривать их как фанатичный пережиток прошлого; в текстах запретов отражен духовный опыт многих поколений носителей веры.

Примечание

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (научный проект 19-18-00117 «Традиционная культура русских в зонах активных межэтнических контактов Урала и Поволжья»).

Список литературы

Абукаева Л. А. Марийские запреты: к вопросу о природе и специфике // Вестник Марийского государственного университета. 2016. № 1(21). С. 82–86.

Бойко Е. С. Коммуникативное поведение староверов в акте трапезования // Вестник Красноярского государственного педагогического уни-

верситета им. В. П. Астафьева. Филология. 2012. № 1(19). С. 240–243.

Владыкина Т. Г. Поверья в системе этносоциальной регламентации // Удмуртский фольклор: проблемы жанровой эволюции и систематики. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 1997. С. 249–279.

Волкова Т. Ф. Повести и легенды о табаке в контексте мифопоэтических представлений о смерти // Смерть как феномен культуры. Сыктывкар, 1994. С. 75–95.

Гайсина Ф. Ф. Запреты как фольклорный жанр в традиционной культуре башкир: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2013. 27 с.

Дронова Т. И. Тематический словарь пословиц, поговорок и присловий Усть-Цильмы / авт.-сост. Т. И. Дронова. Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН. 2014. 167 с.

Зеленин Д. К. Табу слов у народов Восточной Европы и Средней Азии. Ч. II. Л., 1929. 165 с.

Иванова Н. В. Запреты и предписания староверов Латгалии // Научный диалог. 2014. № 4(28): Филология. С. 74–87.

Кабакова Г. И. Пищевые запреты восточных славян и их обоснование. Категория оценки и система ценностей в языке и культуре / отв. ред. С. М. Толстая. М.: Индрик, 2015. С. 167–186.

Морозова Н., Новиков Ю. Чудное Причудье: Фольклор староверов Эстонии. Тарту: HUMA, 2007. 336 с.

Назари Ф. Способы выражения запрета в русском языке // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 6(2). С. 684–686.

Архимандрит Палладий. Обозрение пермского раскола, так называемого «старообрядства» / Палладий Пьянков. СПб.: тип. Духовного журн. «Странник», 1863. 47 с.

Паликова О. Н. Этикет в речи старообрядцев и в словаре говора // Лексический атлас русских народных говоров: материалы и исследования. 2010. СПб., 2010. С. 424–434.

Руссинова Т. В. Особенности функционирования запрета: На материале русского и английского языков: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов: Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, 2006. 21 с.

Шахов М. О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и отношение к обществу: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. М., 2000. 51 с. URL: <https://vivaldi.nlr.ru/bd000226299/view> (дата обращения: 01.17.2019).

References

Abukaeva L. A. Mariyskie zaprety: k voprosu o prirode i spetsifike [Mari taboos: on the nature and specific]. *Vestnik Mariyskogo gosudarstvennogo*

universiteta [Vestnik of the Mari State University], 2016, issue 1 (21), pp. 82–86. (In Russ.)

Boyko E. S. Kommunikativnoe povedenie staroverov v akte trapezovaniya [Communicative behavior of Old Believers during the act of meal]. *Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V. P. Astaf'eva* [Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev], 2012, issue 1(19), pp. 240–243. (In Russ.)

Vladykina T. G. Pover'ya v sisteme etnosotsial'noy reglamentatsii [Beliefs in the system of ethno-social regulation]. *Udmurtskiy fol'klor: problemy zhanrovoy evolyutsii i sistematiki* [Udmurt folklore: issues of genre evolution and systematics]. Izhevsk, Udmurt Institute of History of Language and Literature of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences Press, 1997, pp. 249–279. (In Russ.)

Volkova T. F. *Povesti i legendy o tabake v kontekste mifopoeticheskikh predstavleniy o smerti. Smert' kak fenomen kul'tury* [Stories and legends about tobacco in the context of mythopoetic ideas about death. Death as a cultural phenomenon]. Syktyvkar, 1994, pp. 75–95. (In Russ.)

Gaysina F. F. *Zaprety kak fol'klornyy zhanr v traditsionnoy kul'ture bashkir*. Diss. kand. filol. nauk [Taboos as a folklore genre in the traditional culture of the Bashkirs. Cand. philol. sci. diss.]. Kazan, 2013. 27 p. (In Russ.)

Dronova T. I. *Tematicheskii slovar' poslovits, pogovorok i prisloviy Ust'-Tsil'my* [Thematic dictionary of proverbs, sayings and bywords of Ust-Tsilma]. Syktyvkar, Komi Scientific Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences Publ., 2014, 167 p. (In Russ.)

Zelenin D. K. *Tabu slov u narodov Vostochnoy Evropy i Sredney Azii* [Taboo words of peoples across Eastern Europe and Central Asia]. Leningrad, 1929, 165 p. (In Russ.)

Ivanova N. V. *Zaprety i predpisaniya staroverov Latgalii* [Latgale old believers' prohibitions and injunctions]. *Nauchnyy dialog* [Scientific Dialogue], 2014, issue 4(28), pp. 74–87. (In Russ.)

Kabakova G. *Pishchevye zaprety vostochnykh slavyan i ikh obosnovanie. Kategoriya otsenki i sistema tsennostey v yazyke i kul'ture* [Food taboos of the Eastern Slavs and their justification. Evaluation category and value system in the language and culture]. Moscow, Indrik Publ., 2015, pp. 167–186. (In Russ.)

Morozova N., Novikov Yu. *Chudnoe Prichud'e: Fol'klor staroverov Estonii* [Wonderful Prichudye: Folklore of Estonian Old Believers]. Tartu, Huma Publ., 2007. 336 p. (In Russ.)

Nazari Fateme. *Sposoby vyrazheniya zapreta v russkom yazyke* [Means of expressing prohibition in the Russian language]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo* [Vestnik of

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod], 2011, issue 6(2), pp. 684–686. (In Russ.)

Archimandrite Palladiy *Obozrenie permskogo raskola tak nazyvaemogo staroobryadstva* [Review of the Perm split of the so-called Old Believers as presented by Palladiy P'yankov]. St. Petersburg, Spiritual journal 'Strannik' Publ., 1863, 47 p. (In Russ.)

Palikova O. N. *Etiket v rechi staroobryadtsev i v slovare govora. Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov: materialy i issledovaniya* [Etiquette in the speech of the Old Believers and dialect dictionary. Lexical atlas of Russian folk dialects: materials and research 2010]. St. Petersburg, 2010, pp. 424–434. (In Russ.)

Russinova T. V. *Osobennosti funktsionirovaniya zapreta: Na materiale russkogo i angliyskogo yazykov*. Diss. kand. filol. nauk [Peculiarities of prohibition functioning: a case study of the Russian and English languages. Cand. philol. sci. diss.]. Saratov, Saratov State University named after N. G. Chernyshevskiy Press, 2006. 21 p. (In Russ.)

Shakhov M. O. *Staroobryadcheskoe mirovozzrenie: Religiozno-filosofskie osnovy i otnoshenie k obshchestvu*. Avtoreferat diss. dokt. filosof. nauk [The Old Believers' outlook: Religious and philosophical foundations and attitudes towards society. Abstract of Dr. philos. sci. diss.]. Moscow, 2000. Available at: <https://vivaldi.nlr.ru/bd000226299/view> (In Russ.)

EVERYDAY PROHIBITIONS AND PRESCRIPTIONS IN THE SPEECH CULTURE OF THE PERM OLD BELIEVERS

Ekaterina N. Svalova

**Associate Professor in the Department of General Linguistics,
Russian and Komi-Permyak Languages and Methods of Teaching Languages
Perm State Humanitarian-Pedagogical University**

24, Sibirskaya st., Perm, 614090, Russian Federation. svalova87@mail.ru

SPIN-code: 6094-4184

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8181-808X>

Submitted 22.07.2019

The article considers set expressions with connotations of prohibition and prescriptions recorded in the speech of the Old Believers of the Perm region. These prescriptive statements reflect the worldview of representatives of the Old Believers' culture and the value system of the religious society as well as serve as a means of its representatives' self-identification. Particular attention is paid to the expressions that organize everyday behavior.

The investigated expressions as a speech genre contain explanations for the basic categories of human existence and the rules of conduct. The reflected system of prohibitions and prescriptions is connected with human spirituality: religious origins retain their leading role in life and its practices and often take the form of its hyper-sacralization. Verbal prohibitions and permissions are mainly based on the opposition 'my own' – 'someone else's', where 'my own' is associated with the right, proper, just behavior, whereas 'someone else's' – with the opposite (from the Antichrist). Deviant behavior is estimated as sinful: in prohibitions and prescriptions lexemes 'sin' and 'wicked' are used at a high level of frequency.

The analysis of the studied materials shows that expressions of prohibitions and prescriptions demonstrate a high level of preservation despite the fact that in modern conditions some norms have lost their relevancy (they either have been reduced or have completely disappeared) and the existing rules have been weakened. The expressions recorded in the speech of the Perm Old Believers mostly correlate with the prescriptions of the Old Believers from other territories of Russia. At the same time, they are evidently different in their component composition and artistic features (rhyme and rhythm that are often created by dialectal vocalization and folk and etymologic parallels). The explanations of existing norms and rules (narratives of an interpretational character) are not identical either. Therefore, prescriptions have their own local specificity typical of the Perm region, which manifests itself mainly at the lexical level.

Key words: subdialects of the Old Believers; speech genre; formulas of etiquette; prescriptions; linguistic means of expressing a prohibition.

УДК 821.161.1: 81'37

doi 10.17072/2073-6681-2019-3-80-85

КОНЦЕПТ «ЛЕЙБЛ» В СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТОСФЕРЫ «МОДА» МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Лилия Талгатовна Ягафарова**к. филол. н., доцент кафедры филологии****УВО «Университет управления «ТИСБИ»**

420012, Россия, г. Казань, ул. Муштары, 13. Yagafarovaliliya06@mail.ru

SPIN-код: 6050-2318

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0130-9451>

ResearcherID: B-8960-2018

*Статья поступила в редакцию 28.03.2019***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

Ягафарова Л. Т. Концепт «лейбл» в структуре концептосферы «Мода» массовой литературы XX века // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 80–85. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-80-85

Please cite this article in English as:Yagafarova L. T. Kontsept «leybl» v strukture kontseptosfery «Moda» massovoy literatury XX veka [The Concept 'Label' in the Structure of the Conceptosphere 'Fashion' of the Popular 20th Century Literature]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 3, pp. 80–85. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-80-85 (In Russ.)

Исследуется концепт *лейбл*, который рассматривается в рамках концептосферы *Мода* в отечественной массовой литературе XX столетия. Проблема лейблизации действительности особенно актуальна в наше время. Между тем концепт *лейбл* находит выражение еще в произведениях дореволюционных авторов (Л. Веселитская, Л. Чарская). Советский же период представляет интерес для данного исследования, разумеется, не избытием торговых марок и их приоритетом для социума, а тем, что является неким промежуточным контекстным полем применительно к частичной (дореволюционное время) и тотальной (современное время) лейблизации, затронувшей все сферы жизнедеятельности людей. Именно поэтому в исследование концепта *лейбл* включены произведения писателей советского периода (В. Токарева, Л. Чуковская и др.). Романы авторов современной массовой литературы (А. Берсенева, И. Стогов, Е. Вильмонт, Т. Веденская), будучи отражением общественного сознания современных носителей языка, дают хороший материал для изучения культурно релевантных концептов, таких как *лейбл*, *мода* и пр. В результате концептуального анализа мы не только обнаружили, что контекстуальное поле концепта *лейбл* представлено лексемами, в которых фигурируют дорогие модные торговые марки – «Jan Sport», «Delsey», «Армани», «Босс», «Донна Каран», «Райфл», «Dr. Martens», но и определили его ценностные показатели (сфера распространения, материальный показатель, значимость для общества). Используемый в работе статистический анализ показал востребованность данного концепта в отечественной лингвокультуре.

Ключевые слова: лейбл; мода; концепт; массовая литература; культура; концептосфера; ядро; периферия.

Лейбл, являющийся одним из сформированных в недавнее время ценностных ориентиров в российской культуре, представляет собой многоаспектную категорию. Лейбл сопоставим с такими понятиями, как «бренд» (совокупность ценностных представлений о продукте), «дизайнер» (человек, создающий модные категории), «мода»

(общее руководство, течение, которое задает тон образцам модного направления), которые выступают как способы обеспечения существования лейблов.

Исследование концептов так или иначе коррелирует с исследованием вербализованных артефактов, продуктом которых является «лингво-

культурная картина мира». Изначально мы говорим о таком понятии, как «картина мира», которая существует уже давно, поскольку связана с представлением человека о реалиях действительности и их обозначением в языке.

В. И. Постовалова определяет картину миру как «глобальный образ мира, лежащий в основе мировоззрения человека, то есть выражающий существенные свойства мира в понимании человека в результате его духовной и познавательной деятельности» [Постовалова 1988: 21]. Картина мира состоит из различных компонентов, «одним из которых является ценностная модель мира» [там же], и находит свое воплощение в коллективном сознании.

Говоря об отражении картины мира в языке, отметим формирование лингвокультурной картины мира, являющейся одной из наиболее ранних и важных слоев картины мира у человека. Лингвокультурная картина мира – это вербализованный лексическими средствами языка образ мышления, модель общих знаний о концептуальной системе мира, которые находят свое воплощение в концептах культуры.

Лингвокультурный концепт – это элемент культуры, ее бесспорный факт, находящийся в сознании человека и закрепленный в языке, который содержит ценную культурную информацию.

Источниками для исследования концептов, господствующих в лингвокультурной картине мира, могут стать тексты массовой литературы, так как это достаточно крупное явление в литературном процессе, которое, с одной стороны, относится к литературе, с другой – к социологии. В рамках социологии массовая литература рассматривается как отражение общественных представлений и идеалов, стереотипов и норм поведения. «Она (массовая литература) касается не столько структуры того или иного текста, сколько его социального функционирования в общей системе текстов, составляющих данную культуру» [Лотман 1993: 381]. Именно факт того, что массовая литература – явление социальное, позволяет обращаться к ней с целью познания современной культуры путем исследования актуальных концептов общества.

Так, пользуясь введенным лингвокультурологом В. А. Масловой понятием «ключевые концепты эпохи» [Маслова 2004], остановимся на одном из них – актуальном и значимом для современной лингвокультуры концепте *лейбл*.

Несмотря на то что концепт *лейбл* получил широкое распространение в отечественной лингвокультурной картине мира сравнительно недавно, помимо текстов современных авторов (А. Берсенева, И. Стогов и пр.), источниками нашего исследования стали также художествен-

ные тексты писателей массовой литературы дореволюционного (Л. Веселитская, Л. Чарская и т. д.) и советского периодов (В. Токарева, Л. Чуковская и т. д.). На наш взгляд, исследование литературы разных времен на предмет наличия лейблов представляет большой интерес, так как позволяет увидеть процесс лейблизации в динамике и выявить актуальность этой проблемы как современной реальности.

Целью данной статьи является характеристика наиболее распространенного в современной лингвокультурной картине мира концепта *лейбл* в структуре концептосферы *Мода* отечественной массовой литературы XX столетия. Именно поэтому нами поставлены следующие задачи:

- 1) проанализировать языковые единицы, вербализующие концепт *лейбл*;
- 2) определить концепт *лейбл* в структуре концептосферы *Мода* отечественной лингвокультурной картины мира на основе массовых романов;
- 3) описать особенности языковой репрезентации концепта *лейбл* в текстах;
- 4) выявить ценностные признаки рассматриваемого концепта.

Под лейблом понимается торговый знак определенной фирмы, выпускающей товары самого разного назначения. В ходе развития модной индустрии понятие «лейбл» стало означать не просто торговую марку, а именно знак известной компании, выпускающей модные вещи.

Цель и задачи определили выбор методов исследования, среди которых выделяются:

- описательный метод, в рамках которого использовались приемы наблюдения, обобщения, интерпретации и классификации;
- метод концептуального анализа художественного текста (анализ осуществляется по образцу, примененному Ю. Н. Карауловым в работе «Русский язык и языковая личность» [Караулов 2010], уточненному в соответствии с характером материала и целью нашего исследования), предполагающий выявление концептов и способов их вербализации;
- статистический метод с употреблением приема количественного анализа, обеспечивающий точность в выявлении частотности концептов и концептуальных признаков;
- контекстуальный анализ, позволяющий выявить ценностные смыслы в текстах.

Исследуемый в данной статье концепт составляет ядро концептосферы *Мода* наряду с концептами, актуализирующими понятие «внешний вид»: *одежда, обувь, прическа, украшение, головной убор*. Такое расположение концептов в рамках концептосферы *Мода* весьма закономерно, поскольку лейбл призван «номинировать» моду, разграничить ее по персоналиям; кроме

того, наблюдается влияние лейблов на моду, а не наоборот.

В результате концептуального анализа, выяснилось, что данный концепт активно функционирует в текстах массовой литературы современного периода, более того, можно считать, что *лейбл* является ключевым понятием в сфере моды. Об этом свидетельствует высокая частотность повторения лексем в текстах – 48 лексем, повторяющихся 585 раз в 17 выбранных романах. В проанализированных же фрагментах текстов советского и дореволюционного периодов не наблюдается активного использования авторами единиц, актуализирующих концепт *лейбл*, можно выделить лишь несколько известных торговых марок – 5 лексем, повторяющихся 13 раз в 17 советских текстах, и 12 лексем, повторяющихся 37 раз в 8 текстах дореволюционного периода.

Подчеркнем, что вслед за Г. В. Токаревым результаты статистического анализа мы рассматриваем в качестве объективных показателей актуальности того или иного явления; ср.: «показателем актуальности того или иного явления для лингвокультурного общества является количественный и статистический аспекты репрезентации» [Токарев 2003: 5].

В результате концептуального анализа было выяснено, что концепт *лейбл* имеет следующую структуру: ядро и периферию. Ядерное пространство концепта представляют лексемы, эксплицитно, т. е. открыто, актуализирующие концепт *лейбл*:

– контекстуальные синонимы: **лейбл** – «от (отъ)» («Ганцоры были мускулисты и носили трусы от “Келвин Клайн”» [Стогов 2006: 28]); **лейбл** – **магазин** («...в магазине «Рабочая одежда» и стоят одиннадцать рублей русскими деньгами. Они, правда, тяжеловаты, поскольку на вате, но без синтетики. Чистый хлопок» [Токарева 2003: 124]); **лейбл** – **кутюрье** («А кем, кроме как богачом, мог быть мужчина в пальто от Ворта? Прожив семь лет в Европе, Эстер научилась определять изделия этого кутюрье с первого взгляда» [Берсенева 2012: 320]); **лейбл** – **дизайнер** («Ксения впервые надела сегодня новую шикарную юбку... Юбка была супердорогая, от дизайнера Пола Смита, который считался покруче Версаче» [там же: 55]); **лейбл** – **(фирма) фирменный** («У него были лакированные черные ботинки. По слухам, их бесплатно поставляет в Ватикан фирма “Dr. Martens”» [Стогов 2005: 244]; «Между прочим, платье-то клевое, фирменное, наверняка дорожущее» [Веденская 2008: 65]); **лейбл** – **надпись** («На нем был бордовый монашеский плащ, из под которого торчала футболка с надписью “NIKE”» [Стогов 2006: 320]);

– гипонимы: **лейбл** – **названия марок**: Живанши, Delsey, Tiffany, Speedo, Райфл, Левис, Ли, Nike, Шанель, Наф-наф, Ворт, Пол Смит, Босс, Мияке, Донна Каран, Армани и т. д.

Периферия концепта лейбл объективируется имплицитным способом, т. е. лексемами, скрыто актуализирующими какие-либо признаки: **лейбл** – **стильный** («– Просто стильный мужчина – довольно строгое понятие, без выкрутасов... Джинсы – «Левис», «Ли» и прочее в том же духе...» [Берсенева 2010: 282]); **лейбл** – **дорогой** («его темно-бежевый костюм выглядел безупречно. Это Аля определила сразу, почти не глядя. Илья всегда носил хорошие, дорогие костюмы, и она научилась в них разбираться. «Опять Армани, что ли? – машинально подумала она. – Или Босс» [там же: 63]).

Будучи одним из важных ценностных ориентиров общества, понятие «лейбл» включает в себя следующие признаки:

1. Сфера распространения (на какие предметы гардероба лейблизация распространяется в большей степени).

Выяснилось, что лейблизация коснулась даже тех предметов, где ее наличие и необходимость воспринимаются весьма сомнительно, например, нижнего белья («Плавки “Speedo”, которые были на мне надеты, в свое время покупала жена» [Стогов 2006: 327]), джинсов, которые, казалось бы, имеют достаточно стандартную фактуру («В нем лежали тишотки, плавки, шорты и два “Левайса” с пуговицами на ширинке. Практически весь мой гардероб» [там же: 302]; «...и я захожу в бар... хотел поменять “Левайс” на новые “Найки”... а “Левайс” 846 й!.. это ж модель клеш!.. понимаешь?..» [там же: 367]).

Данная тенденция намечается в современное время. Вместе с тем традиция распространения и реализации лейблов уходит корнями в начало века и продолжает свою линию, пусть не столь активно, в советскую эпоху. Перечень распространения весьма широк: от **одежды** («Живя с женой, он обзавелся несколькими пиджаками, покупал в “Littlewoods’e”...» [Стогов 2006: 255]; «Сегодня он был одет в... рубашку “LLBean”» [там же: 306]), **обуви** («Кожаные туфли “Ти Джей”, которые он купил ей в Москве...» [там же: 216]) до **аксессуаров**: сумок, украшений, духов и пр. («въ... шляпкѣ отъ Бертранъ» [Микулич, Веселитская 1892: 24]; «продуманно причесанных и надушенных модными духами “Белая сирень”...» [Панова 1987: 238]; «Она... сунула в сумку от Живанши» [Вильмонт 2005: 212]; «...большую коробочку с надписью “Tiffany”». В коробочке лежало широкое кольцо, словно

сплетенное из плоских золотых ремешков...» [Берсенева 2010: 195].

2. Национальный компонент (принадлежность лейбла к определенной стране).

В начале XX столетия торговые марки были преимущественно иностранного производства, в частности французского: ... *платье, выписанное от m-me Lesserteur...* [Микулич, Веселитская 1892: 37]; *в запонках от Фаберже...* [Чарская 2011: 44]. Гофман отмечает: «...что касается моды, то в ней “чужое”, пространственно и культурно удаленное, зачастую ценностно-позитивно окрашено... Экзотическое происхождение модных стандартов и объектов иногда служит одним из источников их привлекательности» [Гофман 1994: 20]. В советское время, разумеется, отечественное производство вещей было главным приоритетом для людей, поэтому названия марок одежды были также русскими («Белая сирень», «Рабочая одежда»). Вместе с тем о лейблизации советской действительности как активном процессе говорить не приходится в силу политических и социальных причин. В настоящее время вновь возвращается тенденция приоритета заграничной моды и лейблов, преимущественно французского и английского производства: «...ее глянцевого из лакированной кожи ботинки “Доктор Мартенс”. Они купили их в Хельсинки, во дворе универмага “Stockman”» [Стогов 2006: 216]; «духи у тебя какие? ... Слушай, если хочешь, заезжай ко мне, дам подушиться, у меня французские, “Же Озе”» [Вильмонт 2004: 44].

3. Ценностная категория (какое место лейбл занимает в жизни человека).

Современная общественная ситуация породила условия, в которых красота и комфорт уступили место брендам, заполонившим мир моды. Именно поэтому данную характеристику мы рассматриваем исключительно на примерах современных текстов: «Гордо и красиво, оставив за собой шлейф из запаха Шанель...» [Веденская 2008: 184]; «И не в джинсах же Наф-Наф идти на конкурс...» [Берсенева 2010: 74]; «Алин гардероб не блистал разнообразием, зато все вещи были оригинальные. Вкус у нее был хороший... джинсы Наф-Наф...» [там же: 22]; «сегодня утром, для пушего удобства передвижений, она надела джинсы...; в приличный ресторан в таком наряде, конечно, не пойдешь. Но джинсы были хорошие – настоящие «ливайсы». Илья когда-то раз и навсегда объяснил ей, что джинсы можно носить только классические, без выкрутасов, и она до сих пор следовала этому совету...» [там же: 171]; «...я больше не ношу джинсы “Райфл”» [Стогов 2006: 338].

4. Материальный показатель (лейбл как денежный эквивалент).

Имя известного дизайнера – определенный критерий в выборе одежды обеспеченными слоями населения, и огромная переплата за ношение одежды (обуви, украшений и т. д.) известных торговых марок – факт действительности. По мнению А. Б. Гофмана, «...участие в моде служит одним из выражений принадлежности человека к определенному классу или социальному слою, т. е. его социального статуса...» [Гофман 1994: 111]. Причем такая связь между материальным достатком и лейблом прослеживается не только в наше время, но и, возможно, в меньших объемах, в начале столетия: «На плече черная сумка с блестящими молниями. В “Delsey”, напротив моего дома в Петербурге, такие сумки стоят \$350» [Стогов 2006: 284]; «И тут она появилась и села с ним рядом. Его обдало запахом дорогих духов. Кажется, это Сислей, «О де суар» – определил он. Ей идет» [Вильмонт 2005: 148]; «Рюкзак назывался “Jan Sport” и стоил кучу денег» [Стогов 2006: 4].

Лейбл представляет собой явление массовой культуры и может рассматриваться как ценностный ориентир социума, потому что так или иначе массовая культура является показателем вкусов и предпочтений подавляющего большинства представителей лингвокультуры. *Лейбл* находит свое отражение практически во всех сферах жизнедеятельности людей и задает некий ориентир в культурно-ценностном пространстве общества. Именно поэтому мы предлагаем рассматривать лейбл как культурный концепт, который соотносится, с одной стороны, с процессом мышления, а с другой стороны – с миром культуры. Более того, важность изучения данного концепта заключается в ассоциативных признаках, по которым можно определить главную концептуальную составляющую – ценностный аспект.

Список литературы

- Берсенева А. Полет над разлукой: Роман. М.: Эксмо, 2010. 448 с.
- Берсенева А. Стильная жизнь: Роман. М.: Эксмо, 2010. 480 с.
- Берсенева А. Нью-Йорк – Москва – Любовь: Роман. М.: Эксмо, 2012. 416 с.
- Веденская Т. Траектория птицы счастья: Сентиментальный роман. М.: Эксмо, 2008. 320 с.
- Вильмонт Е. Н. Нашла себе блондина! М.: АСТ, Астрель, 2004. 269 с.
- Вильмонт Е. Н. Бред сивого кобеля. М.: Олимп: Астрель: АСТ, 2005. 252 с.
- Гинзбург Е. Крутой маршрут. М.: Сов. писатель, 1990. 608 с.

Гофман А. Б. *Мода и люди: Новая теория моды и модного поведения*. М.: Наука, 1994. 160 с.

Караулов Ю. Н. *Русский язык и языковая личность*. Изд. 7-е. М.: ЛКИ, 2010. 264 с.

Лотман Ю. М. *Массовая литература как историко-культурная проблема // Избранные статьи: в 3 т. Таллинн: Александра, 1993. Т. 3. С. 380–389.*

Маслова В. А. *Когнитивная лингвистика: учеб. пособие*. Минск: ТетраСистемс, 2004. 256 с.

Микулич (Веселитская Л.) *Мимочка: 1. Мимочка-невеста. 2. Мимочка на водах*. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1892. 160 с.

Панова В. Ф. *Времена года. Сентиментальный роман. Который час: роман-сказка*. М.: Худож. лит., 1987. Т. 2. 608 с.

Постовалова В. И. *Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / под ред. Б. А. Серебренникова*. М.: Наука, 1988. С. 8–69.

Стогов И. *Таблоид. Учебник желтой журналистики*. СПб.: Амфора, 2005. 304 с.

Стогов И. *Мачо не плачут. Серия: Проект Ильи Стогова*. СПб.: Амфора, 2006. 400 с.

Токарев Г. В. *Концепт как объект лингвокультурологии (На материале репрезентаций концепта «труд» в русском языке)*. Волгоград: Перемена, 2003. 233 с.

Токарева В. С. *Маша и Феликс: повести и рассказы*. М.: АСТ, 2003. 380 с.

Чарская Л. *Первый день (Бэль)*. М.: Книга по Требованию, 2011. 26 с.

Чарская Л. *Вакханка*. М.: Книга по Требованию, 2011. 66 с.

Чарская Л. *Семья Лоранских. Не в деньгах счастье*. М.: Книга по Требованию, 2011. 72 с.

Чуковская Л. К. *Софья Петровна; Спуск под воду: повести*. СПб.: Азбука-классика, 2009. 251 с.

References

Berseneva A. *Polet nad razlukoy: Roman* [Flight over separation: Novel]. Moscow, Eksmo Publ., 2010. 448 p. (In Russ.)

Berseneva A. *Stil'naya zhizn': Roman* [The stylish life: Novel]. Moscow, Eksmo Publ., 2010. 480 p. (In Russ.)

Berseneva A. *N'yu-York – Moskva – Lyubov': Roman* [New York – Moscow – Love: Novel]. Moscow, Eksmo Publ., 2012. 416 p. (In Russ.)

Vedenskaya T. *Traektoriya ptitsy shchast'ya: Sentimental'nyy roman* [The trajectory of a bluebird of happiness: Sentimental novel]. Moscow, Eksmo Publ., 2008. 320 p. (In Russ.)

Vilmont E. N. *Nashla sebe blondina* [I found a blond for myself]. Moscow, AST, Astrel Publ., 2004. 269 p. (In Russ.)

Vilmont E. N. *Bred sivogo kobelya* [A load of dogfeathers]. Moscow, Olimp: Astrel: AST Publ., 2005. 252 p. (In Russ.)

Ginzburg E. *Krutoy marshrut* [Journey into the Whirlwind]. Moscow, Sovetskiy pisatel' Publ., 1990. 608 p. (In Russ.)

Gofman A. B. *Moda i lyudi: Novaya teoriya mody i modnogo povedeniya* [Fashion and people: New theory of fashion and fashionable behavior]. Moscow, Nauka Publ., 1994. 160 p. (In Russ.)

Karaulov Yu. N. *Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'* [Russian language and language personality]. 7th edition. Moscow, LKI Publ., 2010. 264 p. (In Russ.)

Lotman Yu. M. *Massovaya literatura kak istoriko-kul'turnaya problema* [Popular literature as a historical and cultural problem]. *Izbrannye stat'i: v 3 t.* [Selected articles: in 3 vols.]. Tallin, Aleksandra Publ., 1993, vol. 3, pp. 380–389. (In Russ.)

Maslova V. A. *Kognitivnaya lingvistika: Uchebnoe posobie* [Cognitive linguistics: Textbook]. Minsk, TetraSistems Publ., 2004. 256 p. (In Russ.)

Mikulich (Veselitskaya L.) *Mimochka: 1. Mimochka-nevesta. 2. Mimochka na vodakh* [Mimochka: 1. Mimochka-bride. 2. Mimochka on waters]. St. Petersburg, Publishing House of M. Merkushev, 1892. 160 p. (In Russ.)

Panova V. F. *Vremena goda. Sentimental'nyy roman. Kotoryy chas: roman-skazka* [Seasons. Sentimental novel. What time is it: fairy tale novel]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1987, vol. 2. 608 p. (In Russ.)

Postovalova V. I. *Kartina mira v zhiznedeyatel'nosti cheloveka* [The picture of the world and human activity]. *Rol' chelovecheskogo faktora v yazyke: Yazyk i kartina mira* [The role of a human factor in language: Language and picture of the world]. Ed. by B. A. Serebrennikov. Moscow, Nauka Publ., 1988, pp. 8–69. (In Russ.)

Stogov I. *Tabloid. Uchebnik zheltoy zhurnalistiki* [Tabloid. The textbook of yellow journalism]. St. Petersburg, Amfora Publ., 2005. 304 p. (In Russ.)

Stogov I. *Macho ne plachut. Seriya: Proekt Il'i Stogova* [Machos don't cry. Series: Ilya Stogov's project]. St. Petersburg, Amfora Publ., 2006. 400 p. (In Russ.)

Tokarev G. V. *Kontsept kak ob'ekt lingvokul'turologii (Na materiale reprezentatsii kontsepta 'trud' v russkom yazyke): Monografiya* [Concept as an object of linguocultural science (based on the material

of representations of the concept 'labor' In Russian): Monograph]. Volgograd, Peremena Publ., 2003. 233 p. (In Russ.)

Tokareva V. S. *Masha i Feliks: povesti i rasskazy* [Masha and Felix: stories and novels]. Moscow, AST Publ., 2003. 380 p. (In Russ.)

Charskaya L. *Pervyy den' (Byl')* [The first day (True story)]. Moscow, Kniga po Trebovaniyu Publ., 2011. 26 p. (In Russ.)

Charskaya L. *Vakhanka* [Bacchante]. Moscow, Kniga po Trebovaniyu Publ., 2011. 66 p. (In Russ.)

Charskaya L. *Sem'ya Loranskih. Ne v den'gakh schast'e* [The Loransky family. Money is not happiness]. Moscow, Kniga po Trebovaniyu Publ., 2011. 72 p. (In Russ.)

Chukovskaya L. K. *Sof'ya Petrovna* [Sofya Petrovna]. Moscow, Azbuka-klassika Publ., 2009, pp. 5–108. (In Russ.)

THE CONCEPT 'LABEL' IN THE STRUCTURE OF THE CONCEPTOSPHERE 'FASHION' OF THE POPULAR 20th CENTURY LITERATURE

Liliya T. Yagafarova

Associate Professor in the Department of Philology

University of Management 'TISBI'

13, Mushtari st., Kazan, 420012, Russian Federation. Yagafarovaliliya06@mail.ru

SPIN-code: 6050-2318

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0130-9451>

ResearcherID: B-8960-2018

Submitted 28.03.2019

This article explores the concept *label* considered within the framework of the conceptual sphere *Fashion* in national popular literature of the 20th century. The problem of labeling reality is particularly relevant in our days since all of us live under some label. Despite the modern nature of the problem, the concept *label* was mentioned even in the novels of pre-revolutionary authors (L. Veselitskaya, L. Charskaya). The study refers to the Soviet epoch, which is certainly not due to the abundance of brands or their priority for the Soviet people. The Soviet period is of interest since it is an intermediate link between partial (pre-revolutionary period) and total (modern period) labeling of all life spheres. Therefore, among others the study includes works of Soviet authors (V. Tokareva, L. Chukovskaya, etc.). Works of modern novelists (A. Berseneva, I. Stogov, E. Vil'mont, T. Vedenskaya), being the reflection of people's minds, provide good material to research culturally relevant concepts such as *label*, *fashion*, etc. Modern novels are full of famous brand labels, which once again proves the importance of the concept under consideration not only in the conceptual sphere of fashion, but also in linguoculture as a whole. The conceptual analysis through verbalization allowed us not only to discover that the contextual field of the concept is presented by the lexemes reflecting such expensive fashion trademarks as 'Jan Sport', 'Delsey', 'Armani', 'Boss', 'Donna Karan', 'Rifle', 'Dr. Martens', but also to determine its value markers (distribution sphere, material marker, social significance) by contextual and describing methods. The statistics analysis, providing information in numbers, proved cultural relevance of the concept in the national linguistic culture.

Key words: label; fashion; concept; popular literature; culture; conceptual sphere; core; periphery.

ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ

УДК 821.161.1: 821.111
doi 10.17072/2073-6681-2019-3-86-95

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОСПРИЯТИЯ ТВОРЧЕСТВА БЕНДЖАМИНА ДИЗРАЭЛИ В РОССИИ 1840–1915 гг.: К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА

Юлия Петровна Ажель

старший преподаватель Отделения иностранных языков

Школы базовой инженерной подготовки

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

634050, Россия, г. Томск, просп. Ленина, 30. azhei@tpu.ru

SPIN-код: 7878-7838

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0062-5743>

ResearcherID: D-5979-2019

Статья поступила в редакцию 25.04.2019

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Ажель Ю. П. Основные этапы восприятия творчества Бенджамин Дизраэли в России 1840–1915 гг.: к постановке вопроса // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 86–95. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-86-95

Please cite this article in English as:

Azhel Yu. P. Osnovnye etapy vospriyatiya tvorchestva Bendzhamina Dizraeli v Rossii 1840–1915 gg.: k postanovke voprosa [Main Periods in the Reception of Benjamin Disraeli's Fiction in Russia, 1840–1915: Problem Statement]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 3, pp. 86–95. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-86-95 (In Russ.)

Предпринята попытка воссоздать целостную, по возможности, картину восприятия творчества английского романиста и блестящего политика Бенджамин Дизраэли в России 1840–1915 гг. на материале журнальной и литературной критики. Рассмотрены обстоятельства обращения к творчеству писателя в контексте созвучия поэтики его произведений событиям общественной и литературной жизни России в указанный период и обозначены три основных временных отрезка русской рецепции сочинений Дизраэли на основе выявления спадов и подъемов литературно-критического и переводческого интереса к его творчеству в России.

Имя Бенджамин Дизраэли не столь хорошо известно русской аудитории, как имена его современников, причисленных к «блестящей плеяде» английских романистов, – Ч. Диккенса и У. Теккерея. Тем не менее его произведения, затрагивающие существенные стороны общественной жизни, были востребованы читателями и критиками в России 1840–1915 гг. и зачастую еще до перевода на русский язык читались в подлиннике и обсуждались в русской периодике, что свидетельствует об устойчивом интересе к творчеству этого английского писателя.

В российском литературоведении романное творчество Бенджамин Дизраэли практически не изучалось. Рассмотрению его отдельных произведений посвящены исследования таких авторитетных ученых, как Г. А. Анджапаридзе, Б. М. Проскурнин, Е. В. Ермакова, В. В. Ивашева, И. А. Матвеевко, при этом вопрос критическо-переводческой рецепции творчества Дизраэли в России до сих пор не был осмыслен ни отечественным, ни зарубежным литературоведением.

Анализ литературно-критической рецепции показал, что отношение к произведениям английского писателя в различные исторические периоды менялось в зависимости от общих процессов, протекающих в русской литературе XIX – начала XX в., идеологических взглядов русского общества, а также политической деятельности Бенджамин Дизраэли на международной арене. Социальная про-

блематика произведений английского романиста являлась сферой первостепенного интереса отечественных критиков 1840–1915 гг. Романы викторианского писателя оценивались через призму актуальных вопросов российской общественной жизни: социального расслоения и критики привилегированных сословий, роли религии и церкви, проблем становления нового «героя времени».

Ключевые слова: английская литература; рецепция; Бенджамин Дизраэли; критические отзывы; периодические издания; творчество; политик; еврей; «фешенебельные» романы; политические романы.

Рецепция романистики Бенджамина Дизраэли (1804–1881), известного также как граф Биконсфильд, в России является одной из наиболее ярких страниц в истории русско-английских литературных связей. Личность Дизраэли и его полная парадоксов политическая карьера всегда вызывали интерес международного научного сообщества. Сын известного литератора, еврей по происхождению, остававшийся в глазах англичан представителем презираемого меньшинства, Бенджамин Дизраэли сумел достичь вершины британского политического олимпа, дважды занимал пост премьер-министра Великобритании, получил звание пэра и стал восприниматься позднее как символ викторианской эпохи [Ермакова 2016: 6]. Однако прежде он прославился как литератор, чьи произведения, созвучные общественным процессам и вкусам читательской аудитории, занимали видное место в литературе викторианской Англии и Европы. Привлекательность романов английского писателя как для литературоведов, так и для историков заключалась прежде всего в возможности «заглянуть в психологию подобной личности», «с помощью романиста и оратора Бенджамина Дизраэли изучить государственного человека, лорда Биконсфильда и пролить свет на проводимую им политику» [Брандес 1878: 4–5].

О Дизраэли как о мастере политической интриги и как о романисте написано немало работ, как правило, биографических, но его имя редко упоминается в контексте анализа литературного творчества. Это связано в большей степени с бытовавшей долгое время оценкой Дизраэли как писателя-беллетриста, апологета викторианства, и отождествлением его романистики с лицемерием и социальными «уродствами» Англии XIX в. [Ермакова 2016: 7].

В российском литературоведении романное творчество Бенджамина Дизраэли также практически не изучалось. Освещению отдельных аспектов творчества Бенджамина Дизраэли посвящены исследования таких авторитетных ученых, как А. Г. Аносова, Г. А. Анджапаридзе, Б. М. Проскурнин, Е. В. Ермакова, В. В. Ивашева, Е. И. Клименко, И. А. Матвеевко, Ф. И. Мороз. При этом вопрос критическо-переводческой

рецепции творчества английского писателя Бенджамина Дизраэли в России в 1840–1915 гг., важный как с точки зрения истории русской литературы, так и в плане истории русско-английских литературных связей, до сих пор не был осмыслен ни отечественным, ни зарубежным литературоведением. Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена проблематикой рецептивной эстетики, сравнительного литературоведения, переводоведения, вопросами диалога культур.

Предлагаемая статья посвящена осмыслению и хронологической периодизации процесса критико-переводческой рецепции творчества английского писателя Бенджамина Дизраэли в России в период 1840–1915 гг., когда наряду с переводами и переизданиями его произведений, появилось большое количество критических отзывов на страницах журналов и газет разных идейных направлений. Безусловно, подобная популяризация творчества английского романиста сыграла определенную роль в развитии жанра романа воспитания, становлении социально-политического романа в России и в формировании такого явления, как массовая литература. Всплески и падения интереса к творчеству английского писателя можно объяснить, применив концепцию Г. Р. Яусса, который утверждал, что «новый текст пробуждает в читателе горизонт ожиданий и правил, знакомых по более ранним текстам, которые варьируются, корректируются, изменяются или просто воспроизводятся» [Яусс 2004: 195]. Именно таким горизонтом ожиданий можно объяснить обращение русских критиков и переводчиков к текстам Дизраэли, их переиздание и повторный перевод на разных этапах литературного развития. Русские читатели по-разному интерпретировали как произведения английского автора, так и его личность, т. к. «истолкование текста в процессе рецепции всегда предполагает некий контекст опыта эстетического восприятия» [там же].

Романное наследие писателя Бенджамина Дизраэли заслуживает самого пристального изучения, в первую очередь, потому что его творчество является уникальным примером взаимопроникновения политики и литературы [Ермакова 2016: 8].

Несмотря на то что писатель не относится к «блестящей плеяде английских романистов», он является ярким представителем жанра «фешенебельного» романа и одним из основоположников политического романа в мировой литературе [Ивашева 1974: 124]. Более того, автор монографии «Художественный мир романов Бенджамина Дизраэли» Е.В. Ермакова говорит о писателе как о «создателе новой разновидности жанра, которую можно назвать PR-романом, или романом политехнологий» [Ермакова 2016: 9].

Политические романы Дизраэли – это произведения, раскрывающие новые идеи при помощи романной коллизии вхождения в жизнь, которая одновременно становится способом художественной политизации героя в рамках определенной программы в соответствии с большими историческими, социальными, политическими или духовными темами [Проскурнин 2000: 13].

Как и любая другая жанровая модификация, политический роман редко встречается в чистом виде. Одной из магистральных проблем политических романов Дизраэли является проблема становления лидера нового типа, а сквозной темой всего творчества выступает тема молодого поколения. Таким образом, основой жанровой структуры произведений Дизраэли является модель романа воспитания, в каждом индивидуальном случае «обрастающая» новыми вариациями и структурными особенностями. В своих романах английский писатель органично сочетает жанровые элементы воспитательного, «фешенебельного», любовного романов и историко-политического трактата.

Критико-переводческая рецепция произведений Дизраэли в России начинается в 1840-е гг. и продолжается вплоть до 1915 г. Именно этот период времени отмечен наибольшим интересом со стороны отечественных критиков и читателей к Дизраэли-писателю. Характерно, что сложность политической ситуации англо-русских отношений второй половины XIX в. (Крымская война, Берлинский конгресс) лишь подогревает интерес к личности Дизраэли и, как следствие, к его произведениям.

В период с 1840–1915 гг. были переведены на русский язык пять романов Дизраэли: «Генриетта Темпл» (1859, 1867), «Лотар» (1870), «Танкред» (1878), «Эндимион» (1880, 1881) и «Алрой» (1912, 1915), некоторые из них переводились и переиздавались неоднократно, что свидетельствует об устойчивом интересе к творчеству романиста. При этом в перечень переведенных на русский язык произведений не вошли первые романы «младоянглийской» трилогии:

«Конингсби» и «Сибилла», отличающиеся явным акцентированием социальных противоречий, что, в принципе, неудивительно, если принять во внимание то обстоятельство, что царская цензура того времени старалась пресекать публикацию произведений на политические темы. Тем не менее романы писателя еще до перевода на русский язык читались в подлиннике и активно обсуждались на страницах русской периодики. Многочисленные критические статьи, как правило, включали в себя пересказы и обзоры знаменитых политических романов Дизраэли. Они не касались их художественного своеобразия, но способствовали ознакомлению с общим содержанием, что свидетельствовало о том, что «русская общественная мысль искала в зарубежной литературе, в том числе и английской, идеалы социального, политического, нравственного мироустройства» [Проскурнин 2015: 38].

В целом, освоение творчества Бенджамина Дизраэли русской литературой и критикой можно описать как сложный неравномерный процесс, характеризующийся ситуативным интересом к отдельным произведениям определенной тематики и идейной направленности, обусловленным прежде всего внешними обстоятельствами. В данном контексте специфика рецепции романистики Дизраэли, в отличие от таковой других английских писателей, состоит в том, что его литературное творчество тесно переплеталось с его политической деятельностью, переводя процесс восприятия в другие аксиологические парадигмы – политическую, конфессиональную, национальную и т. д., причем ракурс рассмотрения зависел от этапа исторического и литературного процесса в России.

В общем процессе критико-переводческой рецепции романистики Дизраэли в России можно выделить три основных периода. Первый охватывает 1840–1850-е гг. XIX в., когда в отечественной публицистике прослеживается тенденция знакомить массового читателя с переводной литературой, в том числе английской [Миронова 2018: 127].

Первым журналом, обратившим внимание на творчество английского писателя и развернувшим на своих страницах процесс глубокого осмысления «феномена Дизраэли» в России, стал ведущий литературно-демократический журнал XIX в. «Отечественные записки». Сороковые годы, когда руководство критико-библиографическим отделом журнала осуществлял В. Г. Белинский, принесли журналу заслуженную известность и уважение читающей России. Основой литературно-эстетических позиций «Отече-

ственных записок» того времени было утверждение подлинно реалистического, истинно народного, глубоко прогрессивного по своему идейному содержанию искусства [Западов 1973].

Внимание критиков привлекли в первую очередь «младоанглийские» романы «Коннингсби» и «Сивилла». Являясь одними из первых политических романов, они стали сенсацией в Англии, поэтому отечественная критика не могла обойти их своим вниманием. Рецензии на эти произведения появились на страницах «Отечественных записок» в 1845 г. с разницей в несколько месяцев и были написаны, судя по стилю и схожим подходам к оцениванию творчества писателя, одним автором.

В критической статье «Коннингсби, или Новое поколение» рецензент дает подробное описание политической обстановки современной Англии и определяет основной конфликт произведения, характеризуя его как «борьбу старого с новым». В следующей статье «Сивилла, или Две Нации» обозреватель делает акцент на преемственности произведений, поясняя, что если «роман “Коннингсби” имел целью обратить общее внимание на происхождение и организацию политических партий в Англии», то в «Сивилле», посвященной в большей степени социальной проблематике, Дизраэли «показывает плоды этой организации, взаимное отношение и положение двух классов народа: бедных и богатых», называемых автором «двумя нациями» [Отечественные записки 1845: 1]. В обоих случаях критик отказывается сочинениям Дизраэли в художественности, считая форму романа несовместимой с авторской программой и политической основой произведений: «Ошибочность же романа Дизраэли, как романа, заключается в том, что значение его совершенно частное, исключительное», «роман напоминает скорее политический трактат, адресованный молодому поколению» [там же: 2]. Тем не менее критик не умаляет идеологической значимости и просветительского потенциала романов и «...готов пристать к мнению тех, которые в стремлении автора видят добросовестное желание улучшить то, что он <Дизраэли. – Ю. А.> считает дурным». Кроме того, рецензенту импонируют реализм изображаемых событий и актуальность поднятых в произведении проблем: «Истинное достоинство его не в запутанности интриги, а в искренности изображенных сцен», «характеры очерчены резко и взяты из действительной жизни», а также разоблачительные картины современного ему общества, проблемы которого «...не чужды духу и русского общества». Новаторством писателя в романе «Сивилла» автор ста-

ты называет особенности изображения рабочего класса: «Из всех сочинений, где выведен на сцену трудящийся класс Англии, этот роман более всего достоин внимания по ясности и верности его очерков» [там же: 3].

В целом, находя конфликт и идеологию романов специфически национальными, критик «Отечественных записок» дает произведениям Дизраэли положительную оценку и считает их полезными в плане изучения истории и политического строя Великобритании, что весьма показательно с точки зрения потребностей литературного процесса [там же: 1–2, 1–3].

Следующее обращение к творчеству Дизраэли происходит в 1847 г., когда на страницах «Отечественных записок» появляются рецензии критика В. В. Стасова на последний роман трилогии «Танкред, или Новый крестовый поход» и психологический роман Дизраэли «Контарини Флеминг». Являясь последователем В. Г. Белинского и А. И. Герцена, Стасов полагает, что любое произведение должно быть глубоким по содержанию и лишенным какого-либо надуманного эстетизма. Для критика важна глубина содержания и идейный смысл произведения, поэтому в романе «Контарини Флеминг» он не примет ни выбора сюжета романа Дизраэли, ни изображения поэта в качестве главного героя: «Главный недостаток – выбор сюжета. Дизраэли взял себе темой жизнь поэта, развитие поэтического характера», что, по мнению критика, противоречит принципам создания реалистического произведения и свидетельствует о неспособности писателя отражать значимые проблемы [Стасов 1847: 43–47].

Жанр романа «Танкред» Стасов определяет как «роман из большого света, да еще и политический». Если за романами «Коннингсби» и «Сивилла», сочинениями «политическими, чрезвычайно важными по заключенным в них вопросам из современной жизни», Стасов признает определенную идеологическую значимость, то заключительный роман трилогии он приравнивает к массовой литературе, полагая, что это «сильнейшая приманка для английской публики, которую Дизраэли хорошо знает», он «не дает дремать стотрубной о себе молве» и «не ленится, несмотря на парламентские занятия, посылать роман за романом» [там же: 1–18].

В целом, ироничный тон статьи свидетельствует о неприятии Стасовым как представителя беллетристики Дизраэли, так и низкопробной английской литературы в целом. По мнению критика, в романах английского писателя «никогда нет настоящего содержания», так как его истории не похожи на действительность, а потому

не имеют связи с жизнью. Критик обвиняет Дизраэли в неактуальности и слабой выраженности поднятой проблематики, считая истину его романов «погребенной под художественностью и социальностью». Кроме того, рецензент отмечает назидательность и дидактичность произведений Дизраэли, а пропаганду иудаизма в романах английского писателя Стасов сравнивает с популярным на тот момент в России идеологическим течением – славянофильством [Матвеевко, Хрулева: 2019–94].

Об оценке творчества Дизраэли в России как массовой литературы свидетельствует также появление сокращенного анонимного перевода любовного романа «Генриетта Темплъ» в 1859 г. на страницах журнала «Библиотека для чтения». Ориентация журнала на массового читателя объясняет выбор для перевода любовной истории, и значительное сокращение романа для создания более живого повествования, и концентрацию читательского интереса на любовной сюжетной линии. С полным переводом романа читатель имеет возможность ознакомиться лишь в 1867 г. на страницах журнала «Переводы отдельных романов» типографии Н. С. Львова, спустя 30 лет после выхода оригинала.

Подводя итог первому периоду рецепции творчества английского писателя, необходимо подчеркнуть относительную объективность критических оценок, на которые не оказывает влияния предубеждение рецензентов относительно еврейского происхождения Дизраэли или его международной политической деятельности. Отечественная критика пытается объяснить причины популярности писателя в Англии, сосредотачиваясь на осмыслении его произведений в рамках массовой литературы. Художественная политизация романов Дизраэли на данном этапе не воспринимается отечественными обозревателями, возможно, ввиду несформированности жанра политического романа в России в 1840-е гг.

На первый план выдвигается рассмотрение критиками исключительно художественных достоинств и недостатков романов Дизраэли, их социальной подоплеку и историзма. Несмотря на несовпадение идеологической концепции произведений романиста с идейно-эстетическими взглядами русской литературной критики этого периода, интерес к романам английского писателя достаточно высок.

В 1860-е гг. интерес русских критиков к творчеству английского писателя практически угасает, что связано с затишьем на литературном поприще Дизраэли. Он вплотную занимается поли-

тической карьерой и в 1868 г. становится главой консервативного правительства.

Масштабные изменения, произошедшие в политической карьере писателя, и выход нового романа «Лотар» в 1870 г. способствуют новому витку интереса к творчеству романиста. Второй период рецепции приходится на 1870–1881 гг. и является наиболее репрезентативным и содержательным с точки зрения восприятия личности и творчества английского писателя русским обществом в целом. Данный этап характеризуется наибольшей популярностью Дизраэли, когда он осмысливается не только как писатель, но и как политик, причем писатель и политический деятель в оценках русских обозревателей до такой степени сливаются, что их трудно разделить. На протяжении всего десятилетия наблюдается падение литературной репутации Дизраэли на фоне его резонансной политической деятельности при неизменно высоком интересе к его персоне со стороны отечественной критики, о чем свидетельствуют многочисленные критические отзывы на страницах русских журналов и газет и переводы трех его романов.

Начиная с 1870-х гг., на творчество и личность Бенджамина Дизраэли обращают внимание такие ведущие периодические издания, как «Кругозор», «Современник», «Русский вестник», «Вестник Европы» и другие, и дело здесь не столько в природе таланта писателя, сколько в его политической деятельности. Головокружительная карьера Дизраэли, немислимая для сына еврейских беженцев в Англии, и обострившиеся после Крымской войны англо-русские противоречия способствуют формированию предвзятого отношения в оценках Дизраэли-политика и, как следствие, Дизраэли-писателя русскими критиками. Анализируя его политические и литературные достижения, отечественные рецензенты часто размышляют по поводу нравственных принципов английского писателя, нередко отождествляя Дизраэли с героем его первого романа, Вивианом Греем, «талантливым и бесцеремонным искателем власти», «пролагающим себе с презрением и насмешкой над всяким идеальным направлением путь в свет, чтобы добраться до славы и отличий» [УГ-МОВ 1877: 1–51].

Показательной с точки зрения русской рецепции творчества Дизраэли в России в этот период является критическая статья, опубликованная в журнале «Вестник Европы» за 1870 г., в которой автор, публицист Л. А. Полонский, известный своими либеральными взглядами, рассматривает писателя в большом контексте его литературной и политической деятельности. Он обвиняет

Дизраэли в беспринципности и неискренности, называет писателя «человеком случая», который «в свои роли радикала и консерватора только “вдумался”», как «вдумался он в какое-то обожаемое еврейства, совершенно чуждого его воспитанию, хотя не по рождению». Автор статьи приходит к выводу, что Дизраэли – человек необыкновенно талантливый и его «блестящие» произведения немало поспособствовали его политическому успеху, но «таланта в нем больше, чем “какого-либо убеждения”. А новые поколения не хотят доверять тому, в ком не предполагают искренности убеждения» [Полонский 1870: 319–360].

Позиция Дизраэли в «восточном вопросе», идущая вразрез с интересами России, способствует формированию непривлекательного имиджа политика и писателя, что незамедлительно отражается в оценках отечественных критиков: «... неудивительно, что русская публика со времени возбуждения “восточного вопроса” относилась к лорду Биконсфильду с какой-то смутной, бессознательной ненавистью, видя в нем только врага славянства и часто перенося свою ненависть от министра ко всему английскому народу. <...> Эта неясность понятий отразилась на многих органах нашей печати» [Тимиразев 1876: 102–128].

Размышляя о проблемах своей страны, русская общественная мысль все чаще обращается к зарубежной литературе, но отечественные критики не рассматривают творчество писателя всерьез, используя его произведения, по большому счету, только как автобиографический материал, содержащий разгадку «феномена Дизраэли» [Проскурнин 2015: 36]. При этом, несмотря на неприятие личности Дизраэли и проводимую им политику, интерес к его произведениям не падает, о чем свидетельствуют появление новых критических отзывов и перевод романа «Лотар», опубликованный в приложении к литературно-политическому журналу «Заря» под названием «Римские происки» в год выхода оригинала в Англии.

Блистательная речь Дизраэли на Берлинском конгрессе в 1878 г., которая, по мнению историков, в корне изменила план передела территорий в пользу Турции и вынудила Россию принять невыгодный для нее исход, заставляет отечественную критику в очередной раз обратить внимание «как на личность этого министра-еврея, бывшего литератора и несомненного плебея по происхождению, так и на его давно забытые политические романы» [Павлов 1878: 335–357]. В частности, воинственная политика Англии на Востоке заставляет всю читающую Ев-

ропу «заглянуть в роман “Танкред”, ранее не переведившийся на иностранные языки» [Поповский 1878: 431]. Сюжетообразующей основой данного романа является слияние Востока и Запада в попытке создать новое мировоззрение и новую религию, синтезирующую лучшие традиции иудаизма и христианства [Ермакова 2010: 146]. Анонимный перевод данного романа появляется в приложении к газете «Неделя» в 1878 г.

Основной интерес критиков после 1878 г. связан с общественной и политической жизнью писателя. Как правило, статьи, размещенные на страницах отечественной периодики, носят обзорный биографический характер, акцентируя внимание читателей на ошеломительной карьере Дизраэли и лишь вскользь упоминая, что «прежде чем сделаться министром, Дизраэли был литератором» [Павлов 1878: 335]. При этом выдержки из наиболее крупных произведений Дизраэли публикуют в газетах прежде всего в поисках «указаний на политические убеждения автора», пытаясь подметить «образ мыслей, стремления и наклонности государственного деятеля в его излияниях» [Чуйко 1878: 166–167].

Характер восприятия Дизраэли в русских литературных кругах и среди читающей публики становится очевиден на примере критической статьи Поповского (Н. С. Кутейникова), опубликованной в журнале «Отечественные записки» в 1878 г. Обозреватель характеризует Дизраэли как «шута, иногда очень неловкого и несвоевременного, который то и дело менял свои убеждения, смотря по обстоятельствам» [Отечественные записки 1878: 431–471]. Романами писателя критик дает низкую оценку, обвиняя романиста в отсутствии четкого идеологического обоснования исторических событий в его произведениях, приверженности иудаизму и лицемерном отношении к народу Англии. Поповский дополняет непривлекательный портрет английского политика и писателя, созданный другими рецензентами, рассуждая о политических взглядах Дизраэли: «он <Дизраэли. – Ю. А.> отличается особенною страстностью и систематичностью в антагонизме к России...». Тем не менее Поповский не отказывает Дизраэли в литературном таланте, особенно в изображении народных масс, что перекликается с оценкой Стасова, данной еще в 1840-е гг. Новаторством писателя критик называет «восточное» направление мысли Дизраэли, в полной мере проявившееся в романе «Ганкред» [там же].

В целом, анализ литературно-критических отзывов данного периода свидетельствует о том, что одной из основных причин, обусловивших негативную оценку творчества английского ро-

маниста, является его политическая деятельность, идущая вразрез с интересами России. Налицо попытка критиков объяснить деятельность Дизраэли в контексте его национальной принадлежности и трактовать творчество английского романиста как отражение его идеологических и политических взглядов.

Пик интереса к творчеству Дизраэли в России можно отнести к 1880–1881 гг. Последний законченный роман писателя «Эндимион», вышедший в Англии в 1880 г., был дважды переведен и трижды переиздан в России спустя всего год после появления романа на родине, что свидетельствует об интересе отечественной критики к позднему творчеству Дизраэли.

Смерть английского писателя в 1881 г. повлекла за собой ряд новых публикаций на страницах отечественных журналов и газет. Оценки Дизраэли-писателя в них даны авторами разных идейных направлений, но их точки зрения на творчество писателя во многом совпадают. Успех произведений Дизраэли в Англии критики видят в их политическом характере, умении писателя отвечать на запросы времени и использовании реальных прототипов, привлекательных для массового читателя 1880-х гг. Анализируя произведения английского писателя, многие рецензенты приходят к заключению, что «произведения Дизраэли в художественном отношении нередко оказывались слабыми» и «по свойству своего таланта английский писатель не принадлежит к художникам»: те из его романов, содержание которых чуждо политике, не обращали на себя большого внимания. Напротив, «тенденциозные романы всегда возбуждали в Англии сенсацию» [Dr. H. 1881: 1–14].

После смерти писателя наблюдается резкое снижение интереса к его творчеству, что во многом обусловлено чрезмерной дидактичностью, слабой характерологией и узко национальными проблемами его романов, неактуальными для русского читателя.

Спустя год после смерти писателя, в 1882 г., в России принимаются репрессивные Майские законы, которые приводят к массовой эмиграции евреев, выводят еврейский вопрос на центральное место в политической повестке дня и вызывают антисемитские выступления [Кириш 2016: 173]. Антиеврейские законы, принятые императором Александром III и культивируемые его сыном Николаем II, не ослабевают вплоть до 1904 г. В контексте борьбы с антисемитизмом в России произведения Дизраэли, выражающие мысль о еврейском могуществе, приобретают новую трактовку. Тенденция к восприятию твор-

чества английского писателя через призму «еврейского вопроса» относится к 1900–1915 гг., которые можно обозначить как третий этап осмысления романистики Дизраэли.

Тема избранного Богом народа, проходящая сквозь творчество Дизраэли красной нитью наряду с политической составляющей, перестает на данном этапе рецепции вызывать насмешку со стороны критиков. Более того, некоторые рецензенты посредством метафорических романов писателя пытаются увидеть политическое будущее, в котором будут преодолены все расовые, социальные и религиозные предрассудки [Дизраэли и Киплинг 1901: 2]. Подобные рассуждения находят свое отражение на страницах таких журналов, как «Еврейский ум» и «Мир Божий».

На страницах журнала «Будущность» в 1900 г. критик Б. Топоровский рассматривает женские образы в романе Дизраэли «Танкред». Всех героинь рецензент вслед за Дизраэли относит либо к «прелестным, обворожительным, богатым, но ничтожным и пустым в нравственном и духовном отношении» английским аристократкам, либо к «нищим, презираемым, но одаренным необыкновенною духовной мощью» еврейкам, усматривая, таким образом, даже за характеристиками женских типов несколько искаженное представление писателя о превосходстве еврейской расы [Топоровский 1900: 1059–1061].

В 1908 г. появляется перевод первого большого труда «Литературные характеристики», посвященного Бенджамину Дизраэли, автором которого выступил датский литературовед Георг Брандес. Являясь евреем по национальности, автор во многом анализирует творчество и политическую деятельность английского писателя через призму его происхождения.

Логическим завершением третьего периода рецепции становится двукратное издание перевода исторического романа «Давид Альрой», посвященного еврейской теме, в журнале «Juventus» в 1912 г. и журнале «Колосья» в 1915 г.

Таким образом, обзор истории рецепции творчества Дизраэли и ее периодизация позволяют проследить взлеты и падения литературно-критического интереса к Дизраэли-писателю в России на протяжении долгого периода времени. В русском литературном процессе можно выделить три пика интереса к произведениям английского писателя, причем каждый из этих периодов отличается своеобразием и определяется потребностями русского литературного процесса и социальными процессами, происходящими в России. Если в 1840–50-х гг. обращение русской критики к произведениям Дизраэли продиктова-

но в большей степени потребностями отечественной словесности, выраженными в необходимости заполнения лакун в русском литературном процессе, становления реализма и социально-политического романа, то в 1870–1880-х наблюдается падение литературной репутации Дизраэли на фоне его политической деятельности, направленной против интересов России. Его произведения как таковые не подвергаются осмыслению в жанровом или сюжетном аспекте, а трактуются как автобиографические документы, позволяющие спрогнозировать действия «еврея-министра». На третьем этапе доминирует новое, «еврейское» прочтение романов писателя, призванное внушить современникам мысль о национальном могуществе еврейского народа, имеющего право на национально-культурное самоопределение в составе русского государства.

Список литературы

- Брандес Г.* Литературные характеристики. (Английские писатели). Лорд Биконсфильд. СПб.: Просвещение, 1908. 402 с.
- Дизраэли* и Киплинг // Русские ведомости. 1901. № 115 (28 апр). С. 2.
- Ермакова Е. В.* Художественный мир романов Бенджамина Дизраэли. Пермь: Изд. центр Перм. гос. нац. исслед. ун-та, 2016. 248 с.
- Западов А. В.* История русской журналистики XVIII–XIX веков / под ред. А. В. Западова М.: Высш. шк., 1973. URL: <http://www.bsru.ru/content/page/1415/hec/ff/zapadov.pdf> (дата обращения: 23.01.2019).
- Ивашева В. В.* Английский реалистический роман XIX века в его современном звучании. М.: Худож. лит., 1974. 464 с.
- Кириш А.* Бенджамин Дизраэли / пер. с англ. В. Генкина. М.: Книжники, 2016. 314 с.
- Коннигсби*, или новое поколение, роман Дизраэли // Отечественные записки. 1845. Т. 39, отд. 7. С. 1–11.
- Матвеев И. А., Хрулева О. С.* Восприятие творчества Б. Дизраэли Журналом «Отечественные записки» в 1840–70-е гг. в контексте еврейского вопроса в России // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 33. С. 92–97.
- Миронова В. Е.* Поэтика русских переводов детективного рассказа “The adventure of the speckled band” А. К. Дойла // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 1. С. 125–133.
- Павлов И.* Лорд Биконсфильд как литератор // Русский вестник. 1878. Т. 137 (сент). С. 335–357.
- Полонский Л. А.* Иезуиты в современной Англии // Вестник Европы. 1870. Кн. 9. С. 319–360.
- Поповский Н. (Кутейников Н. С.)* Политические идеалы Дизраэли-Биконсфильда // Отечественные записки. 1878. № 9. С. 201–244. № 10. С. 431–471.
- Проскурнин Б. М.* Английский политический роман XIX века: очерки генезиса и эволюция. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2000. 286 с.
- Проскурнин Б. М.* Диалог русской и английской культур: об одном аспекте рецепции творчества Энтони Троллопа в России // Мировая литература в контексте культуры. 2015. Вып. 4(10). С. 29–40.
- Стасов В. В.* Танкред, или новый крестовый поход. Сочинения Б. Дизраэли // Стасов В. В. Собр. соч.: в 3 т. СПб., 1894. Т. 3. С. 847–867.
- Стасов В. В.* Disraeli B. Contarini Fleming. L., 1846. 4 vls; Bulwer-Lytton E. G. The New Timon. L., 1846 // Отечественные записки. 1847. Т. 50, № 2, отд. 7. С. 43–48.
- Тимирязев В. А.* Вениамин Дизраэли, лорд Биконсфильд // Дело. 1876. № 12. С. 102–128.
- УГ-МОВ П.* Продукт политики XIX века: [О Дизраэли] // Дело. 1877. № 12 (отд. 2). С. 1–51.
- Яусс Г. Р.* История литературы как вызов теории литературы // Современная литературная теория. Антология / И. В. Кабанова (сост.). М.: Флинта, Наука, 2004. С. 194–200.
- Blake R.* Disraeli: St. Martin's Press. N. Y.: Fourth Printing, 1967. 819 p.
- Dr. H.* Новый роман графа Биконсфильда: [“Endymion”] // Русское богатство. 1881. № 1 (отд. 2). С. 1–14.
- Wheeler M.* English Fiction of the Victorian Period: 1830–1890. 2nd ed. N. Y.: Longman, 1998. 292 p.

References

- Brandes G. *Literaturnye kharakteristiki: (Ang. pisateli): Lord Bikonsfil'd* [Literary characteristics: (Eng. writers): Lord Beaconsfield]. St. Petersburg, Prosveshchenie Publ., 1908. 402 p. (In Russ.)
- Ermakova E. V. *Khudozhestvennyy mir romanov Bendzhamina Dizraeli: Monografiya* [The artistic world of the novels by Benjamin Disraeli: Monograph]. Perm, Perm State University Press, 2016. 248 p. (In Russ.)
- Dizraeli i Kipling [Disraeli and Kipling]. *Russkie vedomosti*. [Russian Gazette], 1901, issue 115 (28 Apr.), p. 2. (In Russ.)
- Zapadov A.V. *Istoriya russkoy zhurnalistiki 18–19 vekov* [The history of Russian journalism of the 18th–19th centuries]. Ed. by A. V. Zapadov. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1973. Available at:

<http://www.bsu.ru/content/page/1415/hec/ff/zapadov.pdf> (accessed 23.01.2019). (In Russ.)

Ivasheva V. V. *Angliyskiy realisticheskiy roman 19 veka v ego sovremennom zvuchanii* [The English realistic novel of the 19th century in its contemporary understanding]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1974. 464 p. (In Russ.)

Kirsh A. *Bendzhamin Dizraeli* [Bendjamin Disraeli]. Transl. from English by. V. Genkin. Moscow, Knizhniki Publ., 2016. 314 p. (In Russ.)

Konnigsbi, ili novoe pokolenie, roman Dizraeli [Connigsby, or the new generation, a novel by Disraeli]. *Otechestvennye zapiski* [Notes of the Fatherland], 1845, vol. 39, part 7, pp. 1–11. (In Russ.)

Matveenko I. A., Khruleva O. S. Vospriyatie tvorчества B. Dizraeli zhurnalom 'Otechestvennye zapiski' v 1840–70-e gg. v kontekste evreyskogo voprosa v Rossii [Reception of Disraeli's novels on the pages of 'Otechestvennye zapiski' in 1840–1870 in the context of the Jewish issue]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i isskustvovedenie* [Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History], 2019, issue 33, pp. 92–97. (In Russ.)

Mironova V. E. Poetika russkikh perevodov detektivnogo rasskaza 'The Adventure of the Speckled Band' A. K. Doyle [Poetics of Russian translations of Arthur Conan Doyle's detective story 'The Adventure of the Speckled Band']. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 1, pp. 125–133. (In Russ.)

Pavlov I. *Lord Bikonsfil'd kak literator* [Lord Beaconsfield as a writer]. *Russkiy vestnik* [Russian Herald], 1878, vol. 137 (Sept.), pp. 335–357. (In Russ.)

Polonskiy L. A. *Iezuity v sovremennoy Anglii* [Jesuits in modern England]. *Vestn. Evropy* [Herald of Europe], 1870, issue 9, pp. 319–360. (In Russ.)

Popovskiy N. (Kuteynikov N. S.) Politicheskie idealy Dizraeli-Bikonsfil'da [Political ideals of Diz-

raeli – Beaconsfield]. *Otechestvennye zapiski* [Notes of the Fatherland], 1878, issue 9, pp. 201–244, issue 10, pp. 431–471. (In Russ.)

Proskurnin B. M. *Angliyskiy politicheskiy roman 19 veka: ocherki genezisa i evolyutsiya: Monografiya* [English political novel of the 19th century: Sketches of genesis and evolution: Monograph]. Perm, Perm State University Press, 2000. 286 p. (In Russ.)

Proskurnin B. M. Dialog russkoy i angliyskoy kul'tur: ob odnom aspekte retseptsii tvorчества Entoni Trollopa v Rossii [The dialogue of Russian and English cultures: on one aspect of the Anthony Trollope's reception in Russia]. *Mirovaya literatura v kontekste kul'tury* [World Literature in the Context of Culture], 2015, issue 4(10), pp. 29–40. (In Russ.)

Stasov V. V. Tankred, ili novyy krestovyy pokhod. Soch. B. Dizraeli [Tancred or a new crusade. Works by B. Disraeli]. *Stasov V. V. Sobranie soch.: v 3 t.* [Stasov V. V. Collected works: in 3 vols.]. St. Petersburg, 1894, vol. 3, pp. 847–867. (In Russ.)

Stasov V. V. Dizraeli B. Kontarini Fleming [Disraeli B. Contarini Fleming]. *Otechestvennye zapiski* [Notes of the Fatherland], 1847, vol. 50, issue 2, pt. 7, pp. 43–48. (In Russ.)

Timiryazev V. A. Veniamin Dizraeli, lord Bikonsfil'd [Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield]. *Delo*, 1876, issue 12, pp. 102–128. (In Russ.)

Yauss G. R. Istoriya literatury kak vyzov teorii literatury [History of literature as a challenge to the theory of literature]. *Sovremennaya literaturnaya teoriya. Antologiya* [Modern literary theory. Anthology]. Comp. by I. V. Kabanova. Moscow, Flinta Publ., Nauka Publ., 2004, pp. 194–200. (In Russ.)

Blake Robert. *Disraeli: St. Martin's press*. New York, Fourth Printing, 1967. 819 p. (In Eng.)

Dr. H. Novyy roman grafa Bikonsfil'da: Endymion». [A new novel by the Earl of Beaconsfield: 'Endymion']. *Russkoe bogatstvo* [Russian Wealth], 1881, issue 1 (part 2), pp. 1–14. (In Russ.)

Wheeler Michael. *English fiction of the Victorian period: 1830–1890*. 2nd ed. Longman, 1998. 292 p. (In Eng.)

MAIN PERIODS IN THE RECEPTION OF BENJAMIN DISRAELI'S FICTION IN RUSSIA, 1840–1915: PROBLEM STATEMENT

Yuliya P. Azhel

Senior Lecturer in the Division for Foreign Languages, School of Core Engineering Education
Tomsk Polytechnic University

30, Lenina prospekt, Tomsk, 634050, Russian Federation. azhei@tpu.ru

SPIN-code: 7878-7838

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0062-5743>

ResearcherID: D-5979-2019

Submitted 25.04.2019

The article attempts to present a holistic picture showing the reception of fiction works written by Benjamin Disraeli, a brilliant British statesman and famous novelist, in Russia throughout the period of 1840–1915. Literary criticism published in Russian periodicals during the above-mentioned period has been studied, and there have been determined three main periods of Disraeli's fiction reception based on the ups and downs of the interest in his works and private life.

The name of Benjamin Disraeli is not as well known to the Russian audience as the names of his contemporaries belonging to the 'brilliant pleiad' of the 19th century English novelists – Charles Dickens and William Makepeace Thackeray. Nevertheless, his fiction is worth studying since Disraeli was an outstanding representative of the popular 19th century genre of English literature known as silver-fork novels and he made a great contribution to the emergence of the genre of political fiction. His works concerning the vital aspects of cultural and public life were highly demanded by Russian readers and critics throughout the 1840–1915 and were often read in the original and discussed on the pages of the Russian periodical press.

In Russian literary studies, the novels of Benjamin Disraeli have practically not been studied. Some individual works by the writer were considered by such eminent researchers as Georgy An. Andzhaparidze, Boris M. Proskurnin, Evgeniya V. Ermakova, Valentina V. Ivasheva, Irina A. Matveenko. However, the issue of the critical as well as translation reception of Disraeli's fiction in Russia has not been raised in Russian or foreign literary studies thus far.

Literary-critical analysis has shown that the attitude to Disraeli's fiction was different in different historic periods depending on the Russian literary process development and on the political activity of Disraeli on the international stage. The cycles of active reception were replaced by the periods of relative indifference to Disraeli's novels. As a result, three obvious periods in the reception of Disraeli's fiction have been marked. The first period, 1840s – 1850s, is associated with considering Disraeli as a mass literature author. The second period, 1870–1881, correlates with the peak of Disraeli's popularity in Russia in spite of his negative image as a politician. The third period covers 1900–1915 and can be characterized as an attempt to read the novels by Disraeli in the context of his Jewish origin and the Jewish issue.

Key words: English literature; reception; Benjamin Disraeli; critical reviews; periodicals; fiction; politician; Jew; silver-fork novels; political novels.

УДК 821.111

doi 10.17072/2073-6681-2019-3-96-110

СМЕРТЬ РЕБЕНКА КАК СЮЖЕТНЫЙ ХОД В ВИКТОРИАНСКОМ РОМАНЕ

Варвара Андреевна Бячкова

к. филол. н., доцент кафедры мировой литературы и культуры

доцент кафедры английского языка профессиональной коммуникации

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. bvarvara@yandex.ru

SPIN-код: 3824-4807

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3617-4902>

ResearcherID: N-1904-2016

Статья поступила в редакцию 16.01.2019

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:*Бячкова В. А.* Смерть ребенка как сюжетный ход в викторианском романе // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 96–110. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-96-110**Please cite this article in English as:**Vyachkova V. A. Smert' rebenka kak syuzhetnyi khod v victorianskom romane [The Death of a Child as a Plot Device in the Victorian Novel]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 3, pp. 96–110. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-96-110 (In Russ.)

Анализируются особенности такого сюжетного хода, как смерть ребенка, в викторианском романе, начиная с творчества Ч. Диккенса, Ш. Бронте, Э. Гаскелл и заканчивая произведениями писателей рубежа веков, которые по-своему перерабатывают традиции викторианского романа (Т. Гарди, М. Корелли). Чаще всего, особенно в первой половине века, ребенок становится жертвой взрослого мира. В социальных романах причиной смерти ребенка является несправедливость общественного уклада (бедственное положение отдельных слоев населения и пр.). В других случаях ребенок становится жертвой неправильного воспитания. Однако есть также примеры того, как смерть ребенка вводится в роман с целью обозначить некую проблему, связанную с дисгармонией мира его родителей. Это особенно характерно для романов второй половины века (например, произведений Дж. Элиот). Смерть ребенка может являться событием, имеющим композиционное значение, отделяющим одну часть романа от другой. Трагическое событие часто предстает как противоречивое явление: несмотря на горе утраты, мать ребенка переживает своего рода возрождение, связанное с новыми перспективами и надеждами. Такая ситуация подчас складывается, если это смерть незаконнорожденного младенца (например, в романах Т. Гарди или миссис Генри Вуд). Акцентируется внимание на таком явлении, как детский суицид на страницах английского романа (Т. Гарди, М. Корелли), ставший приметой произведений конца XIX – начала XX в. Суицид выражает новую форму протеста ребенка против жестокой реальности, которая приводит маленького человека к неразрешимому внутреннему конфликту.

Ключевые слова: роман; ребенок; смерть; суицид; викторианская литература.

Автором рассматриваются особенности такого сюжетного хода, как смерть ребенка, в викторианском романе. Бурное развитие производств, улучшение условий жизни (по крайней мере, представителей отдельных слоев английского общества), снижение детской смертности и усиление внимания к проблемам детей и детства – все это привело к тому, что смерть ребенка стала оцениваться викторианцами как явление частое,

но не рядовое, требующее понимания, сочувствия и участия, особенно по отношению к семье, потерявшей ребенка. В связи с этим становилась все более актуальной цель – добиться того, чтобы как можно меньше семей оказывалось в подобном положении. Для этого нужно было в первую очередь разобраться в том, почему дети так часто уходят из жизни (Дж. Фландерс приводит следующие цифры: «21,8 смертей на

1000 детей в 1868 г., 14,8 – в 1908 г.» [Flanders 2003: 40]). В этой статье попытаемся проанализировать, как именно викторианские писатели воспринимали эту ситуацию, а также рассмотреть особенности сюжетного хода «смерть ребенка», которые проявляются в викторианском романе.

Отметим, что в данном случае нами (вслед за писателями, создавшими анализируемые нами произведения) понятие «ребенок» будет рассматриваться не столько как «человек, не достигший определенного возраста», сколько в значении «чей-то сын (дочь)», т. е. как элемент семейной структуры. В этом состоит первая особенность данного сюжетного хода в викторианском романе: смерть ребенка – это, в первую очередь, не безвременная смерть человека как такового, а трагедия для его семьи (прежде всего – для родителей). Если у ребенка нет семьи, на этом делается особый акцент – отсутствие тех, кто мог бы оплакивать маленького человека, воспринимается как двойная трагедия. Заметим также, что нами практически не будет учитываться такой фактор, как возраст, понятие «ребенок» будет нами трактоваться достаточно широко: от новорожденного (или даже младенца в утробе матери на поздних сроках беременности) до подростка. Полагаем, что возраст ребенка становится не самым важным фактором именно ввиду ранее отмеченной нами особенности воспринимать ребенка как часть семьи, – ведь для его родных, переживающих его кончину, не имеет значения, сколько ему было суждено прожить.

Начиная анализировать сюжетный ход смерти ребенка, прежде всего вспомним о том, что в произведениях, которые полностью или частично принято относить к жанру социального романа, смерть ребенка – это, как правило, социальная проблема, свидетельство несправедливого общественного устройства. Умерший – невинная жертва миропорядка, не выдержавшая бедности, болезней, грязи, равнодушия окружающих. Хорошо известны подобные примеры в романах Ч. Диккенса, в частности, в романе «Холодный дом» (*Bleak House*, 1852–1853, *Charles Dickens*), когда смерть ребенка кирпичника кажется чуть ли не естественным исходом, если учитывать, в какой атмосфере ребенку довелось родиться и расти: «...это была убогая лачуга, стоявшая у кирпичного завода среди других таких же лачуг с жалкими палисадниками... в этой сырой отвратительной конуре было несколько человек: женщина с синяком под глазом нянчила у камина тяжело дышавшего грудного ребенка... Мы уже раньше заметили, что, глядя на него, она закрывает рукой свой синяк, как бы затем, чтобы отгородить бедного малютку от всяких напоминаний о грубости, насилии и побоях... Ребенок был

мертв... Мы старались успокоить мать, повторяя ей шепотом те слова, которые наш Спаситель сказал о детях. Она не отзывалась, только плакала...» [Диккенс 1960а: 144–149]. Если у Диккенса речь идет не о второстепенном персонаже, чей образ раскрывается более полно, то смерть ребенка еще отчетливее видится как смерть мученика несправедливого и жестокого мира, поскольку Диккенс, особенно в ранних своих произведениях, образ ребенка ассоциирует с Добром. Т. Сильман пишет об эволюции творческого метода писателя: «*Доброе* уже не означает для него *счастливое*, а скорее наоборот: в этом несправедливом мире, нарисованном писателем, добро обречено на страдания, которые далеко не всегда находят свое вознаграждение (смерть маленького Дика... а в следующих романах смерть Смайка, маленькой Нелли, Поля Домби, которые все являются жертвами жестокой и несправедливой действительности» (курсив автора. – В. Б.) [Сильман 1958: 101].

Творцами этой действительности Диккенс неизменно считает взрослых, именно они прямо или косвенно виноваты в смерти маленького человека. К одному из перечисленных Т. Сильман героев Диккенса (Полю Домби) мы еще вернемся, пока же вспомним всем известные слова, которыми автор откликается на смерть мальчика Джо в том же «Холодном доме»: «Свет засиял на темном, мрачном пути. Умер! Умер, ваше величество. Умер, милорды и джентльмены. Умер, вы, преподобные и неподобные служители всех культов. Умер, вы, люди; а ведь небом вам было даровано сострадание. И так умирают вокруг нас каждый день» [Диккенс 1960б: 283]. В данном случае, как видим, смерть ребенка становится не просто сюжетным ходом, но предметом прямого обращения автора к читателям, довольно жесткого, гневного указания на высшую несправедливость окружающего мира, напоминанием о милосердии и сострадании и призывом оглянуться вокруг.

В похожем ключе, но несколько по-другому, смерть ребенка представлена в романе «Мэри Бартон» Э. Гаскелл (*Mary Barton*, 1848, *Elizabeth Gaskell*). Как верно замечает В. В. Ивашова, смерть ребенка в романе служит одним из средств демонстрации существующих в обществе контрастов: «Умиравший ребенок Бартона, нуждающийся в усиленном питании, которое отец не имеет средств ему предоставить, и ярко освещенные магазины, демонстрирующие на витринах тончайшие яства... цинично выставленное напоказ богатство одних и неправдоподобная нищета других...» [Ивашова 1974: 330]. В этом произведении, как известно, повествуется о нескольких рабочих семьях, детей теряют сразу несколько из них. Смерть близнецов Уилсонов

почти ничем не отличается от смерти ребенка кирпичника в «Холодном доме», Гаскелл понемногу «готовит» читателей к трагедии в семье, давая понять, что у близнецов почти не было шансов выжить: «маленькие, хилые близнецы, унаследовавшие хрупкость от матери»... «Близнецы, благослови их Господь, нелегкое испытание для бедняка»... «У них, казалось, на двоих была одна жизнь... они были беспомощные, милые, несмышленные дети, но от этого родители и... старший брат любили их не меньше... Они поздно начали ходить, говорить и нуждались в постоянной заботе и уходе...» (пер. наш. – В. Б.) [Gaskell 2013]. Так, двойная потеря Уилсонов предстает перед читателями вполне ожидаемым событием, что, впрочем, не умаляет ни родительского горя, ни сочувствия семье. Стоит отметить, что в отличие от ребенка кирпичника близнецы умирают не на руках матери. Второго, пережившего брата на несколько минут, специально забирают у миссис Уилсон, искренне веря в то, что душе ребенка трудно покинуть тело, если рядом мать, которая его «не отпускает».

На другом погибшем ребенке, брате заглавной героини романа, внимание читателей фокусируется на более долгий срок. Примечательно, что на самом деле Джон Бартон на протяжении всего произведения теряет не одного, а двоих детей: мать семейства, Мэри Бартон Старшая, как поясняется в начале романа, беременна третьим ребенком, и она погибает во время родов (вероятно, вместе с младенцем, так и не успевшим появиться на свет). Мимо этой, третьей в семье, смерти Гаскелл как бы проходит мимо, о самом младшем, нерожденном Бартоне, никто не вспоминает. Возможно, так происходит потому, что читатель видит семью глазами Джона Бартона. Для него все постигшие семью несчастья сливаются воедино, его разум постепенно поглощают горькие мысли о неравенстве между рабочими и хозяевами, о несправедливости: «Он говорил, что было время, когда он был добр ко всем людям: и бедным, и богатым. Но горе и страдания, которые ему довелось увидеть, ожесточили его. А он думал, что богатые могли бы многое исправить, если бы захотели» [Gaskell 2013: XXXVII]. Чувство протеста, как мы помним, едва ли не доводит героя до помрачения рассудка. Именно в таком состоянии Бартон совершает убийство сына фабриканта Карсона, а муки совести стоят герою жизни.

Постепенно викторианские писатели начинают задумываться не только над физическими страданиями маленького человека, но и над такой проблемой, как неправильный подход к воспитанию детей. Вернемся к творчеству Ч. Диккенса. Именно в его романах смерть ребенка

наиболее очевидно проявляется как следствие неправильного родительского воспитания и, одновременно, как наказание родителя. Самый яркий пример – роман «Домби и Сын» (*Dombey and Son*, 1848). Знакомясь с этим романом, читатель становится свидетелем недолгой (6 лет) жизни Поля Домби, «Сына» процветающего торгового дома. Модель воспитания, жертвой которого становится ребенок, представляет собой актуальную для времен Диккенса психологическую проблему. С этой проблемой живет отец героя, Поль Домби Старший. Загнав свою личность в «футляр», раз и навсегда надев маску respectable коммерсанта и отказавшись при этом быть человеком, отец и сына пытается «вписать» в свою систему, даже любя ребенка и желая ему добра. «Он поднялся, как до того поднялся его отец, по закону жизни и смерти, от Сына до Домби» [Диккенс 1959: 13], и маленькому Полю предписывается пройти такой же путь, выполнить свое «назначение», иного не дано. Путь «От Сына до Домби» оказывается слишком сух и холоден, он не предусматривает тепла (как физического, так и человеческого, ведь «Домби и Сын» часто имели дело с кожей, но никогда – с сердцем» [там же]). Как пишет П. Ковни, «Одержимый своими амбициями дальнейшего процветания своего бизнеса, Домби лишает своих детей естественной отцовской любви» [Coveney 1967: 140]. Постоянные напоминания о возложенной на него задаче, недостаток душевного тепла, который, к сожалению, не могут восполнить любящие ребенка люди, а после – и насильственное, форсированное развитие приводят к тому, что маленький Поль уже в колыбели «устаёт» от жизни. Мальчик становится жертвой концепции, когда в ребенке видят не личность, а только «недоразвитого» взрослого (см. подробнее об этом: [Артемова, Попова 2014]). Страдания Поля, как замечает А. В. Бабук, обусловлены «акселерацией, неизбежной в контексте жестокости буржуазно-экономических отношений» [Бабук 2016: 32]. Он замерзает в день своих крестин, «хиреет» после удаления кормилицы и очень тяжело переносит болезни и недомогания: «Каждый зуб был для него грозным барьером, а каждый пупырышек во время кори – каменной стеной» [Диккенс 1959: 117]. Упадок сил и «утрата живости», которые мальчик переживает под конец своего первого семестра в школе доктора Блимбера, представляются закономерностью, неспособность и нежелание ребенка жить к тому времени уже очевидны читателю. А. В. Бабук в своих исследованиях романа замечает: «Страдания мальчика, обусловленные быстрым физиологическим созреванием в результате познаваемой жестокостью буржуазных экономических отно-

шений, приводят к тому, что детскость Поля терпит духовно-нравственный крах, что проявляется в его ранней смерти» [Бабук 2015: 23]. То есть взрослые, и прежде всего мистер Домби Старший, стремясь как можно скорее «развить» ребенка, убивают в нем «детскость», хотя именно она и является залогом роста и развития маленького человека. Лишенный «детскости» ребенок обречен на гибель. Хорошо понимает это и маленький герой. Спрашивая у сестры, жива ли его кормилица, Поль восклицает: «Флой, *мы все умерли, кроме тебя?*» (курсив автора, выделено нами. – В. Б.) [Диккенс 1959: 276].

Отметим также, что судьба маленького Поля как жертвы неправильного воспитания и образа жизни всей семьи трагична еще и потому, что ее мало для «перерождения» Поля Домби Старшего. Несмотря на свое горе, он далеко не сразу после смерти сына начинает задумываться над своей жизнью. Для этого, как мы помним, нужно, чтобы «футляр» мистера Домби, его фирма, перестал существовать, а до этого смерть даже по-своему любимого и такого «нужного» ребенка отец воспринимает как что-то, к чему он лично совершенно непричастен. Возможно, отчасти поэтому возникает такая особенность «подачи» смерти маленького Поля, отмеченная П. Ковни, как следование романтической, сентиментальной традиции создания детского образа и, как следствие – акцентуация самого факта смерти ребенка, а не его причины [Coveney 1967: 167].

Однако смерть ребенка – это не только сюжетный ход, позволяющий роману осуществить свою дидактическую функцию. Есть примеры, когда смерть ребенка имеет не только сюжетное, но и композиционное значение, это событие становится финалом определенной части произведения, «сигналом» того, что жизнь героев вступает в новый этап. В этом случае авторы произведения возвращаются к так называемой «романтической» концепции образа ребенка (как ангелоподобного существа, не от мира сего) (см. о концепции подробнее: [там же: I]).

Продолжая разговор о творчестве Ч. Диккенса, вспомним и его роман «Повесть о двух городах» (*The Tale of Two Cities*, 1852). Чета Дарнеев теряет второго ребенка (сына) в 21-й главе второй части романа. Эту главу «Эхо от шагов» с композиционной точки зрения можно считать своеобразной интермиссией между сложным процессом восстановления доктора Александра Манетта после долгого тюремного заключения и трагическим путешествием семьи в охваченную революционными событиями Францию. С учетом статистики детской смертности тех лет, приведенной нами ранее, можно говорить о том, что смерть ребенка, кроме прочих описываемых в

главе событий жизни семьи, подчеркивает спокойную обыденность, даже будничность жизни Дарнеев-Манеттов в этот период. Смерть мальчика, воссоединение маленького ангела с Творцом (Диккенс цитирует знаменитое: «Не препятствуйте детям приходить ко мне!» [Dickens 1985: 241] и говорит о том, что эта смерть не была горькой и жестокой), служит контрастом грядущим многочисленным смертям жертв революционного безумия. Финал романа – предсмертные видения Сидни Картона, из любви к Люси «заменившего» Чарльза Дарнея на гильотине. Одно из его видений – новый, живой сын Люси и Чарльза. Таким образом, получается, что смерть ребенка начинает новый этап как в жизни его родителей (события Французской революции как путь обретения ребенка взамен утраченного), так и в жизни Сидни Картона. Если для первого мальчика он был только другом («Бедный Картон! Поцелуйте его за меня!» – последние слова ребенка [ibid.: 242]), то его младший брат – его продолжение, жизнь, которую он сделал возможной («Я вижу ребенка... он носит мое имя, мужчину, который продолжит жизненный путь, который был моим...») [ibid.: 431]).

Другой пример смерти ребенка как композиционно значимого события – роман Ш. Бронте «Джейн Эйр». Начнем с того, что Ш. Бронте более чем оригинально сближает понятия «ребенок» и «смерть». Воспитанная на сказках и поверьях няньки Бесси, Джейн с детства знает, что видеть во сне маленького ребенка – к смерти. Бесси Ливен так получает «предупреждение» о смерти сестры [Bronte 1952: 281], а сама Джейн видит во сне ребенка всю неделю перед тем, как узнает о смертельной болезни миссис Рид [ibid.]. Так, Ш. Бронте вносит примечательный вклад в символику детского образа, позволяя соединить его с темой этой статьи. Однако в романе присутствует и смерть ребенка как таковая: смерть Элен Бернс. Ранее (см.: [Бячкова 2015]) мы уже писали о том, что смерть старшей подруги и наставницы (Элен – буквально первый человек, встретившийся на пути Джейн, который занимается ее нравственным и религиозным воспитанием) становится рубежом в жизни заглавной героини романа, неслучайно именно на этом эпизоде заканчиваются так называемые «детские главы». Есть даже основание воспринимать смерть Элен не как уход из жизни, а как перерождение, переход в иную субстанцию – нравственного идеала, наставника, который устранился, когда передал все свои знания. С одной стороны, Элен – девочка «без будущего». Познакомившись с ней вместе с Джейн, читатель довольно скоро начинает догадываться о том, насколько серьезно она больна, например, по тому, как, пригласив по-

друг к себе на чай, Мисс Темпл подробно спрашивает Элен о состоянии ее здоровья [Bronfe 1952: 96]. Углубляемая бытовыми условиями Лоувудской школы (по иронии судьбы после смерти девочки условия становятся намного лучше) болезнь, что естественно, прогрессирует, и смерть Элен воспринимается не как что-то из ряда вон выходящее. Однако, с другой стороны, «обреченность» героини контрастирует с надписью на ее могильном камне: «Resurgam» («Воскресну») [ibid.: 110]. И действительно, Элен как бы «воскресает» в принципах, которые она передала Джейн и о которых Джен вспоминает в самые тяжелые минуты жизни.

Наконец, еще раз обратившись к творчеству Ч. Диккенса, вспомним его роман «Дэвид Копперфильд» и смерть младшего единокровного брата заглавного героя. Смерть этого (что примечательно, безмянного) ребенка «необходима» по совокупности причин. Во-первых, сын уходит вслед за матерью, ранняя кончина которой – следствие постоянного психологического давления со стороны второго мужа и золовки. Думается, что смерть матери (и младшего брата Дэвида) демонстрирует читателю и социальную (или даже идеологическую) проблему: бесправное, подчиненное положение замужней женщины в викторианской Англии. До второго замужества миссис Копперфильд – вполне самостоятельный и независимый человек, имеющий свой дом, хозяйство, ребенка, служанку-друга – одним словом, свой собственный мир, который она сама создает. Выйдя второй раз замуж, она становится частью мира своего мужа и постепенно теряет все, что имела, а психологическая травма от потерь стоит ей и ее новому младенцу жизни. То есть смерть мальчика здесь также является средством демонстрации социального несовершенства общества, как и смерть Джо в «Холодном доме», и т. д. Для самого Дэвида смерть младшего брата – это как раз символическое событие, знаменующее окончание определенного этапа его жизни (поэтому оно имеет композиционное значение). Другая причина, по которой Дэвид не сообщает читателю имени своего брата, состоит в том, что младенца он ассоциирует с самим собой, своими детскими годами, а смерть матери означает, что детство закончилось: «Мать, которая покоится в могиле, – это мать моего детства, а малютка в ее объятиях – это я, каким я некогда был, уснувший навсегда у нее на груди» [Диккенс 1959: 162]. Окончание детства, например, оказывается связано с изменением понимания счастья. Эпоха детства для Дэвида (до появления отчима) – это этап абсолютного, «пассивного» счастья (согласно исследовательнице А.-Р. Федерико, см.: [Federico 2003]), после

смерти матери и брата Дэвид понемногу приходит к другому пониманию счастья – как результату поступков, труда, активной деятельности, т. е. представления героя о мире качественно меняются. Однако существует еще одна причина смерти ребенка, и кроется она в характере его отца, мистера Мердстона. Принципы сурового воспитания, которых придерживается Мердстон, известны (жесткое и жестокое обращение, физические наказания, подавление воли, запугивание и т. д.), он активно их применяет в воспитании пасынка. Можно, конечно, предположить, что Дэвид – нелюбимый пасынок и собственного ребенка мистер Мердстон воспитывал бы немного иначе, но в целом концепция «воспитания твердости» не изменилась бы. Ребенок вряд ли выдержал бы подобный эксперимент и либо умер (как Поль Домби), либо превратился в точную копию мистера Мердстона. Таким образом, смерть в данном случае спасает ребенка от неправильного воспитания отца, а заодно и служит наказанием и воздаянием родителю за его поступки.

Именно так, в произведениях, созданных ближе ко второй половине XIX в., смерть ребенка нередко становится следствием не социальной, но психологической проблемы его родителей (следствием их недостатков, искуплением некоего неправильного поступка и пр.). Смерть такого существа вызывает скорее грусть, чем скорбь, и читатель полностью концентрируется не на умершем, а на его родителях. Он неизбежно задается вопросом, почему им выпало такое испытание, как оно скажется на их мировоззрении, дальнейшей жизни и т. д. Смерть ребенка совпадает с кульминацией романа (или его отдельной сюжетной линии) либо подготавливает ее.

Примером этого служат, во-первых, романы Дж. Элиот, прежде всего, «Сайлас Марнер» (*Silas Marner*, 1961) и «Миддлмарч» (*Middlemarch*, 1971–1972). Речь в них идет о смерти новорожденных: первенцев Годфри и Нэнси Кэссов и Розамонд и Тэциуса Лидгейтов. Семейная жизнь Кэссов, героев романа «Сайлас Марнер», начинается с тайны: Годфри скрывает, что Нэнси – не первая его жена, на попечении ткача (заглавного героя романа) растет его дочь. Умерший ребенок Нэнси – ее первенец, но не первенец Годфри, о чем молодая женщина и не догадывается. Для Годфри смерть младенца – это расплата за брошенную дочь. Как и шекспировского Леонта (о параллелях между «Сайласом Марнером» и «Зимней сказкой» Шекспира см.: [Проскурнин 2014]), смерть сына Мамилия оставляет без альтернативы пропавшей Утрате, так и Годфри вынужден постоянно вспоминать об Эппи, так как он – только ее отец и ничей больше, «отвлечься» ему не на кого. Контраст счастливого нежданно-

го отцовства Сайласа и горькой бездетности Кэссов читатель может уловить уже в первых строках второй части романа, он «нарастает» постепенно. Сначала сообщается о том, что с момента обретения Сайласом его «сокровища» (приемной дочери Эппи) прошло шестнадцать лет. Спустя несколько строк читаем, как миссис Кэсс, выходя из церкви воскресным днем, просит мужа «подождать папу и Присциллу» [Eliot 1999: 119]. Эта простая, казалось бы, ничего не значащая реплика уже может навести читателя на мысль, что детей у Кэссов нет, поскольку если бы они были, то сопровождали бы родителей (ведь воскресная служба – важное мероприятие для всей семьи) и мысли Нэнси были бы в первую очередь заняты ими, а не отцом и сестрой. Это предположение перерастает в уверенность, когда Кэссов и дома не встречают дети: Годфри один отправляется на прогулку, а Нэнси садится читать Библию [ibid.: 134]. Однако чтение не задается, мысли перескакивают с одного предмета на другой, пока перед читателем не возникает образ умершего ребенка. Примечательно, что Элиот не сообщает читателю почти никаких подробностей семейной драмы (каков был пол ребенка, дали ли ему имя, как и почему он умер), кроме того, что это произошло четырнадцать лет назад (т. е. когда Эппи было примерно четыре года и она уже два года как жила у Сайласа). От первенца Нэнси остается лишь образ заботливо приготовленного детского приданого «неношеного и нетронутого... кроме одного маленького платица, ставшего погребальным нарядом» [ibid.: 135], которое контрастирует с детскими платицами, которые соседка Долли приносит Сайласу для Эппи [ibid.: 104]. Все эти детали вновь и вновь подтверждают мысль о том, что Годфри не дано искупить вину и вернуть дочь, счастье отцовства навеки принадлежит Сайласу. Образ золотоволосой Эппи связан, как не раз отмечали исследователи (об образе золота и денег в романе см., например: [Henry 2002: 88]), с образом украденного у Сайласа золота; обретая дочь, Сайлас обретает настоящие, подлинные богатство и счастье, взамен мнимых, связанных с деньгами. Супруги Кэссы этого настоящего счастья оказываются лишены. Но, с другой стороны, Нэнси, будучи достаточно противоречивым персонажем (о разных чертах ее характера, положительных и отрицательных, пишет, например, исследовательница женских образов в викторианской литературе П. Бир (см.: [Beer 1974: 195]), получает возможность очиститься, возвыситься самоотверженной заботой о муже, у которого, кроме нее, никого нет.

Несколько в другом свете предстает драма в семье Лидгейтов в романе «Миддлмарч». В первых, гибель первенца доктора Лидгейта ви-

дится событием если не ожидаемым, то закономерным. Семейная жизнь Терциуса и Розамонд начинается с потока взаимных разочарований, упрямства, конфликтов. Отчасти – из-за собственного Розамонд «эгоизма испорченного ребенка» [ibid.: 98], отчасти – из-за завышенных требований, предъявляемых Лидгейтом жене (см. об этом: [Бячкова 2016]). К моменту рождения ребенка супруги переживают глубокий кризис. Даже преждевременные роды становятся следствием конфликта: Розамонд из-за своего упрямства пренебрегает советом (который Лидгейт ей дает даже не как муж, а как врач) не ездить кататься верхом. И вновь как символ смерти ребенка и в этом романе возникает образ ненужного больше детского приданого [Eliot 1994: 553]. Одновременно читатель, прочитав о гибели новорожденного, возможно, может испытать нечто вроде облегчения: младенец «спасен» от опасности расти в семье, где муж и жена – совсем разные люди, которые страдают от своей несхожести, но даже не пытаются понять друг друга. «Пустота» семейной жизни (одна из ключевых тем романа, затрагивающая судьбы множества, даже большинства персонажей – (подробнее см. об этом, например: [Langland 2001: 134]), делает родительский дом неготовым к появлению новой жизни. Здесь небезынтересно вспомнить центральный женский образ романа «Миддлмарч» – Доротею Брук. Доротея также переживает разочарование в семейной жизни, «пустоту» будней замужней женщины и крах стремлений к самореализации, однако в финале романа она обретает новую семью: мужа и сына. Материнство Доротеи не только внушает читателю надежды на то, что она воспитает сына по своему образу и подобию и ее богатый потенциал не пропадет даром, но и знаменует начало нового этапа в жизни героини, когда она, без всякого сомнения, будет ощущать себя занятой и нужной, пусть даже всего лишь в стенах родного дома. Так получается, что хотя рождение детей – это компонент «стандартной» женской биографии, согласно Дж. Элиот, это все-таки событие, которого достойна не каждая, а только думающая, обладающая самосознанием героиня (см. об этом: [Шамина 2018]), «совершенствующаяся» (определение И. Ф. Гнусовой, см.: [Гнусова 2013]), какой является Доротея, и, напротив, не является Розамонд. Смерть ребенка Лидгейтов также становится одним из сигналов, которые судьба посылает его родителям, а также – первым шагом их примирения друг с другом. Розамонд напоминает мужу о том, что в ее жизни произошло несчастье, от которого она не вполне оправилась [Eliot 1994: 636]. У Лидгейта нет причин подозревать жену в неискренности или

не относиться к ее чувствам серьезно, Розамонд в своем горе остается верна себе, но она действительно переживает случившееся настолько тяжело, насколько позволяют свойства ее натуры. Заметим также, что в финале романа читателю сообщается, что Лидгейт, смирившийся с судьбой, супругой и Миддлмарчем, все-таки стал отцом [[Eliot 1994: 791].

Наконец, говоря о репрезентации смерти ребенка как способа наказания его родителей за совершенные ими проступки, нельзя не вспомнить роман миссис Генри Вуд «ИстЛинн» (*East-Lynde*, 1861). Исследовательница Э. Хамферис [Humpherys 1999: 42–60] относит этот роман к группе «ранних викторианских романов о разводе» (см. о романе подробнее: [Бячкова 2012]), семья рушится в результате супружеской измены жены, главной героини романа леди Изабел Карлайл, которая хотя и вызывает сочувствие и даже понимание читателей, в финале вынуждена расплачиваться за совершенный ею проступок. На долю оступившейся леди Изабел выпадает несколько более чем тяжелых испытаний, в частности – она теряет двоих из своих четырех детей. Однако если первая смерть самого младшего, незаконнорожденного, ребенка леди Изабел представляется как не совсем однозначное событие (к этому мы вернемся чуть позже), то смерть старшего сына Уильяма, последнее испытание героини перед ее собственной кончиной, бесспорно вводится в роман исключительно как способ наказания матери за совершенный ею проступок (П. Ковни даже пишет, что дети «используются» в романе для «повышения садистского напряжения» произведения (выделено нами. – В. Б.) [Coveney 1967: 181]). Во-первых, нет сомнения в том, что смерть ребенка происходит при крайне драматичных для матери обстоятельствах. Неузнанная, она возвращается в дом мужа и нанимается гувернанткой к собственным детям, обреченная ежедневно наблюдать счастливую семейную жизнь бывшего супруга с новой женой, выслушивать воспоминания домашних о самой себе и своем поступке и, конечно, не иметь возможности признаться детям, кто она на самом деле. Рассказывая детям о своей прошлой жизни, мнимая мадам Вайн выдает себя за вдову, чьи дети умерли. Отвечая на более подробные вопросы о детях, не в силах ничего выдумывать, она однажды говорит старшему мальчику, что ее покойный старший сын был его тезка и ровесник. Дав несуществующему умершему ребенку имя своего живого сына, «проиграв» эмоционально ситуацию его смерти, леди Изабел скоро сталкивается с тем, что выдуманная история становится явью: Уильям заболевает. Интересно, что именно семья леди Иза-

бел оказывается косвенно виновата в том, что болезнь ребенка приняла угрожающий характер. Дочь виконта Маунт Северна, леди Изабел с детства научена ни на минуту не забывать о своем титуле и дворянском происхождении, так же вел себя и ее отец, до конца сражавшийся за внешнюю респектабельность семьи, но оставивший дочь сиротой-бесприданницей. Возможно, из-за этой же дворянской гордости долгое время остается неизвестной причина смерти матери леди Изабел – чахотка (семья, вероятно, скрывала не совсем «аристократичный» диагноз). Однако для сына леди Изабел эта семейная тайна имеет решающее значение: когда мальчик заболевает, домашние не придают этому особого значения, полагая, что от серьезной болезни защищает отсутствие наследственной предрасположенности к ней. Впоследствии вызванный к ребенку семейный врач объясняет родителям, что предрасположенность существует (он же лечил бабушку мальчика много лет назад), а потом и подтверждает страшный диагноз. Горе леди Изабел становится особенно тяжелым, когда умирающий Уильям, прощаясь с семьей, называет матерью вторую жену отца, рассуждая о том, сможет ли он встретиться с настоящей матерью-грешницей в раю, а леди Изабел так и остается для мальчика только гувернанткой (хотя и нежно любимой) и при этом отчетливо понимает, что не оставь она своих детей, все было бы по-другому [Mrs. Henry Wood 2006: XLIII]. Стоит обратить внимание, наконец, на то, какую роль смерть матери и сына играют в завершении романа. У неверной жены нет будущего: она умирает, совсем ненадолго пережив Уильяма. Как ни трагична ее смерть, она привносит гармонию в жизнь мужа леди Изабел, теперь точно ничто не помешает ему строить новую жизнь со своей любимой новой женой и всеми своими детьми. Примечательно, что Уильям – единственный из детей леди Изабел, который, даже оставшись в живых, не смог бы вписаться в новую жизнь, отринув «старую», запятнанную грехом матери. Младший сын в силу возраста не помнит, что случилось с леди Изабел, старшая дочь принимает сказочно-романтическую версию исчезновения матери из семьи, которая ее огорчает, но не травмирует. Только не по годам умный Уильям понимает всю глубину семейной драмы и тяжело ее переживает. Его смерть, таким образом, не только наказывает мать, но и окончательно стирает все следы и последствия ее поступка из жизни всей семьи, давая им возможности жить дальше, радоваться и надеяться.

Роман «Ист Линн» служит также иллюстрацией другой, любопытной и даже несколько неожиданной трактовки, которую получает в

викторианском романе смерть незаконнорожденного ребенка. Ранее она уже становилась предметом беглого анализа (см.: [Бячкова 2015]), но в этой статье предполагается рассмотреть ее подробнее. Как мы уже отмечали, слабость (в данном случае – физическая) – одно из ярких свойств образа незаконнорожденного в романах XIX в. Будучи еще до рождения не признан, отторгнут обществом, ребенок словно чувствует пренебрежительное отношение мира к себе и стремится его покинуть. Именно поэтому незаконнорожденные дети в викторианских романах отличаются слабым здоровьем, с ними происходят несчастные случаи, а порой и просто обстоятельства складываются не в их пользу. Однако смерть такого ребенка далеко не всегда имеет только отрицательное влияние на жизнь его матери. Например, в романе «Ист Линн» младший сын леди Изабел Карлайл погибает во время аварии на железной дороге. В смерти этого ребенка есть доля драматической иронии: леди Изабел сама незадолго до катастрофы сгоряча желает сыну смерти, не выдерживая мыслей о собственном позоре и тяготах жизни, которая ждет внебрачного ребенка женщины, разрушившей свою семью изменой. Когда мальчик и в самом деле погибает, состояние леди Изабел напоминает состояние Анны Карениной после рождения дочери: как и Анна, леди Изабел убеждена, что и ее дни сочтены, она пишет «последнее» письмо родным, прощается с ними, просит прощения и надеется на понимание [Mrs. Henry Wood 2006: XXVII]. Поправившись, героиня начинает новую жизнь. Оплавав смерть младенца, героиня рада, что избавлена от «неопределенного будущего», которое ожидало бы ее как одинокую мать внебрачного ребенка, и называет сына «счастливецом» [ibid.]. Мысленно «прожив» собственную смерть, леди Изабел, хотя и по-прежнему страдая от совершенного ею проступка и разлуки со старшими детьми, сильно меняется, и не только внешне: в прошлом затворница и домоседка, абсолютно беспомощная и зависимая от окружающих, она вдали от Родины работает приходящей учительницей, снискавшей уважение и любовь своих подопечных и добившись определенных успехов на новом поприще. Миссис Генри Вуд идет по традиционному для викторианцев пути: единственный возможный финал для падшей женщины – достойная смерть после полного раскаяния, однако именно «европейский» период в жизни леди Изабел делает такой финал возможным. Жизнь вдали от дома позволяет героине взглянуть на свое прошлое со стороны, поразмыслить над ним, расстояние обостряет любовь матери к детям и желание их видеть, а новообретенная самодостаточность героини дает ей

повод вновь вернуться на родину под видом скромной гувернантки. Все это вряд ли было бы возможным, останься маленький сын леди Изабел в живых.

Еще большую роль играет смерть ребенка в жизни заглавной героини романа «Тэсс из рода Д'Эрбервилей» Т. Гарди. Жизнь героини автором разделена на главы – «фазы», рождение сына относится ко второй фазе жизни героини («Больше не девушка»), ребенок – живое свидетельство ее позора, очередное звено в цепи разочарований, загубленных мечтаний и надежд, подтверждение ее обреченности на несчастья. Как и леди Изабел, Тэсс порой говорит, что желает ребенку (да и себе тоже) смерти, однако ее чувства к младенцу решительно ничем не отличаются от чувств любой матери [Hardy 1986: 140]. Тяжелая болезнь мальчика становится новым испытанием для Тэсс, усугубленным тем, что ребенок, будучи незаконнорожденным, не окрещен. Тэсс сама совершает, как может, некое подобие обряда крещения, нарекая сына Сорроу (т. е. «Горе»). Примечательно, что кроме Тэсс больше всего оплакивают ребенка ее юные братья и сестры. Демонстрация детской скорби (одновременно очень искренней и очень наивной) подчеркивает тот факт, что выпавшее на долю Тэсс испытание неоднозначно. С одной стороны, это еще одно звено в нескончаемом потоке несчастий, которые сыплются на героиню. С другой – своеобразное предвестие смерти Тэсс, доказательство ее обреченности. Согласно исследователям теории Дарвина и мотива вырождения в творчестве Т. Гарди (в частности, см.: [Гордиенко 2007, 2009]), заглавная героиня романа «Тэсс из рода Д'Эрбервилей» принадлежит к тому типу героев, которые на свою беду мыслят и вследствие своих мыслей и размышлений пытаются бороться с обстоятельствами, жизнью, за что и оказываются наказаны вырождением (для которого, думается, нельзя подобрать более красноречивого символа, нежели смерть ребенка). Однако, при всем при этом, смерть сына, как ни парадоксально, имела в жизни Тэсс и относительно положительное значение. Третья важная фаза жизни героини после «падения» (Гарди называет ее «Выздоровлением») связана с пребыванием на мызе мистера Крика и знакомством с Энджелом Клэром. У Гарди нет подробного объяснения того, как именно Тэсс туда попадает, но несложно догадаться как было дело. Став матерью, Тэсс занималась в первую очередь ребенком, принимая посильное участие в жизни своей семьи. Когда Сорроу умер, Тэсс вновь стала жить только для своих родных, чье вечно плачевное положение вновь потребовало от нее активных действий. Наилучшим образом помочь

семье девушка могла, вновь найдя себе работу вне дома (т. е., с одной стороны, избавив родителей от «лишнего рта», а с другой – обеспечив семье дополнительные средства к существованию). Кроме того, оправившись после своего падения и смерти сына, Тэсс, повинувшись пробудившемуся в ней «пульсу жизни, полной надежд», и сама испытывала желание покинуть дом, где ей столько пришлось пережить [Hardy 1986: 150]. В любом случае Тэсс не могла уехать из дома, имея на руках маленького ребенка. Если бы Сорроу выжил, она бы вообще никогда не покинула отчий дом или же сделала бы это намного позже, дождавшись, когда сын подрастет настолько, чтобы можно было бы его оставить на бабушку. А это означает, что знакомство Тэсс с Энджелом оказалось бы невозможным. Правда, как известно, эта встреча не принесла Тэсс счастья: прошлое не отпустило героиню, Энджел не смог смириться с ее прошлым. Символом такого непреодолимого прошлого для героини стала могила сына. Неслучайно Тэсс, вновь возвратившись в родные края, в первую очередь приходит именно туда.

В «Лиззи Ли» Э. Гаскелл (*Elizabeth Gaskell, Lizzie Leigh*, 1855) мы наблюдаем, как семейство Ли на протяжении долгого времени разыскивает «падшую» дочь и сестру. После смерти сурового отца мать и братья мечтают сказать Лиззи о том, что давно ее простили, по-прежнему ее любят, готовы помочь, вновь принять в семью, но чтобы это сделать, ее нужно отыскать, что совсем не просто. В конце концов миссис Ли находит дочь Лиззи, Энн, растущую в приемной семье. Опекуны Энн и семья Ли приходят к выводу, что Лиззи живет где-то рядом и наблюдает за тем, как растет ее ребенок, но поиски вновь оказываются тщетными. Когда маленькая Энн умирает, неудачно упав с лестницы, обезумевшая от горя Лиззи объявляется сама. Она хочет проститься с дочерью и совсем неожиданно для себя сталкивается с собственной матерью. По мере того как уходит ребенок, мать словно обретает саму себя, связи с миром, со своим прошлым. При первом появлении Лиззи в доме Палмеров, Гаскелл называет ее «тенью» [Gaskell 2005: III], возникшей на пороге дома. Затем у постели умирающей девочки на месте тени появляется человек («горящие глаза», «руки, прижатые к сердцу» и т. д. [ibid.]). После похорон героиню впервые «окликают» по имени, называют сестрой и дочерью, вспоминают, какой она была раньше (например, выясняется, что Лиззи любила учиться). В финале романа безымянная «тень» превращается в любимую дочь, ставшую «сокровищем» для своей матери [ibid.: IV]. Мы видим Лиззи, вставшую на путь покаяния, труда и молитвы. Ей не дано

обрести нового ребенка, но она живет поддержкой любящих ее людей, нянчит племянницу, названную именем ее собственной погибшей дочери, и мечтает воссоединиться с Энни, которая своей смертью вернула ее под родительский кров и дала возможность вновь обрести саму себя.

На рубеже веков писатели, вводя в сюжет смерть ребенка, с одной стороны, активно обращаются к сюжетным моделям, используемым их предшественниками, но с другой – вносят в осмысление проблемы детской смертности новые ноты. Именно в этот период впервые появляются романы, поднимающие проблемы детского суицида. В литературе XIX в. такой сюжетный ход вряд ли был бы возможен. Какую бы концепцию детского образа ни выбрал автор («романтическую» или «реалистическую»), ребенок в любом случае оказывается близок к природе, к нравственному идеалу, к тому же он очень зависим от взрослых. При таких условиях кажется невероятным, чтобы ребенок лишил себя жизни, его неминуемо должны были бы удерживать ярко выраженный инстинкт самосохранения, представления о грехе и добродетели (все-таки самоубийство – это грех), не говоря уже о контроле со стороны взрослых. В литературе на рубеже веков проблемы, которые со всех сторон давят на маленького человека, становятся невыносимыми, контроль со стороны не менее запутавшихся взрослых ослабевает, и детский суицид становится возможным. Отметим также, что это характерно не только для английской, но и для русской литературы (см., например, об этом: [Дворяшина 2004, 2005]), т. е. это скорее особенность эпохи, чем национальная традиция.

Продемонстрируем это на двух примерах. Во-первых, в продолжение разговора о творчестве Т. Гарди – смерть детей заглавного героя романа «Джуд Незаметный» (*Thomas Hardy Jude the Obscure*, 1895). Как мы помним, убийство и самоубийство совершает старший сын Джуда по прозвищу Время или Дедушка Время (Little Time, Father Time). Его поступок – реакция детской души на совокупность внутренних и внешних обстоятельств, терзающую семью. Это и финансовые затруднения, и панический страх Джуда и, особенно, его возлюбленной Сью перед узлами брака, но одновременно и постоянное ожидание осуждения и неприятия их незаконного сожительства со стороны окружающих. Наконец, это «фрустрация» (см. об этом, например: [Alvarez 1963 и др.]), недовольство собственными взаимоотношениями: лелеянная когда-то концепция, прежде всего духовного и интеллектуального союза, оказывается, плохо сочетается физиологической стороной отношений и стремительным увеличением семьи, которое делает и без того

сложные материальные и финансовые трудности неразрешимыми. Но не только осознание или ощущение ребенком семейных проблем приводит к трагедии. Джуд Младший не зря получил свое прозвище: буквально первое, что сообщает нам Гарди об этом ребенке, – его лицо, похожее «на маску Мельпомены» [Hardy 1986: 347], он с самого начала жизни обладает обостренной чувствительностью ко всему неправильному и плохому в этом мире. Дедушка Время – символ поступи рока, судьбы в задыхающемся от несовершенств мире. Отсылка Гарди к Мельпомене, к театру, позволяет продолжить проведение параллели между мальчиком и Гамлетом (подробнее об этом см. исследование Ф. А. Абиловой: [Абилова 2015]), герой словно задает тот же самый вопрос, что интересовал шекспировского героя, но выбор ответа для него однозначен: «Не быть». Его поступок (самоубийство, убийство брата и сестры и даже его предсмертная записка «Done because we are too menny» [Hardy 1986: 410]) – это, как справедливо замечает С. Уоттс, «скептическая, сардоническая контратака на религиозные и – во многом – сентиментальные представления о морали ребенка» [Watts 1996: 89]. Исследователь не менее прав и в том, что Дедушка Время похож на Поля Домби (оба мальчика повзрослели раньше времени), но если Поль, умирая, уходит на небо, к матери, то маленький Джуд бежит от ужасов этого мира (выделено нами. – В. Б.) [ibid.]. Отчасти смерть ребенка, как и в случае с Тэсс, становится предвестием смерти родителя, однако в «Джуде Незаметном» речь идет не о завершении жизненного пути, когда прекращаются страдания, а, напротив, о невозможности такого завершения, неразрешенности проблем, сделавших жизнь героя невыносимой. Как отмечает Ф. А. Абилова, финал романа «Джуд Незаметный» можно охарактеризовать как открытый: «...смерть главного героя в «Джуде Незаметном» завершает фабульную линию. Но незавершенными остаются все намерения Джуда: терпят крах его университетские притязания и занятия богословием, рушатся надежды на счастливую семейную жизнь... Завершающие роман слова Арабеллы о необходимости поиска нового спутника жизни, ее пророчество о будущих страданиях Сью выявляют незавершенность противоречий действительности в рамках данного сюжета. Изображенные события указывают на неразрешимость жизненной драмы, на невозможность восстановления гармоничного бытия, транслируя нерешенную проблему за пределы произведения и побуждая вдумчивого читателя к размышлениям» [Абилова 2014: 78].

Трагическая судьба и гибель юного героя романа Мэри Корелли «Могучий атом» (Marie Co-

relli “The Mighty Atom”, 1896) во многом перекликается с судьбами героев викторианского романа: Полем Домби, Уильямом Карлайлом, есть также переклички с романом «Испытания Ричарда Фэверелла» Дж. Мередита. Лайонел – жертва невыносимо сурового образовательного эксперимента отца. Мальчик почти все время проводит за занятиями (несмотря на каникулярное время), при этом не обращает внимание на то, как такие нагрузки влияют на здоровье ребенка. Мистер Уолискерт крайне своеобразно подходит и к духовному, нравственному воспитанию сына: Лайонелл, по замыслу отца, должен вырасти атеистом, полагающим единственной опорой человека – науки (главным образом, точные). Вид ребенка, лишенного простых детских радостей (отдыха, развлечений, права на безобидную шалость, друзей, просто свежего воздуха и физических нагрузок), невыносим даже его педагогам: в начале романа от Лайонела изгнан его первый учитель, посмеявшийся вступить за мальчика. Он не уезжает далеко, чтобы не оставлять своего воспитанника совсем одного. К тому же его преемник, производящий впечатление самого настоящего университетского «дона» (сурового аскета от науки), попадает под обаяние Лайонела. Он в первый же день пребывания к месту новой работы видит, что портрет невежественного лентяя, склонного к капризам и лицемерию, каким Лайонел описал отец, бесконечно далек от истины. Перед ним предстает более чем умный, способный, хорошо воспитанный ребенок, которому приятно преподавать собственные научные идеи и достижения.

Тем не менее трагедия состоит в том, что Лайонел стремительно теряет всех, кого любит, и каждая его потеря – шаг к суициду (см.: [Coveney 1967: 180]). Вскоре после отъезда учителя Монтроуза мальчику предстоит разлука с матерью. Как и леди Изабел Карлайл, миссис Уолискерт покидает мужа. Интересно, что, в отличие от миссис Генри Вуд, Мэри Корелли рисует этот поступок героини не как трагическую ошибку, а как неизбежный шаг. Миссис Уолискерт не в состоянии больше оставаться с мужем, суровым, холодным, эгоистичным деспотом, всячески подавляющим ее волю. Трагизм ситуации состоит в том, что Лайонел (мать зовет его «Лилли») – одновременно причина распада семьи и первая и главная его жертва. Его мать страдает в том числе от того, что не может воспитывать ребенка так, как хочет. Она, может быть, и не разбирается в педагогике, не осознает важности регулярного образования для ребенка, но, как любая мать, знает то, что подсказывают ей инстинкт и любовь («Ты знаешь, ведь был малышом когда-то... Когда ты научился говорить, я не хотела, чтобы ты

учил уроки. Я хотела, чтобы ты играл все дни напролет и вырос большим и сильным...» [Corelli: IX]). Пренебрегая этим, муж грубо попирает ее материнские права. Не в силах помочь сыну, молодая женщина сперва отстраняется от воспитания. Для Лайонела она становится чем-то вроде старшей подруги: поддерживает сына, решившего прогулять занятия, и даже радуется, что мальчик способен послушаться отца, покрывает его. Но затем в жизни миссис Уолискурт появляется альтернатива несчастливому браку и она покидает сына, трогательно попрощавшись с ним.

Подчеркнем, что мысль о самоубийстве впервые появляется у Лайонелла после того, как он переживает смерть маленькой подруги Джасмин. С одной стороны, девочка, дочка кладбищенского сторожа, была для героя не просто единственным другом, но и отдушиной, представителем другого мира с совершенно иной философией. Джасмин, играющая среди могил, живущая на лоне природы, воспитанная в атмосфере сказок, таинственного, веры в Бога, чем-то напоминает героинь стихотворений Вордсворта. Даже знания, почерпнутые Лайонелом из книг, рядом с ней становятся живее, интереснее. Маленькой подруге он с удовольствием пересказывает книги по истории, и они придумывают увлекательные игры на сюжеты старинных мифов и сказаний. Когда Джасмин умирает (вероятно, от болезни), как ни тяжела была для Лайонела безвременная кончина единственного друга, она еще и демонстрирует ему несовершенство его внутреннего мира. Мальчик видит, что отец погибшей где-то черпает силы, чтобы пережить утрату единственной дочери, что-то не дает его сердцу разорваться от горя и осознания несправедливости судьбы. Лайонелу, воспитанному на атеистических принципах, не дано ни в чем черпать опору: «После смерти ничего нет!... Бога нет!... Есть только Атом, которому все равно!» [ibid.: XIII]. Об этом же он напишет в своем прощальном письме своему наставнику: «Я надеюсь, вы не будете думать обо мне плохо, но я перестал пытаться жить... Я не могу учиться, не зная зачем все это нужно... Для мальчиков, подобных мне, наверное, будет лучше, если их будут учить, что сначала был Бог, Он любит все и всех и однажды раскроет нам все тайны вселенной... нам так будет проще и мы будем счастливее...» [ibid.: XV].

Примечательно, что это послание, довольно длинное и схожее с последней «молитвой» ребенка Атому, адресовано учителю Лайонела профессору Кэдмэн-Гору, но не отцу мальчика. Лайонел оставляет последнее письмо и своему родителю тоже, но в нем он объясняет причину своего поступка гораздо короче: «Я очень устал» [ibid.]. Вероятно, Лайонел прекрасно осознавал

реакцию отца на его смерть. И не ошибся: «временное помешательство», «весь в мать», «Любовь – лишь фигура речи», – вот слова, которыми, вкупе с «иронической улыбкой», мистер Валлискур провожает сына в последний путь [ibid.]. Таким образом, финал романа оказывается ближе не к «Домби и сыну» Диккенса, а к «Испытаниям Ричарда Фэверела» Дж. Мередита. Если мистер Домби, хотя и не сразу, но все-таки «перевоспитывается» жизнью и обстоятельствами (и смерть сына играет не последнюю роль в его перерождении, Поль присутствует в воспоминаниях отца, которые тревожат душу коммерсанта и понемногу наставляют его на путь истинный), то у Корелли, как и у Мередита, смерть ребенка воспитывает прежде всего читателя, но никак не родителя. Как помним, то же самое мы можем сказать и о романе «Джуд Незаметный», где гибель маленьких детей уж точно не изменит основных законов миропорядка.

Таким образом, смерть ребенка как сюжетный ход в викторианском романе неизменно символична. За редким исключением ребенку «мешает» остаться в этом мире проблема: социальная, экономическая, педагогическая или психологическая. В середине XIX в. в так называемых социальных романах демонстрируется неизбежная смерть ребенка в результате несовместимых с жизнью условий существования. Так, детская смерть становится еще одним компонентом реалистичного, правдивого изображения действительности, а также, особенно у Ч. Диккенса, «поводом» прямого обращения к читателю, способом воздействия на него. Ближе к концу века писатели все чаще прибегают к изображению ситуации, когда судьба «изымает» ребенка из семьи у родителей, не заслуживших быть таковыми, либо ребенок сам по своей воле или по воле автора уходит из жизни по тем же причинам. Как и в социальном романе, смерть ребенка продолжает оставаться в большей мере компонентом тематики и проблематики произведения (как, например, ситуация физической слабости и, как следствие, смерти незаконнорожденного), но одновременно она выполняет дополнительные функции, в частности, становится средством раскрытия образа персонажей. Например, смерть ребенка дополняет образ «неадекватного» родителя, символически демонстрируя его несостоятельность. На рубеже веков, акцентируя в своем творчестве проблему детского суицида, писатели глубже проникают в психологию ребенка, показывая, как его восприятие мира, оценки происходящего и размышления над окружающей действительностью подталкивают его на путь отказа от жизни.

Вместе с тем смерть ребенка, горечь его потери может парадоксальным образом «очищать»,

освобождать его друзей и родных от недостатков, неправильных жизненных установок, открывая перед ними новые горизонты, знаменуя новый этап в их жизни. Так писатели подчеркивают парадоксальность действительности, многогранность и противоречивость человеческой жизни. Сопереживая безвременно ушедшему ребенку и его близким, читатель яснее видит не только несовершенство мира, но и имеющиеся у каждого возможности хотя бы немного это несовершенство исправить.

Список литературы

Абилова Ф. А. Викторианский роман и Уэссекские романы Т. Гарди: поэтика финала // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2014. № 1(25). С. 72–80.

Абилова Ф. А. Мотив безумия в романе Т. Гарди «Джуд Незаметный» как шекспировская реминисценция // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 11–4 (42). С. 6–8.

Артемова М. В., Попова М. М. Детские образы в творчестве У. Шекспира и Ч. Диккенса // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2014. № 4. С. 48–52.

Бабук А. В. Структура феномена детства в творчестве Ч. Диккенса и Ф. М. Достоевского // Вестник Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. 2015. № 3(200). С. 50–60.

Бабук А. В. Мотив детского страдания в контексте англикано-протестантской этики Ч. Диккенса и христологии Ф. М. Достоевского // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2016. № 3(94). С. 31–34.

Бячкова В. А. «Граница» детства в викторианском романе // Мировая литература в контексте культуры. 2015. № 4(10). С. 25–32.

Бячкова В. А. «Ист Линн» миссис Генри Вуд: проблемы семьи и брака в викторианском «сенсационном» романе // Мировая литература в контексте культуры. 2012. № 1(7). С. 43–50.

Бячкова В. А. Образ незаконнорожденного в викторианской литературе // Мировая литература в контексте культуры. 2014. № 3(9). С. 16–23.

Бячкова В. А. О парадоксе женских и детских образов в романах Ч. Диккенса: к постановке проблемы // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2016. Вып. 1(33). С. 86–92.

Гнюсова И. Ф. Совершенствующаяся героиня в творчестве Дж. Элиот и Л. Н. Толстого // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 369. С. 17–24.

Гордиенко О. В. Влияние идей дарвинизма на творчество Томаса Гарди // Ежегодная богослов-

ская конференция православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2007. № 17, т. 2. С. 107–110.

Гордиенко О. В. Мотив вырождения в романе Т. Гарди «Тэсс из рода Д'Эрбервиллей» // Ежегодная богословская конференция православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2009. № 19, т. 2. С. 114–117.

Дворяшина Н. А. О детях, которых «некому любить» (тема детства на страницах литературно-художественных изданий рубежа XIX–XX вв.) // Мировая словесность для детей и о детях. 2005. Вып. 10, ч. 1. С. 25–35.

Дворяшина Н. А. Феномен детской смерти в творчестве Ф. Сологуба // Мировая словесность для детей и о детях. 2004. Вып. 9, ч. 2. С. 302–311.

Диккенс Ч. Домби и сын // Диккенс Ч. Собр. соч.: в 30 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1959. Т. 13. 535 с.

Диккенс Ч. Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим // Диккенс Ч. Собр. соч.: в 30 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1959. Т. 15. 525 с.

Диккенс Ч. Холодный дом. Роман (Главы I – XXX) // Диккенс Ч. Собр. соч.: в 30 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1960а. Т. 17. 564 с.

Диккенс Ч. Холодный дом. Роман (Главы XXXI – LXVII) // Диккенс Ч. Собр. соч.: в 30 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1960б. Т. 18. 580 с.

Ивашова В. Английский реалистический роман XIX в. в его современном звучании. М.: Худож. лит., 1974. 464 с.

Сильман Т. Диккенс. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1958. 508 с.

Шамина Н. В. Трактовки образа Доротеи Брук и проблема женского самосознания в романе Дж. Элиот «Миддлмарч» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 5–1(83). С. 40–44.

Alvarez A. *Jude the Obscure* // Hardy. The Collection of Critical Essays. New Jersey ect.: Prentice Hall International, Englewood Cliffs, 1963. P. 113–122.

Beer P. *Reader, I married Him, A Study of the Women Characters of Jane Austen, Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell and George Eliot.* L.: The Macmillan Press, 1974. 213 p.

Bronte Ch. *Jane Eyre.* Moscow: Jupiter-Inter, 2005. 432 p.

Corelli M. *The Mighty Atom.* URL: <http://manybooks.net> (дата обращения: 01.05.2018).

Coveney P. *The image of Childhood.* L.: Penguin Books, 1967. 361 p.

Dickens Ch. *A Tale of Two Cities.* L.: GE Fabbri Ltd., 2003. 431 p.

Eliot G. *Silas Marner.* L.: Wordsworth Classics, 1999. 160 p.

Eliot G. Middlemarch. L.: Penguin Books, 1994. 795 p.

Federico A.R. David Copperfield and the Pursuit of Happiness // Victorian Studies. Vol. 46, № 1. 2003. P. 69–95.

Flanders J. Victorian House. L.: Harper Perennial, 2004. 476 p.

Gaskell E. Lizzie Leigh. Gutenberg Project: 2005. URL: <http://www.gutenberg.org/files/2521-/2521-h/2521-h.htm> (дата обращения: 01.05.2018).

Gaskell E. Mary Barton. Gutenberg Project: 2013. URL: <http://www.gutenberg.org/files/2153-/2153-h/2153-h.htm> (дата обращения: 01.05.2018).

Humpherys A. Breaking apart: the early Victorian Divorce Novel // Victorian Women Writers and the Women Question. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 42–60.

Hardy T. Jude the Obscure. L.: Penguin Books, 1986. 511 p.

Hardy T. Tess of the D'Urbervilles. L.: Penguin Books, 1978. 535 p.

Henry N. George Eliot and the British Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 182 p.

Langland E. Women's writing and the domestic sphere // Women and Literature in Britain, 1800–1900 / ed. by J. Shattock. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 119–142.

Watts C. Thomas Hardy. Jude the Obscure. L.: Penguin Books, 1996. 132 p.

Wood Mrs. Henry East Lynne. Gutenberg Project: 2016. URL: <http://www.gutenberg.org/files/3322/3322-h/3322-h.htm> (дата обращения: 01.05.2018).

References

Abilova F. A. Viktorianskiy roman i Uessekskie romany T. Gardi: poetika finala [The Victorian novel and Wessex novels by Th. Hardy: poetics of finale]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2014, issue 1(25), pp. 72–80. (In Russ.)

Abilova F. A. Motiv bezumiya v romane T. Gardi 'Dzhud nezametnyy' kak shekspirovskaya reministsentsiya [The motif of madness in Th. Hardy's novel 'Jude the Obscure' as a reference of Shakespeare]. *Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal* [International Research Journal], 2015, issue 11–4(42), pp. 6–8. (In Russ.)

Artemova M. V., Popova M. M. Detskie obrazy v tvorchestve U. Shekspira i Ch. Dikkensa [Children's images in Shakespeare's and Dickens' works]. *Izvestiya Vysshikh uchebnykh zavedeniy. Problemy poligrafii i izdatel'skogo dela* [Proceedings of the Institutions of Higher Education. Issues of the Graphic Arts and Publishing], 2014, issue 4, pp. 48–52. (In Russ.)

Babuk A. V. Struktura fenomena detstva v tvorchestve Ch. Dikkensa i F. M. Dostoevskogo [The structure of the childhood phenomenon in Ch. Dickens' and F. M. Dostoevsky's works]. *Vestnik Grodzenskaga dzyarzhaynaga yuniversiteta imya Yanki Kupaly. Seryya 3. Filalogiya. Pedagogika. Psihologiya* [Vestnik of Yanka Kupala State University of Grodno. Series 3. Philology. Pedagogy. Psychology], 2015, issue 3(200), pp. 50–60. (In Russ.)

Babuk A. V. Motiv detskogo stradaniya v kontekste anglikano-protestantskoy etiki Ch. Dikkensa i khristologii F.M. Dostoevskogo [The motif of children's sufferings in Anglican-Protestant context of Ch. Dickens and F. Dostoevsky's Christology]. *Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. Yaroslava Mudrogo* [Vestnik of Yaroslav the Wise Novgorod State University], 2016, issue 3(94), pp. 31–34. (In Russ.)

Byachkova V. A. 'Granitsa' detstva v viktorianskom romane [The 'boundaries' of childhood in the Victorian novel]. *Mirovaya literatura v kontekste kul'tury* [World Literature in the Context of Culture], 2015, issue 4 (10), pp. 25–32. (In Russ.)

Byachkova V. A. 'Ist Linn' missis Genri Vud: problemy sem'i i braka v viktorianskom 'sensatsionnom' romane ['East Lynne' by Mrs. Henry Wood: the problems of family and marriage in the Victorian 'sensational' novel]. *Mirovaya literatura v kontekste kul'tury* [World Literature in the Context of Culture], 2012, issue 1(7), pp. 43–50. (In Russ.)

Byachkova V. A. Obraz nezakonno-rozhdennogo v viktorianskoy literature [The image of an illegitimate child in the Victorian literature]. *Mirovaya literatura v kontekste kul'tury* [World Literature in the Context of Culture], 2014, issue 3(9), pp. 16–23. (In Russ.)

Byachkova V. A. O paradokse zhenskikh i detskikh obrazov v romanakh Ch. Dikkensa: k postanovke problemy [On the paradox of women's and children's images in Charles Dickens' novels]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2016, issue 1(33), pp. 86–92. (In Russ.)

Gnyusova I. F. Sovershenstvuyushchayasya geiroinya v tvorchestve Dzh. Eliot i L. N. Tolstogo [Self-Reflective female character in George Eliot's and Leo Tolstoy's works]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta* [Tomsk State University Journal], 2013, issue 369, pp. 17–24. (In Russ.)

Gordienko O. V. Vliyanie idey darvinizma na tvorchestvo Tomasa Gardi [The influence of Ch. Darwin's ideas on the works by Thomas Hardy]. *Ezhegodnaya bogoslovskaya konferentsiya pravoslavnogo Svyato-Tihonovskogo gumanitarnogo universiteta* [Annual Theological Conference of Saint Tikhon's Orthodox University of Humanities], 2007, issue 17, vol. 2, pp. 107–110. (In Russ.)

- Gordienko O. V. Motiv vyrozhdeniya v romane T. Gardi 'Tess iz roda D'Erbervilly' [The Motive of degeneration in 'Tess of the D'Erbervilles' by T. Hardy]. *Ezhegodnaya bogoslovskaya konferentsiya pravoslavnogo Svyato-Tihonovskogo gumanitarnogo universiteta* [Annual Theological Conference of Saint Tikhon's Orthodox University of Humanities], 2009, issue 19, vol. 2, pp. 114–117. (In Russ.)
- Dvoryashina N. A. O detyakh, kotorykh 'nekomu lyubit' (tema detstva na stranitsakh literaturno-khudozhestvennykh izdaniy rubezha 19–20 vv. [On children who have nobody to love them (the motif of childhood on the pages of literary fiction publications at the turn of the 19th–20th centuries)]. *Mirovaya slovesnost' dlya detey i o detyakh* [World literature for children and about children], 2005, issue 10, part 1, pp. 25–35. (In Russ.)
- Dvoryashina N. A. Fenomen detskoy smerti v tvorchestve F. Sologuba [The phenomenon of children's death in the works by F. Sologub]. *Mirovaya slovesnost' dlya detey i o detyakh* [World literature for children and about children], 2009, issue 9, part 2, pp. 302–311. (In Russ.)
- Dickens Ch. Dombi i syn [Dombey and Son]. *Sobraniye sochineniy v 30 tomakh*. [Collected works in 30 vols.]. Moscow, Gos. izd-vo khudozhestvennoy literaturnoy Publ., 1958, vol. 13. 535 p. (In Russ.)
- Dickens Ch. Zhizn' Devida Kopperfil'da, rasskazannaya im samim [David Copperfield]. *Sobranie sochineniy v 30 t.* [Collected works in 30 vols.]. Moscow, Gos. izd-vo khudozhestvennoy literaturnoy Publ., 1958, vol. 15. 525 p. (In Russ.)
- Dickens Ch. Kholodnyy dom. Roman (Glavy 1–30) [Bleak House. A Novel. Chapters 1–30]. *Sobranie sochineniy v 30 t.* [Collected works in 30 vols.]. Moscow, Gos. izd-vo khudozhestvennoy literaturnoy Publ., 1958, vol. 17. 564 p. (In Russ.)
- Dickens Ch. Kholodnyy dom. Roman (Glavy 31–67) [Bleak House. A Novel. Chapters 31–67]. *Sobranie sochineniy v 30 t.* [Collected works. 30 vols.]. Moscow, Gos. izd-vo khudozhestvennoy literaturnoy Publ., 1958, vol. 18. 580 p. (In Russ.)
- Ivashova V. *Angliyskiy realisticheskiy roman 19 v. v ego sovremennom zvuchanii* [English realistic novel of the 19th century in its contemporary understanding]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1974. 464 p. (In Russ.)
- Sil'man T. *Dikkens* [Dickens]. Moscow, Gos. izdatelstvo khudozhestvennoy literaturnoy Publ., 1958. 508 p. (In Russ.)
- Shamina N.V. Traktovki obraza Dorotei Bruk i problema zhenskogo samosoznaniya v romane Dzh. Eliot 'Middlemarch' [Interpretations of Dorothea Brooke's image and the problem of women's self-consciousness in George Eliot's novel 'Middlemarch']. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki* [Philological Sciences. The Questions of Theory and Practice], 2018, issue 5–1(83), pp. 40–44. (In Russ.)
- Alvarez A. *Jude the Obscure. Hardy. The collection of critical essays*. New Jersey etc., Prentice Hall International, Englewood Cliffs, 1963, pp. 113–122. (In Eng.)
- Beer P. *Reader, I married him, a study of the women characters of Jane Austen, Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell and George Eliot*. L., The Macmillan Press, 1974. 213 p. (In Eng.)
- Bronte Ch. *Jane Eyre*. Moscow, Jupiter-Inter, 2005. 432 p. (In Eng.)
- Corelli M. *The mighty atom*. Available at: <http://manybooks.net> (accessed 01.05.2018). (In Eng.)
- Coveney P. *The image of childhood*. L., Penguin Books, 1967. 361 p. (In Eng.)
- Dickens Ch. *A tale of two cities*. L., GE Fabbri Ltd., 2003. 431 p. (In Eng.)
- Eliot G. *Silas Marner*. L., Wordsworth Classics, 1999. 160 p. (In Eng.)
- Eliot G. *Middlemarch*. L., Penguin Books, 1994. 795 p. (In Eng.)
- Federico A.R. David Copperfield and the pursuit of happiness. *Victorian Studies*, 2003, vol. 46, issue 1, pp. 69–95. (In Eng.)
- Flanders J. *Victorian house*. L., Harper Perennial, 2004. 476 p. (In Eng.)
- Gaskell E. *Lizzie Leigh*. Gutenberg Project: 2005. Available at: <http://www.gutenberg.org/files/2521-/2521-h/2521-h.htm> (accessed 01.05.2018). (In Eng.)
- Gaskell E. *Mary Barton*. Gutenberg Project: 2013. Available at: <http://www.gutenberg.org/files/2153/2153-h/2153-h.htm> (accessed 01.05.2018). (In Eng.)
- Humpherys A. *Breaking apart: the early Victorian divorce novel. Victorian women writers and the women question*. Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 42–60. (In Eng.)
- Hardy T. *Jude the Obscure*. L., Penguin Books, 1986. 511 p. (In Eng.)
- Hardy T. *Tess of the D'Urbervilles*. L., Penguin Books, 1978. 535 p. (In Eng.)
- Henry N. *George Eliot and the British Empire*. Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 182 p. (In Eng.)
- Langland E. Women's writing and the domestic sphere. *Women and literature in Britain, 1800–1900*. Ed. by J. Shattock. Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 119–142. (In Eng.)
- Watts C. *Thomas Hardy. Jude the Obscure*. L., Penguin Books, 1996. 132 p. (In Eng.)
- Wood Mrs. *Henry East Lynne*. Gutenberg Project: 2016. Available at: <http://www.gutenberg.org/files/3322/3322-h/3322-h.htm> (accessed 01.05.2018). (In Eng.)

THE DEATH OF A CHILD AS A PLOT DEVICE IN THE VICTORIAN NOVEL

Varvara A. Byachkova

Associate Professor in the Department of World Literature and Culture

Associate Professor in the Department of English Professional Communication

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. bvarvara@yandex.ru

SPIN-code: 3824-4807

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3617-4902>

ResearcherID: N-1904-2016

Submitted 16.01.2019

The subject matter of the article is the death of a child in the Victorian novels from Charles Dickens, Charlotte Brontë, and Elizabeth Gaskell to the writers of the end of the century, who reconsider and rework the Victorian tradition according to the demands of time (Thomas Hardy, Marie Corelli). During the first half of the 19th century, the child is depicted as a victim of the adults. In ‘social novels’, the child becomes a victim of the unfair society (characterized by poverty of certain classes, difficult living conditions, unemployment, family abuse etc.). In other cases, the wrong pedagogical system applied to the child is to blame. However, there are novels which show a child’s death as a problem of their parent’s inner disorder (or just unhappiness). This picture can be seen mostly in the novels of the second part of the century (George Eliot’s novels, for instance). Something makes the characters of the novel unfit to be good parents and they are not ‘allowed’ to have a child until their problems are solved. The death of a child can also serve as a mark separating one part of the novel from another. In such cases death is a controversial phenomenon: the mother is devastated with grief, but, at the same time, the new ways, perspectives and hopes are in front of her now, when the child is gone. This is especially typical with the death of illegitimate children (like in the novels of T. Hardy or Mrs. Henry Wood). Such a problem as a child’s suicide, which appeared on the pages of novels by the end of the 19th century, is also under analysis. It seems that writers in many countries ‘discover’ children suicide at this period of time, and English writers are no exception (for instance, T. Hardy or M. Corelli). The child takes his own life, which is a form of protest against the cruel reality. The reality causes an inner conflict of a little soul, which cannot be settled in any other way than killing oneself.

Key words: novel; child; death; suicide; Victorian literature.

УДК 82.01

doi 10.17072/2073-6681-2019-3-111-122

SIMULTANEITÀ, SIMULTANÉISME, SIMULTANÉITÉ: КОНЦЕПЦИЯ СИМУЛЬТАННОСТИ И ЕЕ МОДИФИКАЦИИ В АВАНГАРДИСТСКОЙ ЭСТЕТИКЕ

Ника Вениаминовна Голубицкая

аспирант кафедры истории зарубежной литературы

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1. nikagolubitskaya@gmail.com

SPIN-код: 1967-2666

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3170-9616>

ResearcherID: Y-1672-2019

Статья поступила в редакцию 11.06.2019

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Голубицкая Н. В. Simultaneità, Simultanéisme, Simultanéité: концепция симультанности и ее модификации в авангардистской эстетике // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 111–122. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-111-122

Please cite this article in English as:

Golubitskaya N. V. Simultaneità, Simultanéisme, Simultanéité: kontseptsiya simul'tannosti i ee modifikatsii v avangardistskoy estetike [Simultaneità, Simultanéisme, Simultanéité: Conception of Simultaneity and Its Modifications in the Avant-Garde Aesthetics]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 3, pp. 111–122. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-111-122 (In Russ.)

В статье проводится анализ основных ипостасей «симультанного искусства», выявляются философские и научные источники термина, а также прослеживаются этапы становления идеи. Симультанность рассматривается как универсальная авангардистская категория, позволяющая восстановить историко-культурный контекст эпохи и проследить трансформацию авангардистской эстетики. В поэтический дискурс это понятие вводит Стефан Малларме: он обращает внимание на то, что специфическая визуальная конфигурация стиха дает возможность обеспечить «целокупное видение страницы» и одновременное восприятие последовательно развивающихся фрагментов текста. Согласно воззрениям представителей интегрализма и группы Аббатства Кретей, симультанность выступает синонимом «универсального ритма», пронизывающего «монистическую Вселенную», который отражает в своем произведении поэт. Унанимизм же обращается к ритму урбанистического пространства и ощущению субъектом синхронизованного движения городской толпы. Центральным принципом футуризма, связанным с симультанностью, является «эстетизация скорости»: художники стремятся создать «опространствленное» время в плоскости холста, передать динамику с помощью дислокации предметов, поэты – создать быстрый, «телеграфный» стиль, имитирующий движение «вихрей электронов». Того же синтетического восприятия ищет Робер Делоне, но динамика создается им с помощью контраста цветов. Симультанность книги Сони Делоне и Блеза Сандрара задается, во-первых, техникой «симультантных контрастов», во-вторых – особым поэтическим ритмом и визуальной конфигурацией стихов. Концепция «симультаннизма» Анри-Мартен Барзэна подразумевает одновременную рецитацию стихов несколькими чтецами и драматизацию поэзии. Наконец, для дадаистов симультанность становится способом освобождения чтения / восприятия от диктатуры языковой логики, навязываемой линейным развитием текста.

Ключевые слова: симультанность; авангард; дадаизм; футуризм; Аполлинер; Барзэн; Малларме; Маринетти; Тцара.

Важным признаком авангардистского искусства является универсальность его концептов. Эстетические категории транспонируются из одной сферы в другую, что с неизбежностью приводит к расширению объема понятий. Феномен «симультанности» является показательным для эпохи: за одним и тем же термином скрываются разнородные, зачастую несовместимые по своей интенции художественные явления [см.: Decaudin 1993; Jenny 2002; Krzywkowski 2006]¹. Исследование отдельных модальностей симультанности позволяет выяснить, какие сущностные характеристики вызывали разногласия ее адептов в их теориях.

Разногласия обнаружились уже в ходе развернувшейся в 1913–1914 гг. полемики о том, кто являлся автором концепции [Somville 1971; Shattuck 1954; Sidoti 1987]. Инициатором дискуссии был Умберто Боччони, который в своей статье *Simultanéité futuriste*, напечатанной в журнале *Der Sturm*, утверждал преемственность живописи Робера Делоне по отношению к находкам футуристов в области симультанности – «ключевого элемента футуристической чувствительности» [Bocconi 1913: 151]. Весной-летом 1914 г. спор разгорелся уже по поводу первенства в создании литературного варианта симультанного искусства – между Анри-Мартен Барзеном и Гийомом Аполлинером (против Барзена выступали также Никола Бодюэн, Блез Сандрар и Робер Делоне).

Под концепцией «симультанности» авангардисты понимают разнородные идеи: от отражения феномена слитного восприятия, способствующего изменению темпоральности текста, до синтеза искусств и акцентирования материальности поэтического языка – его фонетических и графических ресурсов. Все модификации симультанности при этом вводят различные формы трансгрессии: по отношению к кодифицированному поэтическому ритму или правилам перспективы, к идее репрезентативности искусства, к последовательному развертыванию нарратива или самого акта чтения, наконец – к языковой логике и установленной системе значений.

Аполлинер в одной из последних статей, посвященных вопросу, заключает, что «идея [симультанности] витала в воздухе» [Apollinaire 1991: 981]; то же отмечает критик Де Буа из *Gil Blase*, иронически обыгрывая семантику термина: «симультанизм родился симультанно, в один и тот же день и час, в судебном ведомстве всех симультанистов» [Vois 1912: 3]. Ставшая литературным мифом авангардистской эпохи «симультанность» оказала значительное воздействие на художественно-литературный контекст авангарда.

Трактовка симультанности в работах футуристов и генеалогия термина

Синтетичность концепции в первую очередь определяется влиянием философских и научных концепций различного толка: закона цветового восприятия Мишеля-Эжена Шеврёля, философии космизма, бергсоновской теории времени, теории «потока сознания» Уильяма Джеймса, теории относительности (и в особенности идеи «четвертого измерения»), а также открытий в области теории атомов. Разветвленная генеалогия привела к формированию различных перспектив внутри «симультанного искусства».

Симультанность входит в активный словарь футуристов после публикации предисловия к каталогу первой выставки художников-футуристов в феврале 1912 г. Именно благодаря этому манифесту слово *simultaneità*, означающее в итальянском «одновременность» (как и *simultanéité* во французском), приобретает статус эстетического термина. Согласно манифесту, цель футуристического произведения искусства – «отражать одновременность состояний души» [Маринетти 1914: 142].

Эта цитата обнаруживает явное влияние учения Уильяма Джеймса, чьи тексты в 1908–1910 гг. переводили для журнала *La Voce* флорентийские литераторы Джованни Паппини и Джузеппе Преколини, близкие к миланскому кругу футуристов. Интуиции Джеймса о принципиальной неразложимости «потока сознания» на элементы и об отсутствии логических связей между воспринимаемыми феноменами близки к постулируемой художественным футуризмом концепции «взаимопроникновения планов», сформулированной Боччони еще в «Манифесте футуристических живописцев» (1910) и повлиявшей позже на формирование тезиса о «беспроволочном воображении» в манифесте «Уничтожение синтаксиса. Беспроволочное воображение и освобожденные слова» Маринетти (1913).

В предисловии к каталогу выставки футуристов 1912 г. есть еще одно важное определение «симультанности», расширяющее семантику термина: симультанность – это «одновременность окружающей среды и, следовательно, дислокация и расчленение предметов» [там же]. Эта формулировка обнаруживает другой философский источник, общий для всех симультанистов, – теорию Анри Бергсона. Бергсон вводит понятие «одновременности» (*simultanéité*) в «Опыте о непосредственных данных сознания» (1889) и последовательно развивает его в «Материи и памяти» (1896). Согласно Бергсону, чтобы постичь идею изменения во времени, человек с неизбежностью осуществляет проекцию времени на пространство (которая и является, по Бергсону, «од-

новременностью»); при проекции различные элементы перцепции оказываются соположенными на одном уровне в пространстве. Из учения Бергсона футуристы восприняли идею взаимобусловленности между категориями одновременности и множественности. Футуристы-живописцы изображают следующие друг за другом моменты движения соположенными в едином пространстве холста, а футуристы-поэты, разрушая «типографскую гармонию страницы» [Маринетти 1914: 146], располагают элементы текста так, что сама их композиция сопротивляется линейному прочтению, т. е. последовательному развертыванию текста во времени. В обоих случаях происходит «опространствление» времени. Симультанность становится, таким образом, синонимом нового типа темпоральности в производстве искусства.

Изображение изменения во времени за счет компоновки разных перспектив восприятия предмета было предпринято в живописи еще кубистами. Однако взаимопроникновение разновременных отрезков, определяющее новую темпоральность произведения, связано еще с одним аспектом футуристической программы – «эстетизацией скорости» [там же: 92]. Скорость определяет формирование нового типа «футуристической чувствительности», которому соответствует симультанность. Так, по Боччони, симультанность – это «...пластическая манифестация нового Абсолюта: скорости; нового удивительного спектакля: современной жизни; новой лихорадки: научных открытий» [Sidotti 1975: 87]. Таким образом, не только особенности перцепции, но и скорость, в которую «погружен» человек в новом урбанистическом пространстве, преобразенном технической революцией, порождает необходимость в адекватном «одновременном» отражении в искусстве.

Понимание «удивительного спектакля современной жизни» как предпосылки к зарождению нового типа чувствительности свидетельствует о влиянии унаимизма на футуризм². В «Единодушной жизни» (1908) Жюль Ромен изображает чувствительность субъекта, преобразенную коллективным опытом толпы – «лирический экстаз растворения во множестве, погружения в групповой ритм» [Romain 1983: 18]. При этом машина показана как источник, порождающий ритм городского пространства и трансформирующий чувствительность субъекта. Так, в поэтическом цикле «Динамизм» Ромен создает образ пассажиров, превращаемых движением автобуса в «символы всемирной вибрации» [ibid.: 102]. Боччони в «Манифесте футуристских живописцев» рисует образ (к которому он неоднократно возвращается позже, чтобы пояснить интерпре-

тацию симультанности в футуризме), очень близкий к поэтике Ромена: «Шестнадцать лиц, которые находятся вокруг нас в катящемся автобусе, поочередно и разом бывают одним, десятью, четырьмя, тремя; они неподвижны и перемещаются; они приходят, уходят, прыгают на улицу, внезапно пожираемые солнцем, потом возвращаются и садятся перед вами, как сохраняющиеся символы всемирной вибрации» [Маринетти 1914: 126].

Показательно и упоминание Боччони «научных открытий» как источника симультанного искусства. В современной авангарду науке формируется модель, соответствующая философскому постулату одновременности как «опространствленного» времени, – концепция четвертого измерения. Аполлинер в статье «О живописи» говорит о влиянии «открытия четвертого измерения» на живопись кубизма и футуризма: «оно отражает необъятность пространства, простирающегося в определенном моменте во всех направлениях» [Apollinaire 1965: 51–52], – точно так же, по мысли Аполлинера, «простирается во всех направлениях» пространство, заключенное в фиксированном моменте внутри картин кубистов и футуристов.

«Технический манифест футуристической литературы» Маринетти обнаруживает источник футуристической симультанности в другой области научных исследований. Маринетти говорит о том, что «обновление человеческой чувствительности», произошедшее «под влиянием новых научных открытий», привело к «лирическому наваждению материей». Современный поэт, угадывающий «направляющие порывы материи», хочет выразить «окружающее его движение атомов», а ритм его поэзии продиктован движением «кучи молекул» и «вихрями электронов». «Освобожденные слова», не подчиненные ни метрической, ни типографской гармонии, становятся, таким образом, поэтическим аналогом стихийности «молекулярной жизни» [Маринетти 1914: 167–175].

Гипотеза универсального ритма: влияние эстетики групп 1900-х гг. на авангардистскую симультанность

Открытия в области теории атомов повлияли на формирование сквозной в постсимволистской поэзии идеи «универсального ритма». Открытия Томсона, свидетельствующие о том, что атом не является элементарной частицей, но состоит из электронов, которые находятся в постоянном движении, в поэтическом осмыслении получило развитие в форме идеи о присутствии в мире некоего постоянного ритма. А проведенная Резерфордом аналогия между структурой атома и пла-

нетарной системой способствовала дальнейшему восприятию этого ритма как некоей тотальной космической силы, которая воздействует на весь Универсум. Эти идеи оказали непосредственное влияние на полемику о симультанности 1910-х гг. [Krzywkowski 2006, 131–151]. Так, помимо вышеупомянутой цитаты Маринетти, явную преемственность по отношению к ним обнаруживает высказывание Барзена в «Эре драмы» – книге, в которой зарождается его теория симультанизма: «Современная теория атомов, ионов и волн указала нам на то, что Вселенная, не имеющая границ, перемешивает в одном порыве все, что ее составляет» [Barzun 1912: 27].

Барзен был одним из учредителей группы Аббатства, к которой был близок и Маринетти в начале своей поэтической карьеры. Литературные объединения, возникшие на обломках символизма в первое десятилетие XX в., – интегрализм, пароксизм, импульсионизм, группа Аббатства и унанимизм – оказали непосредственное эстетическое влияние на полемику авангардистских групп 1910-х гг., в частности, в связи с «космической гипотезой универсального ритма» [Rousille 1905: 13], о которой пишет интегралист Жак Руссий в произведении с говорящим названием «В начале был ритм». Зарождающиеся на рубеже веков теории поэтического ритма мыслят «тотальное произведение» как отражение единства Универсума, взаимозависимости и взаимопроникновения составляющих его частей. Так, Рене Аркос, один из основателей группы Аббатства, в предисловии к «Трагедии пространства» пишет: «Мы верим в монистическую Вселенную. Мы верим в *Universum perpetuum mobile*» [Arcos 1906: 25].

Рене Гиль и Стефан Малларме: основоположники поэтической симультанности

Вместе с тем большинство теорий в духе «поэтического космизма» эксплицитно или имплицитно отсылают к центральному трактату эпохи – «Трактату о слове» Рене Гиля. Согласно Гилю, поэзия «внушает законы, которые упорядочивают и сводят воедино Тотальную Сущность мира», «эволюционируя согласно тем же ритмам»; причем «РИТМЫ» в поэзии «имитируют «Ритм Универсума» [Ghil 1978: 46–47]. Именно Гиль впервые говорит о возможности заимствования фундамента для поэтической теории, потерявшей свою метрическую основу, в естественнонаучной области.

По всей видимости, повлияла на авангардистскую концепцию симультанности и теория «словесной оркестровки» Гиля, согласно которой каждая фонема соответствует отдельному оттен-

ку и звучанию музыкального инструмента. Симультанность в манифестах авангардистов часто выступает синонимом синестезии, подразумевающей наслаение нескольких разных перцептивных сем и детерминированной особенностями восприятия³. В более поздней редакции «Трактата» («От метода к произведению», 1904) Гиль говорит о двойной природе языка – «идеографической» и «фонетической» – благодаря которой в поэзии возникает некий «синтетический ритм» [Ghil 1904: 17–18], недоступный другим искусствам. «Синтетический ритм» – это не «универсальный ритм» космистов, так как он подразумевает не метафизическую основу, но задействование материальных ресурсов языка.

Авангард – наследник эстетики символизма с ее мечтой о тотальном и синтетическом искусстве. Кризис символистских ценностей приводит, однако, к тому, что концепция синтеза лишается своего идеалистического измерения и мыслится скорее технически: речь идет об универсализации приема. Так, Маринетти в «Разрушении синтаксиса» подчеркивает, что «лирическая симультанность одинаково занимает художников и поэтов футуризма» [Маринетти 1914: 180]. Карра в манифесте «Живопись звуков, шумов и запахов», определяя симультанность в живописи футуризма, говорит об «абстрактных полифонических и полиритмических единствах» [Маринетти 1914: 228], используя музыкальную терминологию для описания живописной техники. Боччони в «Техническом манифесте футуристической скульптуры» говорит о преемственности собственной реформы по отношению к «словам на свободе». Показателен в этом контексте и подзаголовок «эссе о современном поэтическом синтезе», который Барзен выбирает для «Эры драмы».

Синтетическая утопия 1910-х отличается от *Gesamtkunstwerk* одной важной характеристикой: на смену вагнерианской идее о взаимодополняющих элементах, приведенных в гармоническое соответствие, приходит идея о разрушении целостности произведения за счет совмещения техник разных искусств. Так, внедрение визуального кода в литературное произведение позволяет преодолеть необходимость последовательного линейного чтения и высвободить его от диктатуры языковой логики. Это ведет в свою очередь к появлению нескольких симультанно представленных стратегий восприятия произведения, которые являются конкурирующими.

Идею конкурирующих, симультанно представленных стратегий чтения впервые формулирует Стефан Малларме в предисловии к поэме «Бросок костей никогда не упраздняет случайность» (1897). Малларме пишет о «симультан-

ном видении поэтической страницы», которое должно возникнуть, с одной стороны, благодаря особой роли пробелов и воздействию пространственных категорий на процесс чтения, с другой – благодаря тому, что текст представляет собой своего рода «словесную партитуру» [Mallarmé 1945: 455]. Малларме раскрывает двойственный потенциал поэтического ритма (названный позднее Гилем «идеографическим» и «фонетическим»), апеллируя то к музыкальной организации текста («контрапункт», «партитура», «музыкальный концерт»), то к его зрительному восприятию (пробелы, обеспечивающие «опространствование⁴ чтения»). «Бросок костей» является основополагающим текстом для поэтической симультанности, на него ссылаются все ее теоретики: Маринетти в «Техническом манифесте», Аполлинер в статье «Наши друзья-футуристы», Тцара в послесловии к первой «симультанной поэме» «Адмирал ищет жилье для съёма»⁵.

С помощью выделенных Малларме особенностей текста можно описать две основные ветви поэтической симультанности. С одной стороны, универсализация языка поэзии связана с заимствованием техники живописных искусств в построении текстов, с другой, текстуальность, навязывающая последовательную логику восприятия, преодолевается авангардистами через акцентирование звуковой материи стиха и внедрение музыкальных приемов в организацию текста. Предисловие к «Броску» вкуче с теорией Гиля ставит под вопрос первенство живописных теоретиков в отношении возможностей создания симульного произведения⁶.

Живопись Робера Делоне: контраст как основа симульной эстетики

Живопись, однако, предлагает еще одну модель симульного искусства, не сводимую к композиционным находкам кубистов и футуристов. Симульные полотна Робера Делоне появляются, по его словам, как «реакция на кьяроскуро кубизма», как «манифестация цвета для цвета» [Delaunay 1957: 108–109]. Отвечая на претензии футуристов, Делоне отделяет свою эстетику от «последовательного динамизма» Боччони: его эксперименты связаны в первую очередь с феноменом цветового контраста и его воздействием на перцепцию. Делоне, как и Боччони, находится под влиянием «Данных о непосредственном сознании» Бергсона и стремится создать в своих картинах некое измерение опространственного времени; однако проекция времени на пространство холста осуществлялась им не за счет синтезированного изображения всех временных изменений в одном моменте, но за

счет подчинения всех элементов композиции идее контраста.

Разрабатывая концепцию «контраста», Делоне опирается на теорию Мишеля-Эжена Шевреля и, в частности, на его закон «симульного контраста цветов». Этот закон, приведший к переосмыслению концепции цвета в импрессионизме и постимпрессионизме, позже (в прочтении художников рубежа веков) повлиял на многих художников авангарда: так, о «пластическом комплементаризме, основанном на законе эквивалентных контрастов», говорит, например, Карра [Маринетти 1914: 228].

Живопись Делоне от других опытов отличает то, что он воспринимает закон не просто как колористическую технику, но делает его основой новой эстетики. Полотна Делоне изображают сам феномен восприятия, руководимого цветовым контрастом, а не отраженную реальность. Делоне воспроизводит аспект теории Шевреля, выходящий за границы трактовки цвета и имеющий феноменологическое значение: «Два разных объекта, помещенные один рядом с другим, при сопоставлении кажутся более несхожими, чем в реальности» [Chevreul 1839: 703]. Из этого Шеврель делает вывод о том, что качества не имманентны предмету, но формируются актом его сопоставления с другими предметами. Похожие интуиции есть в текстах Делоне: «...все приобретает ценность (оказывается видимым) за счет контраста, не существует фиксированного цвета, все наделяется цветом благодаря контрасту, благодаря движению» [Delaunay 1957: 115]. Синонимическая связь между идеями контраста и движения изобличает разницу между концепциями Делоне и Боччони: по Делоне, движение задается контрастом цветов, а не «разъединением и расчленением объектов, раздробленностью и смешением деталей» [Маринетти 1914: 143].

Первая Симульная Книга Блеза Сандра и Сони Делоне

Идея контраста как основы симульной эстетики оказалась плодотворной и для литературного поля. Именно она легла в основу «первой Симульной Книги» – «Прозы о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» – совместной работы Блеза Сандра и Сони Делоне. Представляющая собой параллельную композицию из текста и живописи эта книга порывает с концепцией книжной иллюстрации. Между «симульными красочными контрастами» и поэмой Сандра нет миметической связи: книга становится своего рода дисконтинуумом, пространством одновременного проявления гетерогенных реальностей. Симульность формируется, с одной стороны, кон-

трастами цветов внутри живописной композиции, с другой – контрастом текста и живописи.

В то же время само типографическое оформление произведения, безусловно, наследует идеи Малларме. Как и в «Броске костей», различные типографские шрифты выделяют «основной, вторичный и побочные мотивы»⁷; ритм оказывается «визуализированным»: поэт прибегает к «графическому отображению расстояний между словами или группами слов», которые «ускоряют или замедляют ритм произведения, делают его более отчетливым и образуют целокупное видение страницы» [Mallarmé, 1945: 455–456]. Подобно Малларме, слова, отсылающие к ключевым мотивам поэмы, имеют особое оформление: так, слово «разноцветный» (*bariolé*), очевидно имеющее метапоэтический статус в «Прозе о транссибирском экспрессе», выделено контрастным цветом и помещено посередине поэтической строки. Таким образом, само текстуальное пространство поэмы Сандрара в его графическом оформлении представляет собой реализацию симультанной эстетики.

В заметке, осмысляющей реформу, осуществленную этой книгой, Робер Делоне говорит: «Литературный симультанизм может быть дан в контрасте слов» [цит. по: Sidoti 1987: 87]. Эта интуиция Делоне очень близка к знаменитому положению из «Кризиса стиха» Малларме о «столкновении слов» в стихе, производимом их «мобилизованным неравенством», в результате которого слова «вспыхивают отблесками друг друга» [Mallarmé 1945: 366]. Эстетика «контраста», переведенная на литературное поле, оказывается созвучна поискам новой основы поэтического ритма.

Симультанность в поэзии Гийома Аполлинера

Концепция «симультанных контрастов» находит также отражение в поэтическом творчестве Гийома Аполлинера. В 1913 г. Аполлинер пишет стихотворение «Окна», текст которого насыщен аллюзиями на эстетику Делоне⁸. Кульминационный образ «окна» («Окно раскрывается как апельсин / прекрасный плод света») отсылает к переосмыслению традиционной метафоры искусства как «окна в жизнь» в живописи Делоне. Призматические формы на картинах из серии «Окна» изображают оптическую иллюзию, создаваемую преломлением света в солнечном луче. Делоне смещает акцент с воспринимаемого феномена на «оптику», сквозь которую оно воспринимается: искусство оказывается «плодом света». Кроме того, в стихотворении дважды повторяется строка «Меж зеленым и красным желтый угасает», отсылающая к спору Делоне с ко-

лористической теорией XIX в., согласно которой зеленый и красный являются комплементарными цветами, а желтые оттенки не могут соседствовать с красными («желтый угасает»). Но помимо аллюзий на симультанную теорию Делоне, стихотворение Аполлинера предлагает другие формы симультанности: варьирование различных грамматических форм глагола, не детерминированных никакой временной рамкой, фрагментация, столкновение образов, разнесенных во времени и в пространстве, – создают особую темпоральность текста.

«Окна» представляют собой коллаж из анонимных голосов. Стихотворения, созданные при помощи этой поэтической техники, в 1914 г. в статье «Симультанизм-Либреттизм» Аполлинер назовет «стихотворениями-беседами», сводящими роль поэта к «регистрации лиризма окружающей среды» и «приучающие» читателя «воспринимать стихотворение симультанно, как сцену жизни» [Apollinaire 1991: 976]. Принцип «регистрации лиризма окружающей среды» воплощают уже произведения Ромена, и в этом смысле, Аполлинер, очевидно, наследует идеи унаимизма. Но от последнего «стихотворения-беседы» отличает то, что в них симультанность представлена не только образно. Благодаря отказу от пунктуации и расширению синтаксических возможностей текста обрывки разговоров не отделяются от других элементов стиха, читатель не может обнаружить границы между разными голосами, что создает эффект полифонии.

Симультанизм Анри-Мартен Барзена

К иному решению, стремясь передать многоголосие современной жизни, обращается Анри-Мартен Барзен. Теория симультанизма Барзена вызревает последовательно от космогонической поэмы «Земная трагедия» (1907) к эссе «Эра драмы» (1912) и, наконец, к программным текстам «Голоса, ритмы и симультанные песни» (1913) и «Манифесту поэтического симультанизма» (1914). По мере формирования своих эстетических взглядов Барзен переходит от термина «драматизм» к «симультанизму» (что и вызывает возмущение у Аполлинера – ближайшего друга Делоне в период оформления его теории «симультанности»). Специфика барзеновского подхода обнаруживается уже в выборе терминологии: источником для симультанности он считает «драматизацию поэтического текста» [Barzun 1912: 34].

О проекте написания «универсальной драмы» – «видении всего человечества, одновременно [симультанно] произносящего в огромном многоголосом хоре, охватывающем всю планету, свою скорбь, надежды и идеалы» [Barzun 1907: 13], –

он говорит уже в «Земной трагедии», произведении, соответствующем универсалистскому и космистскому духу эпохи. Пять лет спустя в «Эре драмы» Барзен последовательно развивает теорию «всеохватывающего многоголосого хора», называя его на этот раз «полифонией одно-временных голосов мира» [Гальцова 2010: 225]. «Полифония» призвана превратить «монодическую песнь» (традиционный лиризм) в «полиритмическую» (симультаннизм) так, чтобы поэтический текст представлял собой «хор одновременных голосов». «Драматизм» и «драматизация» специфически трактуются в теории Барзена: «драматизация» не сводится к адаптации театраль-ных приемов в поэтическом тексте, она коррелирует с понятием полифонии и полиритмии» [Barzun 1913: 2], и экспериментами, связанными с «орализацией» текста. Уже в некоторых фрагментах «Земной трагедии» хор написан с помощью ритмически полиморфной структуры – конкурирующими друг с другом ритмами, которые принципиально не гармонизируются. По Барзену, «песня, витальная реальность поэзии погибает, затопленная чернилами, задушенная бумагой, погребенная под книгой» [Barzun 1912: 16]. «Драматизм» предусматривает отказ от текстуального кода за счет высвобождения устной ритмической основы поэзии.

О «полифонии» поэтического текста в контексте темы симультанности говорит еще Малларме в предисловии к «Броску костей», но для него полифония сопряжена с типографской реформой: многоголосие визуально представлено варьированием типографского шрифта и положения поэтической строки на странице. Концепция «многострочного лиризма» Маринетти, соответствующая «полифоническому», «оркестровому» стилю, тоже реализуется визуально. Аполлинер в статье «Наши друзья футуристы» связывает идею полифонии именно с типографской реформой: так, «полифоническая поэзия» является в тексте синонимом «вертикальной поэзии» (эпитет, которым Маринетти наделяет свои «слова на свободе») [Apollinaire 1991: 971]. Игнорирование Барзенoм визуальных средств создания симультанного текста маргинализируют его поиски по отношению к другой авангардной поэзии. Параллельные голосовые партии в его произведениях напечатаны одна под другой, на симультанность указывает лишь знак акколады⁹. По Аполлинеру, акколада, будучи «указанием для постановки», «не создает симультанность внутри книги, где голоса продолжают следовать друг за другом» [ibid.: 977], в итоге текстуальное пространство не преобразуются в новую кодовую систему, а режим симультанности зависит от чтения / постановки.

Симультаннные поэмы дадаистов

Стихотворения Барзена, которые оценивались Аполлинером как недостаточно новаторские, оказали, однако, большое влияние на поэзию самого радикального авангардистского движения – на дадаизм. Новый вариант симультаннизма был представлен дадаистами спустя два года после разгоревшейся в 1914 г. полемики. Первое симультаннное стихотворение (*poème simultan*)¹⁰ «Адмирал ищет жильё для съёма» было представлено цюрихскими дадаистами 31 марта 1916 г. в «Кабаре Вольтер» и опубликовано несколько месяцев спустя в первом номере журнала с одноименным названием. Кроме «Адмирала» к «жанру» симультаннных стихотворений традиционно относят еще тринадцать произведений, созданных дадаистами с 1916 по 1919 г.¹¹

«Адмирал» представляет собой своего рода радикализацию барзеновской идеи «симультан-ных голосов»: произведение состоит из трех параллельных, независимых друг от друга стихотворных «партий», которые при воспроизведении создают какофоническое многоголосие. Стихотворение написано тремя авторами – Тристаном Тцара, Марселем Янко и Рихардом Хюльзенбеком («Архивы Дада» Хюльзенбека и «Хроники Цюриха» Тцара свидетельствуют о том, что во время цюрихской постановки авторы исполняли написанные ими «партии»). Что касается визуального оформления «Адмирала», оно напоминает партитуру. Помимо знака акколады, используемого и Барзенoм, дадаисты вводят в текст нотные обозначения, связанные с оттенками громкости звучания (f., cresc.). Симультаннный эффект, как и в случае с барзеновскими опытами, казалось бы, зависит от декламации и не имманентен стиху. Ряд характеристик, однако, отличает поэтику дадаистских произведений. Если в творчестве Барзена «комбинированные голоса», как и коллаж анонимных голосов в «стихотворениях-беседах» Аполлинера, призваны создать «новый тип лиризма» (коллективный, а не субъективный), то симультаннное стихотворение Дада через столкновение трех дискурсивных фрагментов осуществляет трансгрессию языка как кодовой системы.

Эта трансгрессия происходит при помощи разных техник. Полиглотизм «Адмирала» (текст написан на трех языках – английском, французском и немецком), соответствующий транснациональной установке движения, затрудняет чтение и, сталкивая элементы различных просодий, способствует созданию какофонического звучания. Ономатопои и фонемы, заимствованные из языков банту, с одной стороны, диктуют определенный декламационный ритм (вторящийся барабану

и трещотке, любимым «шумовым» музыкальным инструментам Дада), с другой – осуществляет трансгрессию лингвистического кода: звуковые элементы не обладают установленной семантикой и разрушают смысловую целостность текста.

Особый интерес представляют два не опубликованных при жизни Тцара стихотворения «Холод свет» и «Лихорадка самца». Это самые радикальные образцы деконструкции вербального материала среди симультанных поэм: если в первом встречаются связные словосочетания, хотя большая часть поэмы состоит из отдельных слов и обрывков слов (слогов и букв), то последний больше походит на «концерт гласных» – изобретенный Тцара тип фонетического стихотворения, «вводящий контраст между абстрактным и реальным» и опирающийся на «самый примитивный голосовой элемент – гласную» [Tzara 1975: 552]. В «Холоде свете» и «Лихорадке самца» контраст возникает не из столкновений различных просодий, но благодаря варьированию обычных слов с ономастопеями, брюитизмами, слогами и буквами, не складывающимися в слова.

Вопрос языкового материала является особенно важным в ситуации разрушения семантических и синтаксических связей. Изолируя буквы и слоги, дадаисты «играют» на двойственности языкового знака – его идеографической и фонетической природе. Одни и те же стихотворения можно трактовать с точки зрения звуковых или типографских поисков. Так, фигуративный аспект акцентирован в «Лихорадке самца», в этом смысле композиции из букв, не складывающихся в слова, напоминают типографские эксперименты с буквами Ильи Зданевича и более поздние эксперименты леттристов. В то же время они явно созвучны экспериментам Хуго Балля, Рихарда Хюльзенбека и Курта Швиттерса в области фонетической поэзии.

Стихотворения «Анонимного общества разработки дадаистского словаря»¹² являются примером совершенно иной поэтики. Если другие поэтические тексты этого «жанра» были изначально предназначены для коллективного чтения-представления, то в стихотворениях, написанных Арпом, Зернером и Тцара, нет характерного распределения на реплики или указаний к постановке. Кроме того, визуальное оформление этих текстов не соответствует модели партитуры.

Свидетельство Ханса Арпа, опубликованное спустя почти полвека после экспериментов «анонимного общества», бросает свет на другой элемент поэтики указанных произведений, который позволяет объединить их с «симультанными поэмами»: «Поэзию такого рода (sic!) сюрреалисты позже окрестили «автоматической». Автома-

тическая поэзия прорывается напрямую из кишок и других органов поэта» [Arp 1957: 94]. Хрестоматийное для дадаизма использование телесной образности в отношении поэтического акта («Мысль формируется во рту») вводит два важнейших для дадаистской «программы» положения: разрыв с логоцентристской, рационалистической традицией и упор на спонтанное творчество, не опосредуемое диктатурой языковой логики. Арп указывает на спонтанность как на конституирующую жанровую черту симультанной поэмы. Здесь мы имеем дело с аргументом, противоположным барзеновской логике: спонтанность создания симультанной поэзии (а не условия ее постановки) определяет ее специфическую природу¹³.

Свидетельства дадаистов дают возможность обнаружить другие ипостаси симультанности в понимании Дада. Рихард Хюльзенбек описывает симультанное стихотворение следующим образом: оно «учит смыслу сумбурного переплетения [Durcheinanderjagens] всего на свете: пока г-н Шульце читает, поезд в Балканах пересекает мост в Нише, а в подвале у мясника Нуттке визжит свинья» [Huelsenbeck 1920: 39]. «Переплетение» всех вещей представляется здесь как наложение различных фрагментов реальности, адекватное отражение которого приводит к разрыву с традиционной темпоральностью текста.

Заметка Хуго Балля, посвященная симультанному стихотворению, создает более противоречивый образ последнего: «Жизнь предстает путаницей нематериальных шумов, цветов и ритмов, которые искусство Дада откровенно смешивает с чувственными элементами, криками и лихорадочной беспокойной души повседневного и воспроизводит все это в вещественной реальности» [Ball 1960: 136]. Симультанность представлена как «путаница», принципиально не разложимая на рядоположенные элементы. Эта «путаница», однако, состоит не из нарративных отрезков (как в цитате Хюльзенбека), но из цветов, шумов и ритмов, чья нематериальная природа претворяется в «вещественную реальность» дадаистским искусством. Балль указывает на полиморфную природу симультанного стихотворения – искусства, синтезирующего визуальные (цвета) и звуковые (шумы) элементы. Упоминание «вещественной реальности» связано с тем, что «шумы», «крики» и «ритмы» представлены в дадаистской поэзии конкретно, т. е. не опосредованы языковым кодом.

В «Заметке для буржуа», напечатанной в качестве послесловия к «Адмиралу», Тцара представляет симультанное стихотворение дадаистов в контексте предшествующих ему опытов в искусстве и литературе. Анализируя различные

изводы симультанного искусства, он говорит о том, что основой «современной эстетики» становится «возможность начать читать стихотворение со всех сторон одновременно», благодаря которой читатель может «находить собственные ассоциации и связи» и тем самым перестраивать текст сообразно собственной воле, следуя тем не менее одному из «направлений, заданных автором» [Tzara 1975: 493]. Таким образом, специфическая конфигурация текста делает чтение-восприятие не детерминированным логической и грамматической системой языка. С помощью симультанного стихотворения Тцара стремится создать не новый литературный жанр, но «новую эстетику современности». Эту эстетику можно было бы определить термином современного французского исследователя Жана-Пьера Бобийо как «эстетику случайного» [Bobillot 1992]. Бобийо связывает «эстетику случайного» с преодолением в поэзии тексто-центристской модели, которая ограничивала возможности восприятия схемой, предзаданной логикой языка. Идеи Тцара о «чтении стиха со всех сторон» наряду с «попыткой придать воздействию симультанного стихотворения индивидуальный характер», безусловно, встраиваются в логику отказа от знакового детерминизма в пользу спонтанности «случайных» актов восприятия. Симультанность, по Тцара, это реформа поэтического языка, которая, акцентируя материальность языка и тем самым отчуждая денотативную функцию, освобождает чтение.

Таким образом, к спонтанности создания симультанного текста добавляется спонтанность его восприятия. Текст в дадаизме больше не представляется конечным продуктом, которому предшествует акт созидания и который потенциально (т. е. впоследствии) может быть воспринят: разомкнутая структура произведения позволяет совместить момент производства значений с моментом их расшифровки, так как каждый индивидуальный акт восприятия представляет собой «перетворение».

Вектор развития концепции симультанности в сфере искусства можно было бы обозначить как движение от «новой техники» [Delaunay 1957: 109] к «новой эстетике» [Tzara 1975: 493]: поиск художественного приема, адекватного современной форме чувствительности (измененной научными открытиями, развитием техники, урбанизацией, новыми философскими идеями), приводит авангардистов к переосмыслению процесса восприятия искусства. Если ранние эксперименты в сфере «симультанного» обращены в первую очередь к репрезентации особенностей восприятия реальности художником, то к концу 1910-х гг.

интерес сдвигается в сторону трансформации восприятия текста читателем. По мысли авангардистов, произведение искусства не просто должно отражать одновременность или слитность воспринимаемых феноменов, но и перестроить собственную структуру таким образом, чтобы эту одновременность создать в акте чтения-восприятия. Крайней точкой симультанных поисков является дадаистская деконструкция языка. Дадаисты мыслят последовательность не как способ организации темпоральности текста или ритмической структуры, но как фундамент, лежащий в основе языковой логики. Симультанность представляется, таким образом, способом освобождения от диктатуры языка в акте восприятия искусства, способом выхода из рамок детерминированной системы к случайной и спонтанной эстетике.

Примечания

¹ Несмотря на немалый объем зарубежных научных работ, посвященных этому вопросу, в современной отечественной литературе он практически не осмыслен, из-за чего происходит смешение разных перспектив симультанного искусства. Так, «Энциклопедия русского авангарда» [Ракитин, Сарабьянов 2013: 212] в статье о симультанизме дает ссылку на соответствующий раздел об «орфизме», что создает иллюзию полной синонимичности двух понятий, в то время как орфизм Делоне – лишь одна из ветвей симультанности.

² Интересно, что Аполлинер в статье, посвященной футуристической живописи, говорит о том, что названия полотен футуристов «заимствованы из словаря унанимистов».

³ Эту ипостась симультанности можно проследить, например, в манифесте Карло Карра «Живопись звуков, шумов и запахов»: Карра часто описывает восприятие цвета через звуковую образность (например, «красный, который кричит»). Крайне синестетична образность в поэзии Аполлинера, относимой им к симультанному искусству (например, в стихотворении «Окна») и «Проза о Транссибирском экспрессе» Сандрара.

⁴ В оригинале употреблено слово *espacement*, означающее также в полиграфической терминологии расстановку в разрядку, с интервалами.

⁵ Сложная история публикации искусственно «осовременила» текст Малларме: так, Аполлинеру он стал известен только благодаря критическому эссе Альбера Тибодэ, вышедшему в 1913 г.

⁶ Пьер Реверди в программной статье 1919 г. называет кубизм «пластической поэзией» и возводит художественные поиски кубистов (в том числе идею симультанности) к интуициям Малларме [Reverdy 2010: 547].

⁷ К типографическому инструментарию Малларме (крупный и жирный шрифты, курсив, особое поэтическое использование пробелов) добавляются еще разноцветные чернила – к этой технике в том же 1913 г. обращается Себастьян Вуароль в поэме «Весна священная».

⁸ Интересно, что стихотворение публикуется сначала в каталоге к выставке Делоне в Берлине, а потом в журнале *Poème et drame* Барзена. Таким образом, два противоборствующих лагеря симультанизма (полемика развернется через несколько месяцев) оказываются связанными.

⁹ Именно такое визуальное оформление спровоцировало у его оппонентов ассоциацию с формой оперных либретто, о чем первым написал Никола Бодюэн в *Paris Journal*: «...техника письма, названная «симультанной», используется всеми либреттистами» [цит. по: Somville 1971: 136]; то же сравнение стало основой статьи «Симультанизм Либреттизм» Аполлинера: «Барзен опирается на форму симультанности, схожую с хором, фигурирующим в оперных либретто» [Apollinaire 2010: 976].

¹⁰ Слово сочетание *poème simultan* можно переводить, на наш взгляд, и как «симультанные стихотворения», и как «симультанные поэмы», т. к. оно соответствует поэтическим экспериментам разного свойства и разного масштаба, а сема *poème* отсылает и к «поэме», и к «стихотворению».

¹¹ См.: [Tzara 1975: 492–500; Tzara 1992: 487–490].

¹² «Общество» основано в Цюрихе Хансом Арпом, Вальтером Зернером и Тристаном Тцара.

¹³ Замечание Арпа проблематизирует связь между дадаистской симультанной поэзией и сюрреалистическим автоматическим письмом. Однако, с учетом изменившегося историко-литературного контекста, при котором опубликовано это замечание (в середине 1950-х гг. возрождается интерес к дадаизму, погребенному долгое время под славой сюрреализма), цитата Арпа противоречива: указывая на общность между двумя типами письма, он подчеркивает преемственность сюрреалистических экспериментов.

Список литературы

Гальцова Е. Д. Французский вектор авангарда // Авангард в культуре XX века (1900–1930 гг.): Теория. История. Поэтика: в 2 кн. / под ред. Ю. Н. Гирина. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 225–227.

Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. М.: Республика, 2003. 560 с.

Маринетти Ф.-Т. Футуризм. СПб.: Прометей, 1914. 241 с.

Петров М. Симультанность в искусстве: культурные смыслы и парадоксы. М.: Индрик, 2010. 200 с.

Энциклопедия русского авангарда: Изобразительное искусство. Архитектура / авт.-сост. В. И. Ракитин, А. Д. Сарабьянов; науч. ред. А. Д. Сарабьянов. Т. III, кн. 2: История. Теория. М.: RA, Global Expert & Service Team, 2013. 816 с.

Apollinaire G. Les peintres cubistes : méditations esthétiques. P.: Hermann, 1965. 191 p.

Apollinaire G. Œuvres en prose complètes. P.: Gallimard (ed. de la Pléiade), 1991. Т. 2. 1854 p.

Arcos R. Tragédie des espaces. P.: édition de l'Abbaye, 1906. 158 p.

Arp H. Die Geburt des Dadas. Zurich: Die Arche, 1957. 192 p.

Ball H. Die Kunst unserer Tage // Literatur-Revolution 1910–1925: Dokumente, Manifeste, Programme / éd. P. Pörtner Neuwied am Rhein, 1960. 503 p.

Barzun H.-M. L'ère du drame: essai de la synthèse poétique moderne. P.: Éditeurs Eugène Figuière, coll. Poème et drame, 1912. 142 p.

Barzun H.-M. La révolution polyrythmique moderne. Trois poèmes simultanés. Dernières notes documentaires // Poème et Drame. 1913. Vol. VI (septembre-octobre). P. 2.

Bobillot J.-P. Vers, prose, langue – quelques propositions // Poétique. 1992. № 89. P. 71–91.

Boccioni U. Simultanéité futuriste // Der Sturm. 1913. Vol. 4 (15 December). P. 151.

Bois J.-J. Les lettres simultanéistes // Giles Blas. 1912 (1 juillet). P. 3.

Chevreur M.-E. De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés, considérés d'après cette loi dans ses rapports avec la peinture, les tapisseries... P.: Pitois-Levrault, 1839. 735 p.

Décaudin M. De l'espace figuré à l'espace signifiant // Poesure et peinture: d'un art, l'autre. Marseille, 1993. P. 68–87.

Delaunay R. Du cubisme à l'art abstrait : documents inédits publiés par Pierre Francastel. P.: S.E.V.P.E.N., 1957. P. 108–109.

Ghil R. En méthode à l'œuvre. Ed. nouvelle et revue. P.: Ed. A. Messein, 1904. 71 p.

Ghil R. Traité du Verbe. P.: Nizet, 1978. 221 p.

Huelsenbeck R. Dada Almanach. Berlin: Erich Reiss, 1920. S. 39.

Jenny L. La fin de l'intériorité. Genève : Presses universitaires de France, 2002. P. 70–101.

Krzywkowski I. Le temps et l'espace sont morts hier. P.: Ed. L'improviste, 2006. 277 p.

Mallarmé S. Un coup de dés jamais n'abolira le hasard. P.: Gallimard (Édition de la Pléiade), 1945. P. 453–478.

Reverdy P. Le cubisme, poésie plastique // Œuvres complètes. P.: Flammarion. 2010. T. 1. P. 547–549.

Romains J. La vie unanime. P.: Gallimard, 1983. 256 p.

Rousille J. Au commencement était le rythme: essai sur l'intégralisme. P.: éd. Des poèmes, 1905. 87 p.

Shattuck R. Une polémique d'Apollinaire // Le Flâneur des Deux Rives. 1954. № 4. P. 41–45.

Sidoti A. Genèse et Dossier d'une polémique: La prose du Transsibérien et la Petite Jean de France, Blaise Cendrars – Sonya Delaunay. P.: Minars, 1987. 165 p.

Somville L. Devanciers du surréalisme: les groupes d'avant-garde et le mouvement poétique 1912–1925. Geneve: Librairie Droz, 1971. 219 p.

Tzara T. Œuvres complètes: en 6 vol. Préface et commentaires Henri Béhar. P.: Flammarion, 1975. T. I. 746 p.

References

Gal'tsova E. D. Frantsuzskiy vektor avangarda [The French vector of avant-garde]. *Avangard v kul'ture 20 veka (1900–1930 gg.): Teoriya. Istoriya. Poetika. V 2 kn.* [The avant-garde in the 20th-century culture: Theory. History. Poetics. In 2 vols.]. Moscow, IWL RAS Publ., 2010, pp. 225–227. (In Russ.)

Dadaizm v Tsyurikhe, Berline, Gannovere i Kel'ne [Dadaism in Zurich, Berlin, Hannover and Cologne]. Moscow, Respublika Publ., 2003. 560 p. (In Russ.)

Marinetti F.-T. *Futurizm* [Futurism]. St. Petersburg, Prometey Publ., 1914. 241 p. (In Russ.)

Petrov M. *Simul'tannost' v iskusstve: kulturnye smysly i paradoksy* [Simultaneity in art: cultural meanings and paradoxes]. Moscow, Indrik Publ., 2010. 200 p. (In Russ.)

Entsiklopediya russkogo avangarda: Izobrazitel'noe iskusstvo. Arhitektura [Encyclopaedia of Russian avant-garde: Fine Art. Architecture]. Comp. by V. I. Rakitin, A. D. Sarab'yanov; ed. by A. D. Sarab'yanov. Moscow, RA, Global Expert & Service Team Publ., 2013, vol. 3, book 2. Istoriya. Teoriya [History.Theory]. 816 p. (In Russ.)

Apollinaire G. *Les peintres cubistes: méditations esthétiques*. Paris, Hermann, 1965. 191 p. (In Fr.)

Apollinaire G. *Œuvres en prose complètes*. Paris, Gallimard Publ. (Éd. de la Pléiade), 1991, vol. 2. 1854 p. (In Fr.)

Arcos R. *Tragédie des espaces*. Paris, Éd. de l'Abbaye, 1906. 158 p. (In Fr.)

Arp H. *Die Geburt des Dadas*. Zürich, Verlag der Arche, 1957. 192 p. (In Fr.)

Ball H. *Die Kunst unserer Tage. Literatur-Revolution 1910–1925: Dokumente, Manifeste, Programme*. Neuwied am Rhein, Publ. by P. Pörtner, 1960. 503 p. (In Germ.)

Barzun H.-M. *L'ère du drame: essai de la synthèse poétique moderne*. Paris, Publ. by Eugène Figuière (collection Poème et drame), 1912. 142 p. (In Fr.)

Barzun H.-M. La révolution polyrythmique moderne. Trois poèmes simultanés. Dernières notes documentaires. *Poème et Drame*. 1913, vol. 6 (September-October), p. 2. (In Fr.)

Bobillot J.-P. Vers, prose, langue – quelques propositions. *Poétique*. 1992, issue 89, pp. 71–91 (In Fr.)

Boccioni. U. Simultanéité futuriste. *Der Sturm*. 1913, vol. 4 (December 15), p. 151. (In Fr.)

Bois J.-J. Les lettres simultanéistes. *Giles Blas*. July 1, 1912, p. 3. (In Fr.)

Chevreur M.-E. *De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés, considérés d'après cette loi dans ses rapports avec la peinture, les tapisseries*. Paris, Pitois-Levrault, 1839. 735 p. (In Fr.)

Decaudin M. De l'espace figuré à l'espace signifiant. *Poesure et peinture: d'un art, l'autre*. Marseille, 1993, pp. 68–87. (In Fr.)

Delaunay R. *Du cubisme à l'art abstrait: documents inédits publiés par Pierre Francastel*. Paris, S.E.V.P.E.N., 1957, pp. 108–109. (In Fr.)

Ghil R. *En méthode à l'œuvre*, Paris, Publ. by A. Messein, 1904. 71 p. (In Fr.)

Ghil R. *Traité du Verbe*. Paris, Nizet, 1978. 221 p. (In Fr.)

Huelsenbeck R. *Almanach Dada*. Berlin, Erich Reiss, 1920. 39 p. (In Germ.)

Jenny L. *La fin de l'intériorité*. Geneva, University Press of France, 2002, pp. 70–101. (In Fr.)

Krzywkowski I. *Le temps et l'espace sont morts hier*. Paris. Publ. by L'improviste, 2006. 277 p. (In Fr.)

Mallarmé S. *Un Coup de dés jamais n'abolira le hasard*. Paris, Gallimard Publ. (Éd. de la Pléiade), 1945, pp. 453–478. (In Fr.)

Reverdy P. Le cubisme, poésie plastique. *Œuvres complètes*. Paris, Flammarion, 2010, vol. 1, pp. 547–549. (In Fr.)

Romains J. *La vie unanime*. Paris, Gallimard, 1983. 256 p.

Rousille J. *Au commencement était le rythme: essai sur l'intégralisme*. Paris, Des poèmes Publ., 1905. 87 p. (In Fr.)

Shattuck R. Une polémique d'Apollinaire. *Le Flâneur des Deux Rives*. 1954, issue 4 (December), pp. 41–45. (In Fr.)

Sidoti A. *Genève et Dossier d'une polémique: La prose du Transsibérien et la Petite Jean de France, Blaise Cendrars – Sonya Delaunay*. Paris, Minars, 1987. 165 p. (In Fr.)

Somville L. *Devanciers du surréalisme: les groupes d'avant-garde et le mouvement poétique 1912–1925*. Geneva, Librairie Droz, 1971. 219 p. (In Fr.)

Tzara T. *Œuvres complètes, préface et commentaires Henri Béhar*. Paris, Flammarion, 1975, vol. 1. 746 p. (In Fr.)

SIMULTANEITÀ, SIMULTANÉISME, SIMULTANÉITÉ: CONCEPTION OF SIMULTANEITY AND ITS MODIFICATIONS IN THE AVANT-GARDE AESTHETICS

Nika V. Golubitskaya

Postgraduate Student in the Department of History of Foreign Literature

Lomonosov Moscow State University

1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation. nikagolubitskaya@gmail.com

SPIN-code: 1967-2666

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3170-9616>

Submitted 11.06.2019

The article analyzes different hypostases of 'simultaneous art', reveals philosophical and scientific sources of the term and traces the transformation of the idea in the avant-garde aesthetics. As a universal avant-garde category, simultaneity provides a means to reproduce historical and cultural context of the epoch and to observe the transformation of the avant-garde aesthetics. Stephane Mallarmé was the one who introduced the concept into poetic discourse: he pointed out that a specific visual configuration of the verse provides 'an integral vision of the page' and a simultaneous perception of successive fragments of the text. According to the members of the integralist movement and the Abbey of Creteil group, simultaneity is synonymous to the 'universal rhythm' penetrating the 'monistic Universe' and reflected in poetic oeuvre. Unanimism turns to the rhythm of urbanistic space and the subject's perception of synchronized movement of the urban crowd. The central principle of futurism concerned with simultaneity is the 'aestheticization of speed'; futurist artists aspire to create a certain dimension of 'spatialized' time in their works and to transmit dynamics through dislocation of objects, poets seek to create a rapid, telegraphic style imitating the movement of 'whirling electrons'. Robert Delaunay searches for the same synthetic perception, but, according to him, dynamics is created by the contrast of colours. The simultaneity of the book by Sonya Delaunay and Blaise Cendrars is based on the same techniques of simultaneous contrasts as well as on the specific poetic rhythm and visual configuration of the verses. Henri-Martin Barzun's conception of 'simultanéisme' implicates a simultaneous recitation of poetry by several elocutionists and dramatization of poetic text. Finally, for Dadaists simultaneity becomes an instrument to liberate reading / perception from dictatorship of linguistic logic implied by the linear development of text.

Key words: simultaneity; avant-garde; Dadaism; Futurism; Apollinaire; Barzun; Mallarmé; Marinetti; Romains; Tzara.

УДК 821.111(73)

doi 10.17072/2073-6681-2019-3-123-130

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА ГЕНРИ ФОРДА В РОМАНАХ Э. СИНКЛЕРА «АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОРОЛЬ» И АЙН РЭНД «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ»

Анастасия Васильевна Григоровская**к. филол. н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы****Тюменский государственный университет**

625003, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 6. a.v.grigorovskaya@utmn.ru

SPIN-код: 2478-7271

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9282-313X>

ResearcherID: H-9881-2018

Scopus Author ID: 57202704203

*Статья поступила в редакцию 25.02.2019***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:***Григоровская А. В. Интерпретации образа Генри Форда в романах Э. Синклера «Автомобильный король» и Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 123–130. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-123-130***Please cite this article in English as:***Grigorovskaya A. V. Interpretatsii obraza Genri Forda v romanakh E.Sinklera «Avtomobil'nyy korol'» i Ayn Rend «Atlant raspravil plechi» [The Interpretations of Henry Ford's Image in U. Sinclair's Novel 'The Flivver King' and Ayn Rand's Novel 'Atlas Shrugged']. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 3, pp. 123–130. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-123-130 (In Russ.)*

Проводится сопоставительный анализ романов Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» (*Atlas Shrugged*, 1957) и Эптона Синклера «Автомобильный король» (*The Flivver King*, 1937). Цель статьи – показать особенности интерпретации образа Генри Форда, который является значимым для модели бизнесмена, бытующей в американском массовом сознании, представленной в романах Э. Синклера и Айн Рэнд. Оба романа в качестве центрального героя предлагают образ изобретателя-бизнесмена (противоречивый в американской литературе, что и определило проблематику работы). Если у Синклера это реальный изобретатель и предприниматель Генри Форд, то у Айн Рэнд это вымышленные герои, которые, однако, были созданы ею под влиянием эмоций, вызванных фигурой легендарного изобретателя автомобильного двигателя. В ходе исследования выявляется противоречие в понимании личности Форда у Рэнд, которая предлагает для бизнесменов в качестве альтернативы социализму философию объективизма, формирующую практического мыслителя (*the practical thinker*) и философствующего бизнесмена (*the philosophical businessman*). В результате анализа романов устанавливается их сходство по таким параметрам, как наличие мотивов изобретения, недоверие к изобретателю, а также одинаковое начало карьеры у героев-предпринимателей. Определено и различие во взглядах авторов, заключающееся в разном понимании «американской мечты» у писателей – саркастическом у Синклера и идеалистическом – у Рэнд, и, как следствие, в разном отношении к свободному рыночному предпринимательству. Данное различие очевидно при анализе отношений рабочего и хозяина в обоих текстах: если у Синклера рабочий и хозяин противопоставлены друг другу, то у Рэнд они являются компаньонами. Вместе с тем ни один из авторов не изображает Генри Форда реального, так что обе интерпретации остаются лишь авторской трактовкой. Для анализа были использованы следующие методы: системно-целостный, биографический, компаративный.

Ключевые слова: американская литература; Айн Рэнд; Эптон Синклер; образ предпринимателя; капитализм; социализм.

Романы Э. Синклера «Автомобильный король» и А. Рэнд «Атлант расправил плечи» посвящены одной и той же теме – месту изобретателей-бизнесменов в жизни общества. Проблема исследования обусловлена появлением споров в американской литературе вокруг бизнесмена как социально значимой фигуры, особенно актуальных в начале XX в. в творчестве «разгребателей грязи» (макрейкеров). Писатели этого направления (Т. Драйзер, С. Льюис, Э. Синклер и др.) придерживались линии разоблачения злодеяний американских капиталистов и выступали за преобразование американского общества по образцу социализма. Л. И. Воскресенская отмечает в связи с этим: «Общей характеристикой художественных произведений американских писателей второй половины XIX–XX вв. следует считать выражение критически негативного отношения к развивающемуся капитализму, который породил стремление к наживе, стяжательству и бездуховности» [Воскресенская 2012: 141]. Большинство американских писателей этой волны сочувствовали социализму, были почетными гостями в СССР и, разумеется, главными идейными врагами Айн Рэнд, которая на своем собственном опыте испытала «благоденствия» социализма. Актуальность исследования связана как со сложностью восприятия традиционных американских символов успешности в эпоху кризиса проекта Просвещения, так и с необходимостью определить место творчества Айн Рэнд в литературном процессе XX в. Цель статьи – показать особенности интерпретации образа Генри Форда, который является значимым для модели бизнесмена, бытующей в американском массовом сознании, в романах Э. Синклера и Айн Рэнд. Для этого автор статьи обращается к таким традиционным в литературоведении методам, как системно-целостный, биографический, компаративный.

Герой романа Э. Синклера – реальный изобретатель (изобрел автомобильный двигатель и внедрил его в массовое производство), успешный предприниматель, оказавший огромное влияние на развитие промышленности и экономики не только США, но и всего мира, – Генри Форд. Каждому, кто читал романы Айн Рэнд, сразу становится понятно, что Генри Форд – идеальный герой писательницы: умный и смелый изобретатель, презревший общество и создавший одну из самых огромных автомобильных империй в мире.

Это впечатление далеко не случайно и опирается на факты биографии Айн Рэнд. В одном из своих писем Де Витт Эмери, руководителю Американской ассоциации малого бизнеса в 1930-х гг. (от 10 сентября 1941 г.), она упоминает о его предыдущем письме, где он рассказал ей о том, что ее «Манифест» (речь, видимо, идет об эссе

The Individualist Manifesto, опубликованном в 1941 г. и ни разу с тех пор не переиздававшемся; эссе хранится в архивах Института Айн Рэнд – APR 32-0690-A) был прочитан Генри Форду [Letters of Ayn Rand 1997: 58]. Дж. Бриттинг сравнивает эту работу Айн Рэнд с воображаемым манифестом, который мог бы написать Прометей, герой ее повести «Гимн» [Britting 2005: 70]. Айн Рэнд отмечает в письме, что Генри Форду должна была быть особенно интересна последняя часть «Манифеста», в которой она рассказывает о капиталистах, разрушающих капитализм своим незнанием. Воодушевленная письмом Эмери, она спрашивает его, может ли он помочь ей с организацией встречи с Фордом: она надеется убедить его в своих идеях, так как он один из немногих ее героев («he is a symbol of capitalist system at its best» [Letters of Ayn Rand 1997: 58]). Однако, судя по всему, с Фордом она так никогда и не встретила: «There is no evidence of either a meeting with or letter to Henry Ford» [ibid.: 59] – комментарий редактора *Letters of Ayn Rand* М. С. Берлинер после этого письма. В другом письме, основателю *Republic Steel and Vultee Aircraft* Т. Гирдлер (от 12 июля 1943 г.), Айн Рэнд сообщает, что Томас Эдисон и Генри Форд – люди, принесшие миру огромное благо, однако они делали это в эгоистических целях, благо людям – лишь вторичное следствие: «He [Thomas Edison. – А. Г.] considers his work, not love or service of others, as his primary goal in life» [ibid.: 82].

Э. Синклер, в отличие от Айн Рэнд, фигурами, подобными Генри Форду, не восхищался: он был фанатичный социалист¹. Как отмечает Л. Кауфман, социализм был для него формой религии, высшим выражением заповедей Христа [Кауфман 2018б]. Парадоксально, но факт: Синклер считал Америку страной, в которой неизбежно наступление социалистического рая, причем этот идеал никак не противоречит «американской мечте», декларированной еще «отцами-основателями»: «Я согласен, что нет большего искажения истории, чем идентификация американизма с капитализмом. Это правда, что капитализм выступает за свободу особого сорта – свободу молиться, играть и эксплуатировать. Но все это очень старые виды свободы, и Америка не открыла их. Мы стараемся установить и защитить новый вид свободы: жить в мире, работать и радоваться плодам своего труда. Кто скажет, что эти вещи несовместимы с американским духом?» [там же]. Именно капитализм, по его мнению, явился «виновником» Великой депрессии 1929–1933 гг. в США.

«Игры» Синклера в социализм были типичным явлением для американской культурной жизни начала и середины XX в. Утопические

идеи даже пытались претворить в жизнь: Синклер наряду с его соратниками был владельцем здания бывшей школы для мальчиков в штате Нью-Джерси *Helicon Hill*, где в 1906 г. им была основана социалистическая коммуна (по образцу фаланстеров Р. Оуэна), просуществовавшая всего один год: «Синклер был мечтателем, который не мог соотносить большую идею с реальностью повседневных забот и деталей» [Кауфман 2018б].

Сравним эту коммуны с заводом Генри Форда, которого писатель критикует в романе «Автомобильный король» за экономическую безграмотность и равнодушие к судьбам простых рабочих. Между тем, по свидетельствам ученых, завод Генри Форда имел некоторые черты социалистической коммуны². Так, Н. З. Беляев отмечает, что завод Форда функционировал по принципам коммуны. В частности, особое внимание привлекает принцип распределения добавочной заработной платы (о которой, кстати, упоминает в своем романе и Синклер): он, несомненно, нарушает принцип неприкосновенности частной жизни человека и его право на свободу. Установив некий критерий «нравственности», по которому надбавка распределялась между рабочими (не имеющий ничего общего с профессиональной компетентностью рабочих), Генри Форд строил свое производство фактически по типу завода «Двадцатый век» из романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», где вмешательство в частную жизнь рабочих стало нормой. Система агитации на предприятиях Форда приобретала масштаб социалистической пропаганды: «Тем не менее “департамент воспитания” как благотворительная организация со штатом инспекторов существует и по настоящее время. Форд пытается воздействовать на психологию рабочих тщательно разработанной системой пропаганды. Для этой цели служат специальные газеты, кинематографы, театры, концерты, лекции и спортивные площадки» [Беляев 1935].

Таким образом, перед нами вырисовывается явное *противоречие* в понимании фигуры Генри Форда как реальной личности: в романе Синклера он критикуется за капитализм, Айн Рэнд же воспекает его в своих героях за то же самое. При этом на самом деле Генри Форд использует на своем заводе принципы, характерные для тоталитарного сообщества, коим являются и государства, построенные на началах социализма. Данное противоречие становится еще глубже, когда мы начинаем анализировать оба текста.

Важным для нас является то, что Генри Форд – прежде всего изобретатель, а потом уже «эффективный менеджер». Этот факт он сам обозначил в своей автобиографии: «Возьмем хотя одну незначительную идею – идею, которую мог бы

создать каждый, но разработка которой выпала на мою долю...» [Форд 2019: 3]. Разумеется, Форд здесь преуменьшает свой вклад в гениальное изобретение, однако подчеркивает, что вся его деятельность как предпринимателя началась именно с изобретения мотора. Отличие Генри Форда «реального» от того, которого рисует в своих романах Айн Рэнд в образах «атлантов», заключается уже в этом. Ее герои – это «целостные личности» (*integrated men*), соединяющие в себе качества философа и бизнесмена, преуспевшие и в изобретательстве, и в управлении бизнесом. Свою задачу как философа Рэнд видела именно в этом – объяснить бизнесмену, что он должен соединять в себе то, что ранее считалось несоединимым: «He will be an integrated man, that is: a thinker who is a man of action <...> He will know that men need philosophy for the purpose of living on earth. The New Intellectual will be a reunion of the twins who should never have been separated: the intellectual and the businessman» [Rand 1961: 51]. Эти два типа «интегрированного» идеала – практический мыслитель (*the practical thinker*) и философствующий бизнесмен (*the philosophical businessman*) – и фигурировали в романах писательницы³. Генри Форд явно «не дотягивал» до этого идеала, о чем, кстати, пишет Синклер в своем романе, говоря, что он «не умел оперировать теориями» [Синклер 1984: 267]. Великолепный практик, гениальный изобретатель не разбирался, по словам Синклера, в экономике: «В умах людей, не привыкших к отвлеченному мышлению, могут бок о бок существовать всевозможные противоречия» [там же: 268]. Айн Рэнд, конечно, не согласилась бы с Синклером, однако нельзя не признать, что ее представление о Форде во многом было далеко от реальности.

Казалось бы, образ Генри Форда, воссозданный так или иначе как Синклером, так и Рэнд, имеет определенные сходства в текстах. Так, мотив изобретения присутствует в обоих романах: в романе Синклера Генри Форд, названный в завязке «сумасшедшим» и «чудаком», пытается создать «устройство двигателя нового типа» [там же: 201]. В романе Рэнд новый двигатель был обнаружен на развалинах завода «Двадцатый век», однако его изобретатель, Джон Голт, применяет его на практике в Атлантиде (мотив обнаружения двигателя есть также и у Синклера: оказавшись в гостях у писателя-идеалиста, Форд рассматривает обнаружившийся у него в гараже «карбюратор незнакомой для них конструкции»). Помимо обнаружения двигателя герои Айн Рэнд изобретают новый сплав металла (Хэнк Риарден), мастерски управляют железной дорогой (Дагни Таггерт), в совершенстве владеют финан-

совым делом (Франсиско д'Анкония), проектируют гениальные здания (Говард Рорк) и т. п.

В обоих романах социум испытывает недоверие к изобретению героя. У Синклера: «Люди привыкли к тяжелым паровозам, двигающимся по рельсам; но свободно мчатся по шоссе, когда впереди никто не машет хвостом, – это противоречило самой природе, а может, и закону. Это было почти так же глупо, как и попытки некоторых людей летать по воздуху» [Синклер 1984: 203]. У Рэнд такое сопротивление общества обнаруживается при попытке внедрить в производство рельсы из риарден-металла: со всех сторон появляется недовольство (правительство, профсоюзы, СМИ).

Далее, герои-изобретатели Синклера и Рэнд начинают свою карьеру одинаково, никому из них богатство не достается по наследству: Генри Форд, как и Хэнк Риарден и Джон Голт, – выходцы из небогатых семей. Как и герои Рэнд, Генри Форд в романе Синклера отказывается бросить свои эксперименты с «бензиновыми бричками»; здесь он даже больше похож на героя ее романа «Источник», Говарда Рорка, который бросает университет и отказывается от престижной работы, чтобы проектировать исключительно в своем стиле, а также на деда Дагни Таггерт, Натаниэля Таггерта, который самостоятельно строил мост, строительство которого отказалось субсидировать правительство.

Расхождения в позициях авторов начинаются с того момента, когда каждый из них высказывает свое отношение к «американской мечте». Синклер явно саркастически относится к этому понятию, подчеркивая его манипулятивный характер в деле управления массами: «Шатты были бедны, но не отчаивались. Прежде всего им было гарантировано блаженство на том свете, а кроме того, дети учились, и Шатты разделяли веру всех американских семей в то, что младшее поколение выйдет в люди. Америка – страна возможностей, и каждый день в ней происходят удивительные вещи. Самый бедный мальчик имеет право стать президентом; помимо этого главного приза, было множество помельче...» [там же: 204]. Вера в то, что труд поможет достигнуть процветания – это стереотип мышления среднего американца. М. Гофман отмечает, что эта вера обусловлена историей Америки, которая складывалась из взаимопроникновения и сплавления разных культур, разных социальных слоев: «Америка предоставила полную свободу всем, и в борьбу за богатство были вовлечены миллионы» [Гофман 2013: 10].

Айн Рэнд трактует «американскую мечту» иначе, – идеализируя Америку в образе Атлантиды. Ее «американская мечта» – это, скорее, ее «улучшенная версия», представляющая собой

сплав из представлений об «отцах-основателях» и американской демократии. Причем немалое влияние на формирование этих представлений оказал русский опыт писательницы (см., например: [Grigorovskaya 2017; Sciabarra 2013; Rosenthal 2004]). В последнем романе Рэнд Америка представлена как последний оплот капитализма в охваченном социализмом мире: «Но, когда в мире стали возникать народные республики, Америка стала единственной страной, где людям не приходится выкапывать в лесу корни, чтобы прокормиться, это последний уцелевший рынок» [Рэнд 2009б: 2]. Франсиско д'Анкония произносит слова о «высочайшем» типе человека – «человек, который сделал себя сам – американский промышленник» [там же].

Дискуссионным для сравнения авторов является и вопрос национализации частной собственности. Айн Рэнд подробно показала последствия этого явления в романе «Атлант расправил плечи», изобразив развал еще вчера процветающей страны вследствие введения Директивы номер 10-289, которая представляет собой не что иное, как национализацию частной собственности («атланты» именуют ее «мораторий на мозги»). Героями романа это воспринимается как трагедия всей их жизни. Вот как описан момент ее введения: «Газеты принес Эдди Уиллерс. Выражение его лица совпадало с тоном голоса Франсиско: предчувствие непоправимого несчастья» [там же: 6]. В романе Синклера Генри Форд реагирует точно так же, как «атланты» Рэнд: «Но когда писатель заговорил о передаче автомобильной промышленности в руки народа и назначении Генри ее руководителем, промышленник явно забеспокоился. Нет, Генри не желает, чтобы политики вмешивались в его дела» [Синклер 1984: 268]. То же касается и отношения к свободной рыночной конкуренции. Если Айн Рэнд полагала конкуренцию основой благополучия экономики, то герой романа Синклера, социалист Том Шатт, поясняет на собрании профсоюза рабочих, что конкуренция промышленников – причина безработицы.

Различны и позиции авторов относительно отношений хозяина предприятия с его рабочими. Роман «Автомобильный король» отмечен явным противопоставлением двух персонажей – Генри Форда и его рабочего Эбнера Шатта, который, как верно отмечает М. В. Глостанова, обрисован достаточно схематично (как и другие представители рабочего класса в его книгах) [Глостанова 2009]. Эбнер Шатт жил по соседству с семьей Фордов еще когда Генри был мальчиком. До конца своих дней Эбнер гордился тем, что «знал этого парня, еще когда он делал свою первую машину» [Синклер 1984: 214]. Однако контраст

Форда и Шатта очевиден даже Синклеру: «Он [Форд. – А. Г.] будет думать не только за себя, но и за Эбнера, – и это как нельзя лучше устраивало Эбнера; его мыслительные способности были ограничены да и никогда не развивались» [Синклер 1984: 220]. Действительно, Эбнер Шатт показан как необразованный, умеющий выполнять только механическую работу, человек, фанатично преданный «секте Форда» – выписывающий журналы, выпускаемые компанией, интересующийся лишь мнением «господа Форда» по всем вопросам в мире: «Эбнер... напоминал мула, но впряженного в привод, мула, который ходит и ходит по кругу, поддерживая работу механизма» [там же: 347]. Но виноват ли в интеллектуальной неразвитости этого рабочего капитализм, который столь яростно обличает Синклер? Айн Рэнд не согласилась бы с этим, ведь в своих статьях она всегда защищает капитализм, подчеркивая, что в США настоящий капитализм никогда не был реализован [Рэнд 2016].

Сын Эбнера Шатта, Том Шатт, в отличие от своего отца, получает университетское образование и принимает решение: «Я буду таким рабочим, который понимает, что с ним происходит, и может разъяснить это другим» [Синклер 1984: 351]. Иначе говоря, Том становится социалистом и начинает «мстить» за отца. Последние девять глав романа построены по принципу параллелизма: повествование в них ведется с помощью чередования сюжетных планов (план Томаса Шабба, который выступает перед рабочими на тайном собрании профсоюза завода Форда, затем садится со своей подругой в автомобиль, и на него осуществляется разбойное нападение, и план Генри Форда, который вместе с женой присутствует на приеме у старинного семейства в Детройте). Такое чередование создает ощущение взаимосвязанности жизненных линий хозяина и рабочего, которые доселе были разделены стеной интеллектуального и финансового неравенства. В конце концов сюжетные планы сходятся в одну точку: Форд с женой проезжают то место на дороге, где без чувств лежит избитый Том, а его подруга вызывает о помощи: «Лимузин мчался дальше. Шофер и телохранитель действовали по приказу, они никогда не останавливали машину. Они везли миллиард долларов, а такая сумма денег не может выказывать ни сочувствия, ни любопытства: ей хватает своих забот» [там же: 383].

В романе Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» совершенно иная интерпретация положения рабочих при капитализме. Во-первых, она возлагает на них ответственность за происходящее в стране как раз в силу их интеллектуальной неразвитости: «Сегодня способности стали не

нужны. Раньше... требовали наилучшего исполнения обязанностей и соответственно награждали. Сейчас он не мог ожидать ничего, кроме наказания, если стал бы поступать по совести. Раньше от него требовалось уметь думать. А теперь...» [Рэнд 2009б: 7]. Во-вторых, она показывает, насколько сильно люди сами деградировали, переложив эту ответственность думать и размышлять на других людей: «Дагни не видела глаз, только влажные овалы, поблескивающие в свете луны. Вот они, думала она, люди нового века, те, кто требуют самопожертвования и принимают его. Ее остро полоснуло чувство гнева, крившееся в молчании людей, гнева, говорящего о том, что никто и не думал ей помогать – от нее ждали жертвы...» [там же: 399]. В-третьих, она показывает, что на самом деле виноваты не капиталисты, а паразиты, которые захватили в стране власть: «Они едят нас живьем, им никого не обмануть словами о том, что во всем виноваты богачи» [там же: 4]. Все это позволяет поставить под сомнение следующее мнение о ее романах: «В своих романах она [Айн Рэнд. – А. Г.] описывает ненависть к слабым и отказ против любой помощи людям» [Иванникова 2015: 31].

В романе Рэнд есть сильный образ рабочего Кормилицы, верой и правдой служившего сталелитейному магнату Хэнку Риардену. Правда, изначально он исповедовал вполне паразитическую философию и был одним из «менеджеров» на заводе Риардена, назначенных «сверху», однако со временем осознал, что не желает быть «клопом» и хочет быть простым рабочим. В конце концов парень отдает жизнь за своего хозяина в стачке, якобы организованной рабочими его завода, а на самом деле подстроенной «бандитами из Вашингтона»: он боролся с ними и прополз, раненый, много метров, чтобы сообщить правду Риардену. Вообще рабочие в романе Айн Рэнд верят своим хозяевам: так, когда Дагни Таггерт понадобилось выбрать шофера для того, чтобы впервые провести поезд по дороге, проложенной из рельсов, сделанных из риарден-металла, доверие ей оказали почти все ее рабочие: «Свои услуги предложили все машинисты фирмы Таггерт. Так же поступили кочегары, тормозные рабочие и кондукторы» [Рэнд 2009а: 8]. Таким образом, в романе описан принцип «рабочий – это компаньон капиталиста», сформулированный именно Генри Фордом.

В романе Рэнд отношения капиталистов с рабочими достаточно просты. В частности, утверждается, что на заводе Риардена «в конфликтах просто не было нужды. Риарден платил рабочим по самой высокой тарифной сетке в стране, за которую требовал и получал самую лучшую рабочую силу» [Рэнд 2009б: 6]. Риарден также от-

крыто признается, что работать себе в убыток в ситуации, когда правительство грабит и их, и рабочих, он не планирует: «Собираюсь ли я платить своим рабочим больше, чем та сумма, что приносят их услуги? Нет» [Рэнд 2009б: 4].

Айн Рэнд видела своей задачей напоминание людям о том, что «не рабочим единым жив завод», и о том, что такое рачительный хозяин завода, выходец из низов, знающий любое дело на своем заводе, а не поставленный туда «сверху». Иную картину рисует Эптон Синклер: в образе Генри Форда он видит человека, который не желает «делиться» богатством с теми, кто в нем так нуждается. Корень зла, по Рэнд, находится в государственном контроле над частными предприятиями: «Сталкиваясь где бы то ни было... с феноменом предвзятости, несправедливости, преследования и слепой, безрассудной ненависти к некому меньшинству – ищите шайку, которой эта травля приносит выгоду... Вы непременно обнаружите, что преследуемое меньшинство служит козлом отпущения для неких сил, которые стараются не разглашать свои собственные цели. Каждое общественное движение, планирующее поработить страну, каждая диктатура или потенциальная диктатура нуждаются в меньшинстве, которое можно превратить в козла отпущения, виновного в невзгодах народа, и под этим предлогом оправдать свои собственные претензии на диктаторскую власть» [Рэнд 2016: 55]. По Синклеру же, вся проблема – в захвативших власть богачах.

При этом проблематичной остается интерпретация образа Генри Форда в обоих романах. Как мы уже отмечали, реальный Генри Форд был весьма далек от того идеала, который рисовала Рэнд. Однако она никогда не скрывала и того факта, что капитализм – это «незнакомый идеал». Незнакомый, прежде всего, Америке. Вдохновляясь такими крупными фигурами бизнеса, как Форд, Рэнд единственно хотела быть полезна для них своими трудами, которые могли дать им базу для того развития, которое она предполагала как необходимое. Роман Синклера «Автомобильный король» заканчивается фразой Генри Форда: «Иногда я спрашиваю себя: а может ли вообще кто-нибудь делать добро? Если кто-нибудь знает, куда мы идем, то он знает гораздо больше меня» [Синклер 1984: 383]. Синклер, конечно, предполагал, что «больше» Форда знают социалисты, однако Рэнд считала иначе, полагая философию объективизма «интеллектуальным поводом» для бизнесмена. Оба автора воссоздали в своих романах принципиально разные интерпретации образа Генри Форда, ни одна из которых, конечно, не претендует на его понимание как реального человека.

Примечания

¹ Невозможно не считать фанатиком человека, который знал правду о деле Сакко и Ванцетти, однако принес ее в жертву «делу социализма». Речь идет о романе Синклера «Бостон» и обнаруженном Л. Кауфманом, специалистом по творчеству Э. Синклера, письме, в котором тот рассказывает об адвокате Сакко и Ванцетти, который признался ему в их виновности. Однако, как отмечает исследователь, это не помешало писателю изобразить в романе убийц жертвами несправедливости капитализма: «Синклер встретился с дилеммой. Он не хотел запятнать образы Сакко и Ванцетти, связывая их с бомбами <...> “Это может отравить нашу общественную жизнь на поколения. Для рабочих всего мира это – сигнал стать организованными и контролировать кровожадность капитализма”» [Кауфман 2018а].

² Хотя экономисты отмечают, что говорить о связи Г. Форда и социализма не совсем корректно, так как на его заводе не было распределения средней заработной платы среди рабочих, как при социализме, а также рабочих не принуждали к службе на заводе Форда, однако налицо ущемление свободы личности, ведь зачастую рабочий просто не мог найти иной работы (что и описано в романе Синклера): «В результате он [Генри Форд. – А. Г.] создал в одной отдельно взятой корпорации по существу то же самое, что большевики создавали в одной отдельно взятой стране. Авторитарность и патернализм были в равной мере свойственны фордовскому корпоратизму и советскому социализму» [Промышленность и общество 2012].

³ В своей лекции *Capitalism vs Communism*, прочитанной в 1961 г. в отеле Астор (Нью-Йорк) перед президентами клуба американской ассоциации менеджмента, Айн Рэнд подчеркивала, что основной причиной проблем в американской экономике является именно игнорирование бизнесменами важности философии, признание ее необязательной для понимания «деловому человеку» [Capitalism vs Communism].

Список литературы

Беляев Н. З. Генри Форд. URL: <https://unotices.com/book.php?id=173583&page=1> (дата обращения: 10.02.2019).

Воскресенская Л. И. Реализм и оценочность в описании социокультурного развития в художественной литературе Соединенных Штатов // Вестник Омского университета. 2012. № 1. С. 140–144.

Гофман М. Американская мечта [электрон. ресурс]. 2013. 376 с.

Иванникова Е. С. Темы и образы в трилогии Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» // Сове-

менные проблемы гуманитарных наук в мире: сб. науч. тр. Казань: ИЦРОН, 2015. Вып. 2. С. 31–32.

Кауфман Л. Дело о Сакко и Ванцетти в романе Э. Синклера «Бостон» // Чайка: Seagull Magazine. 12 янв. 2018а. URL: <https://www.chayka.org/node/8645> (дата обращения: 10.02.2019).

Кауфман Л. Эптон Синклер и социализм // Новая литература. 2018б. Март. URL: http://newlit.ru/~kaufman/6012.html#_ftn0 (дата обращения: 10.02.2019).

Корпоративный социализм // Промышленность и общество: социальные проекты индустриального масштаба. URL: <http://www.piorotal.ru/korporativny-j-sotsializm/> (дата обращения: 10.02.2019).

Рэнд А. Атлант расправил плечи / пер. с англ. М.: Альпин Бизнес Букс, 2009а. Ч. 1. 436 с.

Рэнд А. Атлант расправил плечи / пер. с англ. М.: Альпин Бизнес Букс, 2009б. Ч. 2. 424 с.

Рэнд А. Большой бизнес – преследуемое меньшинство американского общества // Рэнд А. Капитализм: Незнакомый идеал. М.: Альпина Паблишер, 2016. С. 53–75.

Рэнд А. Что такое капитализм? // Рэнд А. Капитализм: Незнакомый идеал. М.: Альпина Паблишер, 2016. С. 11–40.

Синклер Э. Автомобильный король // Синклер Э. Дельцы. Автомобильный король. М.: Правда, 1984. С. 201–383.

Тлостанова М. В. Эптон Синклер // История литературы США. Т. 5: Литература начала XX века (1901–1920). М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 525–543.

Форд Г. Моя жизнь. Мои достижения. М.: АСТ, 2019. 352 с.

Britting J. Anthem and The Individualist Manifesto // Essays on Ayn Rand's Anthem / ed. by R. Mayhew. N. Y.: Lexington Books, 2005. P. 70–80.

Grigorovskaya A. V. The new type of hero in Ayn Rand's novels and his historical roots // The Journal of Ayn Rand Studies. 2017. Vol. 17, № 2. P. 275–284.

Rand A. Capitalism vs Communism: видеозапись лекции Айн Рэнд // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=n8XuKqQppWU> (дата обращения: 10.02.2019).

Rand A. For The New Intellectual // Rand A. For the New Intellectual. N. Y.: Random House Inc., 1961. P. 7–48.

Rosenthal B. G. The Russian Subtext of «Atlas Shrugged» and «The Fountainhead» // The Journal of Ayn Rand Studies. 2004. Vol. 6, № 1. P. 195–225.

Sciabarra C. M. Ayn Rand. The Russian Radical. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2013. 477 p.

Letters of Ayn Rand / ed. by M. S. Berliner. N. Y., 1997. 254 p.

References

Belyaev N. Z. *Genri Ford* [Henry Ford]. Available at: <https://unotices.com/book.php?id=173583-amp;page=1> (accessed 10.02.2019). (In Russ.)

Voskresenskaya L. I. *Realizm i otsenchnost' v opisanii sotsiokul'turnogo razvitiya v khudozhestvennoy literature Soedinennykh Shtatov* [Realism and evaluativeness in the description of social-cultural development in the literature of the United States]. *Vestnik Omskogo Universiteta* [Herald of Omsk University], 2012, issue 1, pp. 31–32. (In Russ.)

Gofman M. *Amerikanskaya mechta* [American Dream: digital edition], 2013. 376 p. (In Russ.)

Ivannikova E. S. *Temy i obrazy v triologii Ayn Rend 'Atlant raspravil plechi* [Themes and images in Ayn Rand's trilogy 'Atlas Shrugged']. *Sovremennye problemy gumanitarnykh nauk v mire: sb.nauch.tr.* [Current issues of the humanities in the world: Collection of proceedings]. Kazan, IDCES Publ., 2015, issue 2, pp. 31–32. (In Russ.)

Kaufman L. *Delo o Sakko i Vantsetti v romane E. Sinklera 'Boston'* [The Sacco and Vanzetti case in U. Sinclair's novel 'Boston']. *Chayka* [Seagull Magazine]. January 12, 2018а. Available at: <https://www.chayka.org/node/8645> (accessed 10.02.2019). (In Russ.)

Kaufman L. *Upton Sinkler i sotsializm* [Upton Sinclair and socialism]. *Novaya literature* [New Literature]. March, 2018b. Available at: http://newlit.ru/~kaufman/6012.html#_ftn0 (accessed 10.02.2019). (In Russ.)

Rand A. *Atlant raspravil plechi. Ch. 1* [Atlas Shrugged. Part 1]. Moscow, Alpin Business Books Publ., 2009а. 436 p. (In Russ.)

Rand A. *Atlant raspravil plechi. Ch. 2* [Atlas Shrugged. Part 2]. Moscow, Alpin Business Books, 2009b. 424 p. (In Russ.)

Rand A. *Bol'shoy biznes – presleduyemoe men'shinstvo amerikanskogo obshchestva* [America's Persecuted Minority: Big Business]. Rand A. *Kapitalizm: Neznakomyy ideal* [Capitalism: The unknown ideal]. Moscow, Alpina Publisher, 2016, pp. 53–75. (In Russ.)

Rand A. *Chto takoe kapitalizm?* [What is capitalism?]. Rand A. *Kapitalizm: Neznakomyy ideal* [Capitalism: The unknown ideal]. Moscow, Alpina Publisher, 2016, pp. 11–40. (In Russ.)

Sinclair U. *Avtomobil'nyy korol'* [The Flivver King]. Sinclair U. *Del'tsy. Avtomobil'nyy korol'* [The Money Changers. The Flivver King]. Moscow, Pravda Publ., 1984, pp. 201–383. (In Russ.)

Tlostanova M. V. Epton Sinkler [Upton Sinclair]. *Istoriya literatury SShA. T. 5. Literatura nachala 20 veka (1901–1920)* [History of the US literature. Vol. 5. Literature of the early 20th century (1901–1920)]. Moscow, IWL RAS Publ., 2009, pp. 525–543. (In Russ.)

Ford H. *Moya zhizn'. Moi dostizheniya* [My life and work]. Moscow, AST Publ., 2019. 352 p. (In Russ.)

Korporativnyy sotsializm [Corporate socialism]. *Promyshlennost' i obshchestvo: sotsial'nye proekty industrial'nogo masshtaba* [Industry and society: social projects of industrial scale]. Available at: <http://www.pioportal.ru/korporativny-j-sotsializm/> (accessed 10.02.2019). (In Russ.)

Britting J. Anthem and the individualist manifesto. *Essays on Ayn Rand's Anthem*. Ed. by R. Mayhew. New York, Lexington Books, 2005, pp. 70–80. (In Eng.)

Grigorovskaya A. V. The new type of hero in Ayn Rand's novels and his historical roots. *The Journal of Ayn Rand Studies*, 2017, vol. 17, issue 2, pp. 275–284. (In Eng.)

Rand A. *Capitalism vs Communism: video recording of Ayn Rand's lecture*. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=n8XuKq-QppWU> (accessed 10.02.2019). (In Eng. with Russ. subs)

Rand A. For the new intellectual Rand A. *For the new intellectual*. New York, Random House Inc., 1961, pp. 7–48. (In Eng.)

Rosenthal B. G. The Russian subtext of 'Atlas shrugged' and 'The fountainhead'. *The Journal of Ayn Rand Studies*, 2004, issue 1, vol. 6, pp. 195–225. (In Eng.)

Sciabarra C. M. *Ayn Rand. The Russian radical*. Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 2013. 477 p. (In Eng.)

Letters of Ayn Rand. Ed. by M. S. Berliner. New York, 1997. 254 p. (In Eng.)

THE INTERPRETATIONS OF HENRY FORD'S IMAGE IN U. SINCLAIR'S NOVEL 'THE FLIVVER KING' AND AYN RAND'S NOVEL 'ATLAS SHRUGGED'

Anastasiya V. Grigorovskaya

Associate Professor in the Department of Russian and Foreign Literature
University of Tyumen

6, Volodarskogo st., Tyumen, 625003, Russian Federation. a.v.grigorovskaya@utmn.ru

SPIN-code: 2478-7271

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9282-313X>

ResearcherID: H-9881-2018

Submitted 25.02.2019

The article provides a comparative analysis of Ayn Rand's and Upton Sinclair's novels *Atlas Shrugged* (1957) and *The Flivver King* (1937). It aims to show the specific features of Henry Ford's image interpretation in the novels, taking into account that this image is considerable for the model of businessman peculiar to the American collective consciousness. The main character in both novels is an inventor and businessman, this image being controversial in American literature, which determined the scope of the research. Sinclair describes the real inventor and enterpriser Henry Ford, whereas Ayn Rand's heroes are fictional characters, although created under the inspiration of the legendary inventor of the automobile engine. The study revealed discrepancy in the understanding of Ford's hero by Rand. In particular, for businessmen she offers the philosophy of objectivism forming *the practical thinker* and *the philosophical businessman* as an alternative to socialism. The comparative analysis of the novels reveals such similarities as the motifs of invention and distrust of inventors and also the identical start of the heroes-entrepreneurs' careers. As for the differences in the authors' views, they understand the 'American dream' in different ways (a sarcastic understanding in Sinclair's novel and an idealistic one in Rand's) and, as a consequence, they show different attitude to the *laissez-faire*. This difference is obvious when we analyze the relationships between worker and master in both texts: in Sinclair's text master and worker are opposed to one another, while Rand describes them as companions. Thus, neither of the authors describes real Henry Ford and both interpretations are only the author's ones. The following methods were used for the analysis: systemic-holistic, biographical, comparative.

Key words: American literature; Ayn Rand; Upton Sinclair; image of an enterpriser; capitalism; socialism.

УДК 821.112.2.09.17'-1

doi 10.17072/2073-6681-2019-3-131-145

МОТИВЫ ЭККЛЕСИАСТА И ПЕСНИ ПЕСНЕЙ В ПОЭЗИИ И. К. ГЮНТЕРА

(к вопросу о библейской архетекстуальности)

Галина Вениаминовна Синило

к. филол. н., доцент, профессор кафедры культурологии,

доцент кафедры зарубежной литературы

Белорусский государственный университет

220030, Беларусь, г. Минск, просп. Независимости, 4. sinilo@mail.ru

SPIN-код: 4945-2985

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2430-4538>

Статья поступила в редакцию 29.05.2019

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Синило Г. В. Мотивы Экклесиаста и Песни Песней в поэзии И. К. Гюнтера (к вопросу о библейской архетекстуальности) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 131–145. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-131-145

Please cite this article in English as:

Sinilo G. V. Motivy Ekklesiasta i Pesni Pesney v poezii I. K. Gyuntera (k voprosu o bibleyskoy arkhetekstual'nosti) [The Motifs of 'Ecclesiastes' and 'The Song of Songs' in J. Chr. Günther's Poetry (on the Issue of Biblical Archetextuality)]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 3, pp. 131–145. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-131-145 (In Russ.)

Исследование посвящено о проблеме библейской архетекстуальности в европейской литературе, в частности, в творчестве выдающегося немецкого поэта И. К. Гюнтера (J. Chr. Günther, 1695–1723). Его цель – выявление функций Книги Экклесиаста (Екклесиаста) и Песни Песней как важнейших архетекстов поэзии Гюнтера. Методологической основой исследования послужила концепция диалога культур и «диалога текстов» М. М. Бахтина, а также базирующаяся на ней теория интертекстуальности (Ю. Критева, Р. Барт, Ж. Женетт). Использованы главным образом методы структурного и целостного анализа художественного текста, компаративный, герменевтический, культурно-исторический, биографический. Установлено, что в каких бы жанрах ни писал Гюнтер, он постоянно ведет диалог с Библией, часто сознательно ориентируясь на ее поэтику. Книга Экклесиаста, исследующего трагические антиномии бытия, парадоксально соединяющего представление о бренности и абсурдности жизни с призывом радоваться каждому ее мгновению, оказалась чрезвычайно созвучной поэзии барокко. У Гюнтера во многом сохраняются черты барочного мироощущения, поэтому закономерно мотивы Экклесиаста пронизывают его лирику (духовные и студенческие песни, любовные и философские стихи). В сравнении с древнееврейским поэтом, а также барочными поэтами XVII в. у Гюнтера более силен гедонизм, но это гедонизм нового типа, опирающийся на разумную природу человека и его естественное стремление к счастью, – прежде всего в его студенческих песнях (*Studentenlieder*) – первых произведениях рококо в немецкой поэзии. Новый гедонизм в соединении с мотивами бренности бытия, преломленный через топику Экклесиаста и Песни Песней, проявляется в новаторской любовной лирике Гюнтера, отличающейся особым исповедальным характером. Размышления над неразрешимой проблемой теодицеи через призму Книги Иова и Книги Экклесиаста усиливаются в позднем творчестве Гюнтера, органично сочетаясь с упованием на спасение и Божественную любовь в мире вечном, в связи с чем поэт обращается к мистически осмысленной топике Песни Песней. Библейская архетекстуальность позволила Гюнтеру глубже выразить свою индивидуальность и проблемы человеческого духа в сложное переломное время.

Ключевые слова: немецкая поэзия начала XVIII в.; И. К. Гюнтер; Библия; Книга Экклесиаста; Песнь Песней; архетекст; архетекстуальность; барокко; рококо.

Одной из актуальных проблем современного литературоведения является проблема взаимосвязи литературы и Библии. Так, в коллективном труде немецких исследователей «Книга в книгах: взаимодействия Библии и литературы» отмечается: «Интерес к Библии растет. Соотношение библейского и литературного текста становится одним из наиболее сложных исследовательских полей литературоведения и культурологии» [Das Buch in den Büchern 2012: 2]. Солидаризуясь с этим мнением, подчеркнем, что Библия сама является литературным (художественным) текстом, хотя ее роль, естественно, не может быть сведена только к этому. Наряду с наследием античной культуры Библия стала одним из важнейших архетекстов европейской культуры и литературы. Под архетекстом мы понимаем древний текст-образец («текст-в-начале»), обладающий для той или иной культуры повышенной аксиологической значимостью, высокой степенью референтности, реинтерпретируемости, цитируемости. При этом Библия является не просто архетекстом, но «осевым» архетекстом европейской культуры (и, шире, культуры иудейско-христианского мира), выполняющим генеральную смысло- и текстопорождающую функцию (см. подробнее: [Синило 2017]).

Безусловно, роль Библии чрезвычайно важна для христианского дискурса, для религиозной и духовно-этической сферы, но не менее значимо ее влияние на сферу эстетическую, в том числе на художественную литературу. Оно было бы невозможно без особого эстетического заряда, который несут в себе библейские тексты, что в конце XVIII в. показали в своих библейских штудиях И. Г. Гердер и И. В. Гёте, утвердившие подход к Библии как синтезу духовных и художественных усилий конкретного народа в конкретно-исторических обстоятельствах – как к плоду древнееврейской культуры, в лоне которой рождается христианство. Для ряда эпох европейской культуры, как верно заметил С. С. Аверинцев, «библейская поэзия стала коррективом и дополнением к античному идеалу красоты и уравновешенной меры» [Аверинцев 1988: 189]. Это в первую очередь касается переломных эпох, наиболее остро ощущавших разрыв с традицией, – таких как XVII в. (и прежде всего барокко), романтизм, декаданс, модернизм.

Обостренный интерес к библейской поэзии, прежде всего к лирическим книгам Библии (Псалтирь, Песнь Песней, Экклесиаст), свойственный немецкой поэзии XVII в., сохраняется и в начале XVIII в., что наглядно подтверждает творчество Иоганна Кристиана Гюнтера (Johann Christian Günther, 1695–1723). Оно является наиболее ярким феноменом немецкой поэзии

сложного переходного времени, оказавшим значительное влияние на дальнейшее ее развитие, особенно на молодого Гёте и штурмерскую поэтику. Наследие Гюнтера достаточно хорошо изучено немецким литературоведением (укажем лишь наиболее значительные работы: [Bütler-Schön 1980, 1982]; [Dahlke 1960]; [Krämer 1949, 1980]; [Osterkamp 1981]; [Stüben (Hrsg.) 1997]), в меньшей степени – англоязычным ([Winkler 1963; Sutherland 1991]) и чрезвычайно слабо – советской наукой (немногочисленные исключения – разделы о творчестве Гюнтера в академических изданиях, посвященных истории немецкой и всемирной литературы: [Самарин 1962]; [Тураев 1988: 196–199]). В постсоветскую эпоху поэзия Гюнтера практически не привлекала к себе внимания исследователей. Кроме того, библейская архетекстуальность в поэзии Гюнтера, в том числе связанная с Книгой Экклесиаста и Песнью Песней, не становилась предметом самостоятельного рассмотрения ни в западном, ни в российском, ни в белорусском литературоведении. В связи с этим тема настоящего исследования представляется нам *актуальной*. Цель исследования – выявление функций мотивов Экклесиаста и Песни Песней в поэзии И. К. Гюнтера. *Теоретико-методологической базой* исследования являются концепции диалога культур и «диалога текстов» (М. М. Бахтин), а также интертекстуальности (Ю. Кристева, Р. Барт, Ж. Жетт). *Основные методы* исследования – методы структурного и целостного анализа текста, герменевтический, компаративный, культурно-исторический, биографический.

Творчество И. К. Гюнтера является своеобразным мостом, соединяющим две эпохи и ярко отражающим сам процесс перехода от XVII в. как культурно-исторической эпохи (и прежде всего от барокко как одного из генеральных стилей эпохи) к Просвещению. С одной стороны, Гюнтер синтезировал все лучшие достижения немецкой поэзии XVII в. (заветы М. Опица и основанной им Первой Силезской школы, открытия А. Грифиуса, завоевания Второй Силезской школы и поэтов-мистиков), с другой – во многом предвосхитил в Германии просветительскую поэтику, особенно в русле рококо и просветительского классицизма. Трагически короткая жизнь поэта – неполных 28 лет – оказалась своего рода символом трагизма бытия, его неприкаянная судьба – символом бесприютной и скитальческой судьбы поэта вообще. Кроме того, одним из важнейших открытий Гюнтера стали особая исповедальность в поэзии и то, что впервые в таких масштабах поэт сделал свою биографию содержанием поэзии. Именно поэтому вне контекста его личной судьбы невозможно понять специфи-

ку его поэтики, жанрово-стилевую динамику, поэтическое новаторство, в том числе и в обращении с библейским текстом.

Гюнтер родился в Силезии, в городке Штригау, в семье врача, потерявшего практику и почти разорившегося. Старый знакомый отца помог определить пятнадцатилетнего Гюнтера в гимназию в Швейднице, где он проучился пять лет (1710–1715) и получил основательное классическое образование. Директор гимназии И. К. Лейбшер, талантливый филолог-классик, оценил одаренность юноши и специально занимался с ним греческой и латинской просодией. Преподававший в гимназии силезский стихотворец Бенъямин Шмольке (B. Schmolke) обучал Гюнтера немецкому стихосложению. Молодому поэту прочат блестящее будущее. Вместе с первой славой пришла первая любовь: Гюнтер любил племянницу и воспитанницу Лейбшера – Элеонору Яхман, которая надолго стала музой поэта и героиней его любовной лирики, воспетой под именем Леонора. В надежде получить образование, обрести место под солнцем и получить право на союз с Элеонорой Гюнтер в 1715 г. покидает Швейдниц и отправляется в скитания. Сначала он учится в университете в Виттенберге, где вскоре становится любимым поэтом студенческой молодежи. С 1718 г. Гюнтер продолжает учебу в Лейпциге, где штудировал медицину. Он бедствует, переживает все «прелести» полуголодного студенческого существования, попадает в долговую тюрьму, но не отказывается от веселой студенческой жизни и все в большей степени именно в поэзии обнаруживает свое истинное призвание. Однако и здесь обретению хотя бы относительной независимости и средств к существованию препятствует гордый и бескомпромиссный нрав поэта. Он резко критикует угодливую и педантичную придворную поэзию, что вскоре приводит к жестокой травле поэта, который как никто ощущает духовное удушье, невозможность реализовать себя и следовать своему предназначению. Все более и более Гюнтер пытается обрести опору в самом себе, в своих разуме и чувствах, в призвании поэта, стремится, говоря словами И. Канта, «иметь мужество пользоваться собственным умом». Он сближается в Лейпциге с просветительским кружком И. Б. Менке, что способствует расширению его интеллектуальных и духовных горизонтов, органичному вхождению в его поэзию просветительских идей и элементов просветительской поэтики.

Вместе с тем внешние обстоятельства жизни поэта складываются крайне неблагоприятно. В 1719 г. Менке, профессор истории, известный саксонский историограф, пытается помочь ему получить место придворного поэта в Дрездене,

при Саксонском дворе. Гюнтер отправился в Дрезден, где его должны были представить Августу Саксонскому и где он должен был прочесть в присутствии монарха свою знаменитую оду на заключение Пассаровицкого мира. Сохранились полуанекдотические сведения о том, что поэт так и не смог этого сделать, ибо настроенные против него придворные подпоили его. В результате место получил И. Кёниг. С этого момента в жизни Гюнтера начинается полоса беспокойных странствий, бедствий, болезней, нужды. Он пытается вернуться в родную Силезию, открыть врачебную практику, но это ему не удается: от него отворачивается бюргерство, отрекается собственный отец (как предполагают исследователи, особую роль в трагической судьбе поэта сыграла травля со стороны лютеранского духовенства). Не сбылась и надежда соединиться с Элеонорой Яхман. Все плотнее подступали к нему неизбывные одиночество и беспросветная нужда. Холодной ранней весной 1720 г. во время очередного странствия Гюнтер отморозил себе ногу из-за плохой обуви и почти умирал в маленьком городке Лаубен, однако смерть на этот раз почему-то отступила, оставив ему еще несколько лет, словно бы для того, чтобы он смог еще написать некоторые свои прекрасные стихотворения. В 1721 г. поэт вновь покинул Силезию, попытался устроиться в Лейпциге, но безрезультатно. Последним его приютом стала Иена. Здесь он умер, окончательно сломленный жизнью. Его проводили в последний путь несколько земляков, похоронивших его за свой счет.

Так завершилось бесприютное и очень короткое земное существование поэта, произведения которого при жизни ходили только в рукописных списках. Однако уже в 1724 г. вышло первое собрание стихотворений Гюнтера, разошедшееся мгновенно и имевшее огромный успех. Главная причина этого успеха заключалась в предельной искренности и взволнованности его поэзии, в пронизывающем ее остром личностном начале, превращающем ее порой в исповедь, в дневник души. Поэзия Гюнтера привлекает духом вольности и непокорства, который окажется столь близким штюрмерскому поколению, подкупает неизменной верой в высокое предназначение поэзии, сохранявшейся в душе поэта всегда, в какие бы тупики и ямы ни загоняла его судьба.

В осмыслении своего непростого времени и еще более непростой судьбы для Гюнтера чрезвычайно важную роль играет постоянный диалог с Библией – со всей полнотой текста, но особенно – с Евангелиями, Книгой Иова, Псалтирью, Песнью Песней, Книгой Экклесиаста. Именно лирические книги Библии становятся не только архетекстами поэзии Гюнтера в широком смыс-

ле, но и архитекторами, обуславливающими его жанрово-стилевые поиски. Прежде всего это касается Книги Экклесиаста, которая является своего рода «осевым» архитектурным поэзии барокко (см. подробнее: [Синило 2018]). Самая цитируемая из книг Библии является по жанру лирической религиозно-философской поэмой, в которой исследуются трагические антиномии бытия и сознания, проблемы смысла жизни и смерти, возможности или невозможности счастья в земном мире (см. подробнее: [Синило 2012]). Наряду с трактатом Юста Липсия «De Constantia» («О Постоянстве», 1584) Книга Экклесиаста стала настольной книгой для чтения людей эпохи неостоицизма. Именно в ней барокко черпает обоснование своих главных мировоззренческих принципов и ведущих тем: *vanitas mundi* ‘бренность, суетность мира’ (представление о хрупкости и эфемерности мира, его бесконечной изменчивости, постоянном непостоянстве), *discordia concors* ‘соединение несоединимого, сочетание несочетаемого’ (видение мира в контрастах и антиномиях, которые парадоксально объединяются), *Constantia* ‘постоянство’ (постоянство человеческого духа вопреки непостоянству мира, верность человека самому себе и Богу; ключевое понятие религиозно-философской и этической концепции Юста Липсия, имеющее внеконфессиональный смысл). В картине мира, нарисованной Экклесиастом, парадоксально сопрягаются представление о бессмысленности, тщетности, абсурдности всех дел человеческих – и вера в осмысленность бытия (поиски смысла в мире смыслоутират), трагичность, пессимизм, представление о мире как юдоли скорбей – и призыв радоваться жизни, наслаждаться счастьем и весельем вопреки (и благодаря) ее скоротечности. Повторяя, что все в этом мире есть суета (таков традиционный перевод на русский язык многозначного генерального экклесиастовского концепта *hăbāl* <’ăvāl> ‘пар’, ‘дыхание’, ‘дуновение’, ‘пустота’, ‘ничто’, ‘ничтожность’, ‘суета’, ‘тщета’, ‘напрасность’, ‘абсурдность’)¹, более того, – «суета сует» (*hăbēl hăbālīm* – форма превосходной степени в иврите, означающая в данном случае высшую форму суеты), библейский мудрец рассматривает все земные дела и намерения человека как формы суеты. Но вопреки этой суете (точнее – тщете) он устремлен к высшему смыслу, который невозможен без Бога (*И о своем Создателе помни с юных дней...* (Еккл. 12:1; здесь и далее перевод И. Дьяконова. – Г. С.) [Ветхий Завет 1998: 64]; *Бога бойся, храни Его заветы, / Ибо это каждому подобает* (Еккл. 12:13) [там же: 66]). Бог сотворил прекрасный мир, который лишь человек превращает в мир суеты, в юдоль страданий. Задача челове-

ка – быть верным себе и Богу, довольствоваться собой и простыми, но вечными ценностями жизни – дружбой, любовью, трудом, который приносит радость:

Вот что я увидел благим и прекрасным: / Есть и пить, и видеть благо в своих трудах – / Над чем кто трудится под солнцем / В считанные дни своей жизни, что дал ему Бог... (Еккл. 5:17); Так ешь же в радости хлеб твой и с легким сердцем пей вино – / Ибо угодны Богу твои деянья. / Во всякое время да будут белы твои одежды, / И пусть не оскудевает на голове твоей умащенье; // Наслаждайся жизнью с женщиной, которую любишь, / Во все дни твоей тщетной жизни, / Которые дал тебе Он под солнцем... (Еккл. 9:7–9) [там же: 51–52, 59–60].

Таким образом, согласно Экклесиасту, признание хрупкости, бренности, тщетности, абсурдности бытия (последнее особенно очевидно в повторяемости человеческих благоглупостей, в невозможности устройства социальной жизни на справедливых началах) не противоречит возможности радоваться красоте земного бытия и солнечному свету (как «мир под солнцем» определяет библейский мудрец земной мир), вкушать радости жизни, но помнить «о днях темноты», о предстоящем конце и о Суде Божьем:

И сладок свет, и благо очам – видеть солнце. // Даже если много дней человек проживет, / То да радуется каждому из них – / И помнит о днях темноты, ибо тех будет много: / Все, что наступит, – тщета. // Радуйся, юноша, молодости своей, / И в дни юности твоей да будет сердцу благо: / Иди по пути, которым влечет тебя сердце, / Туда, куда глядят твои очи, / И знай, что за все это Бог призовет тебя к суду. // Но скорбь отведи от сердца, / И худое отведи от плоти, / Ибо молодость и черные волосы – тщета (Еккл. 11:7–10) [там же: 64].

Антиномичность мышления Экклесиаста оказывается чрезвычайно близкой Гюнтеру, который испытал сильнейшее влияние Второй Силезской школы и мировидение которого отмечено истинно барочными контрастами и парадоксами: бренность, хрупкость бытия, трагичность удела человеческого – и жгучее упоение жизнью, опыление ее красками; эфемерность человеческого существования, его абсурдность – и сила духа, противостоящая бренности и призрачности бытия; прославление земной жизни – и поиски утешения в загробном воздаянии, в той гармонии, которая открывается после смерти и противостоит прижизненному аду; дерзновенный, в духе библейского Иова, спор с Богом – и надежда на Его беспредельную милость. Неслучайно Р. Бёльхоф утверждает, что со смертью Гюнтера «завершается великая силезская поэтическая традиция барокко» [Böhlhoff 1998: 915]. Исследо-

ватель также подчеркивает, что, «как и в барочной поэзии в целом, в произведениях Гюнтера постоянно присутствует религиозный фон – даже в застольных и любовных песнях» [Böhlhoff 1998: 926]. Заметим, что этот «религиозный фон» (*religiöse Hintergrund*) чаще всего реализуется через библейскую архе- и интертекстуальность, в том числе связанную с Экклесиастом.

Мотивы Экклесиаста, его ключевые топосы и концепты, прямые и скрытые цитаты из него пронизывают самые различные жанры, в которых работал Гюнтер. Одним из них была духовная песня (*Geistliches Lied*), в жанре которой поэт писал «от самого раннего школьного времени до своей смерти» [Böhlhoff 1998: 1027]. Безусловно, важнейшую архе- и архитектуральную роль для этого жанра играла Книга Псалмов, или Псалтирь (что требует отдельного рассмотрения), равно как чрезвычайно важна была традиция, идущая от М. Лютера к М. Опицу, П. Флемингу, И. Ристу, П. Герхардту и др. (в целом в Германии XVII в. не было ни одного более или менее крупного поэта, который не писал бы духовных песен. О месте Гюнтера в истории протестантской поэзии см.: [Konrad, Pape 1981]). Однако, пожалуй, никто из авторов духовных песен не обращался так часто к топике Экклесиаста, как Гюнтер. Показательно, что одна из его духовных песен паратекстуально (в заглавии) задает отсылку к проблематике Экклесиаста: «Die Eitelkeit des menschlichen Lebens» («Бренность [тщетность, ничтожность] человеческой жизни»). Именно с помощью слов *eitel* и *Eitelkeit* М. Лютер в своем переводе передал труднопереводимый концепт Экклесиаста *hābāl*, о котором шла речь выше. Когда немецкие поэты стали – с легкой руки М. Опица – писать по-немецки, в том числе создавать религиозно-философскую лирику, слова *eitel* и *Eitelkeit* стали своеобразными маркерами, отсылающими именно к тексту Экклесиаста. Показательно, что далее в духовной песне Гюнтера нет этих слов, но в каждой из строф поэт предает рефлексии, как и Экклесиаст, о разных видах бренности, суеты, тщеты, проявляющихся на разных уровнях в разные возрасты жизни человека. Само начало песни отсылает к этой горькой всеобщности тщеты и страданий как формулы земного бытия:

Mein Geist beweine doch / Den allgemeinen Jammer! / Das Leben ist ein Joch, / Das uns mehr drückt als zieret, / Ach Ungemach! / Und auf die Folter schnieret, / Ach! Ach! [Günther 1998: 200].

(Мой дух, оплачь / Всеобщее страдание! / Жизнь – это ярмо, / Которое нас больше давит, чем украшает, / Ах, невзгоды! / И обрекает на пытки, / Ах! Ах! – Здесь и далее подстрочный перевод наш. – Г. С.)

Обращает на себя внимание особый рисунок семистопной строфы, избранный Гюнтером: трехстопный ямб с альтернансом мужских и женских рифм в первых четырех и шестом стихах; между ними вклинивается, как короткий вскрик, хориямб (сочетание хорей и ямба), а в финальной строке звучит спондей. Все это, с одной стороны, создает песенную интонацию (ей способствует короткий размер и очень звучные, полные рифмы), с другой – почти физически ощутимо передает взволнованное состояние человеческого духа, перебивы сердечного ритма благодаря предельно кратким строкам, особенно финальному спондею. Восклицания *Ach Ungemach!* и *Ach! Ach!* становятся рефреном всего текста.

Далее поэт развивает мысль, типичную практически для всех поэтов барокко: начиная с первого вздоха, с первых шагов человека подкарауливают слезы, боль, страдания, несчастья. Учась ходить, человек падает, а научившись ходить, готовится к еще более болезненным падениям. И даже расцвет юности, любовь становятся школой печали и страдания, а вслед за этим жена, семья, дети – самая большая радость в жизни человека – оборачиваются и самой большой его печалью, ибо обременяют большими заботами и тревогами, и эти тщету и страдания человек влачит до конца своих дней, пока не уходит в «страну мрака» (*nach einem finstern Lande* [ibid.: 202]).

Горькими размышлениями о бренности и тщетности человеческой жизни, о неизбежности смерти, преломленными через призму Экклесиаста и Книги Плача (Плача Иеремии), закономерно насыщены многочисленные песни-плачи (*Leichencarina* ‘песни над покойными’), часто писавшиеся Гюнтером по заказам конкретных людей, оплакивавших своих близких. Безусловно, немецкий поэт опирался также на античную и неолатинскую традицию надгробных плачей, но именно библейская составляющая придает его плачам особую проникновенность, искренность, открытость в выражении скорби и страдания, которая присуща Библии. Неслучайно в сонете на смерть школьного друга Иоганна Кюна (Johann Kuehn) юный Гюнтер вспоминает знаменитый библейский плач Давида над своим другом Йонатаном (Ионафаном) и уподобляет себя и своего друга библейским героям: *Mein Bruder Jonathan! dein höchst-betrübter Freund, / Dein David weyht dir hier die Pflicht der letzten Ehre...* [ibid.: 139]. В духе Экклесиаста размышляя о том, что никакая мудрость, ученость, даже высокая духовность не избавляют от общей участи умирания (стихотворение на смерть виттенбергского духовника Иоганна Августа Гертеля – Johann August Hertel), Гюнтер опирается на топик Экклесиаста, варьирует его метафоры, упо-

добляющие жизнь «пастьбе (ловле) ветра», праху и пыли, развеиваемым на ветру: *Der Streu-Sand, den wir taeglich reiben. / Beduetet unsern Leib, der als der Winde Spiel / Sich dermaleinst in Staub verkehret* [Günther 1998: 157].

«Прах», «пыль», «ветер», «бренность», «тщетность» (*Eitelkeit*), «ничто» (*Nichts*) – эти устойчивые топосы Экклесиаста многократно варьируются в надгробных плачах Гюнтера, равно как и размышления о времени и вечности, которые объединяет в себе бренный человек. В этом плане особенно показательно стихотворение «Время, / Как всеобщее ничто, / У гроба Благородной фрау / Гедвиги фон Бок, / Урожденной фон Венчки» («*Die Zeit, / Als ein allgemeines Nichts, / Bey der Baare Der Wohlgebohrnen Frauen / Hedwig von Bock, / Gebornen von Wentzky*»), где генеральным концептом и лейтмотивом является слово «время». Время, как и у Экклесиаста, как и у П. Флеминга в его «Мыслях о времени», выступает и как нечто, и как ничто, как то, что определяет человека и что определяется человеком. Времени подвластны все и вся, время приносит радость и печаль, возносит и низвергает, карает злодеев и возносит героев. Чем ближе к финалу стихотворения, тем больше оно насыщается библейскими аллюзиями: в шестой строфе следует целая россыпь библейских имен, становящихся сгущенными концептами, несущими в себе память о поражении временем и победе над ним: Ирод, проклятый временем и вечностью; Давид, к ногам которого время положило голову исполина Голиафа; фараон, угнетавший народ Божий и низвергнутый временем; и далее – Семей, Соломон, Ахитофель, Аман, Олоферн. Весь этот ряд готовит размышление о времени в следующей строфе, анафорически организованной, как и 3-я глава Книги Экклесиаста, словом «время». Время (*die Zeit* – женский род по-немецки) определено поэтом как «мать страданий», и особый эффект достигается резким вынесением этого генерального концепта в начало каждой строки – как ответ на все возможные вопросы:

Wer war, *Hochseeligste!* Die Mutter deines Schmerzens? / Die Zeit; Wer hat diß Kind mit Unterhalt versorgt? / Die Zeit; Wem hat dein Geist die Hoffnung abgeborgt? / Die Zeit; Wer ändert jetzt die Drangsal deines Hertzens? / Die Zeit; Wer hat dir nun Bethedens Teich bewegt? / Die Zeit; Wer ist der Artzt, der deinen Leib zerlegt? / Die Zeit... [ibid.: 155].

В сравнении с Экклесиастом, утверждающим, что Бог вложил в сердце человека вечность (см. *Еккл 3:11*), Гюнтер в еще большей степени упо-

вает на мир вечности, на Царство Божье, где найдут утешение праведники и где время больше не властно над человеком: *Wo ist der Ort, der deine Seele weidet? / Dort in der Ewigkeit, die keine Zeit mehr Leidet* [ibid.]. Вечность становится «страной свободы» (*das Land der Freyheit*), а надгробный камень – «камнем помощи» (*Eben Ezer*) [ibid.], точнее на иврите – *Эвен Эзер*, так в Библии назван памятный камень, установленный в честь победы израильтян над филистимлянами в 1-й Книге Самуила, она же – 1-я Книга Царств (1 Цар 7:12). Из вечности обращается рано ушедшее из жизни дитя к своим родителям, утешая их тем, что теперь оно в блаженном мире, над которым не властны беды, нужда, смерть, – в надгробной песне «Призыв блаженного дитя из вечности к своим скорбящим родителям» («*Zuruff eines Seligen Kindes aus der Ewigkeit an seine Hochbtruebte Eltern*»), начальные буквы каждой строфы которой образуют имя оплакиваемого: Carl Wilhelm (Карл Вильгельм; см.: [ibid.: 185–188]).

Мотивы Экклесиаста являются смысло- и текстопорождающими также в студенческих песнях Гюнтера, отмеченных неудержимым жизнелюбием, оптимизмом, верой в осуществимость человеческого счастья и одновременно напоминающих о скоротечности жизни. Студенческие песни Гюнтера – новое явление на фоне немецкой поэзии рубежа XVII–XVIII вв. В них органично сплелись книжная анакреонтическая традиция (в том числе поэзии вагантов) и традиция народной песни (при этом Гюнтер уже мог опереться на такие прецеденты, как анакреонтические оды Г. Р. Веккерлина, любовные и застольные песни М. Опица и П. Флеминга). Поэт провозглашает стремление человека к радости и счастью естественным и необходимым, он неудержимо славит краски мира и веселье, добиваясь особого сочетания изящества и простоты. В студенческих песнях Гюнтера нельзя не увидеть отчетливо выраженные мотивы рококо с его здоровым и свежим гедонизмом, вниманием к простому человеку и простым и вечным ценностям жизни. Приведем первые строфы одной из песен, так и названной – «*Studenten-Lied*» («*Brüder! laßt uns lustig seyn*» – «Братья! давайте веселиться...»), и перевод Л. Гинзбурга, который хорошо передает основное настроение немецкого поэта, песенный строй его произведения (за исключением замены в оригинале хорей ямбом в финальной строке строфы, что делает особый акцент на этой строке и придает всему тексту, помимо песенного, легкий разговорно-исповедальный характер):

Brüder! laßt uns lustig seyn,
Weil der Frühling währet,
Und der Jugend Sonnen-Schein
Unser Laub verklähret:
Grab und Bahre warten nicht;
Wer die Rosen ietzo bricht,
Dem ist der Krantz beschehret.

Unsers Lebens schwelle Flucht
Leidet keinen Zügel,
Und des Schicksals Eiffersucht
Macht ihr stetig Flügel:
Zeit und Jahre fliehn davon,
Und vielleicht schnitzt man schon
An unsers Grabes Riegel.

Wo sind diese? sagt es mir,
Die vor wenig Jahren
Eben also gleichwie wir
Jung und fröhlich waren?
Jhre Leiber deckt der Sand,
Sie sind in ein ander Land
Aus dieser Welt gefahren.
[Günther 1998: 550]

Братья, братья, прочь тоску!
Вешний день ловите!
Солнце ластится к листку!
Радуйтесь! Любите!
Темен, слеп, бездушен рок.
Смерть близка... Так в должный срок
Розу жизни рвите!

Жизнь уносится стремглав,
Словно в небо птица.
Эту истину познав,
Нужно торопиться.
Ждет гробов разверстых пасть.
Поспешите ж, братья, ввласть
Радостью упиться!

Ах, куда ушли от нас,
Кто совсем недавно
Молод был, как мы сейчас,
Веселился славно?
Их засыпали пески,
Их могилы глубоки.
Время так злонравно!
[Немецкая поэзия 1976: 177–178]

Безусловно, важным прецедентным текстом и архитектурой, определяющим жанровую структуру этой студенческой песни, является знаменитый студенческий гимн «*Gaudeamus igitur*». Однако здесь нет прославления университета, профессуры, но есть более ярко выраженный гедонизм, как и напоминание о неизбежности смерти. В этой и других студенческих песнях Гюнтер словно бы выполняет вторую часть наказа Экклесиаста: говорит о необходимости радоваться юности, любви, красоте жизни, ценить ее простые радости – вопреки всем горестям и тщете. Немецкий поэт, безусловно, усиливает гедонизм, присущий Экклесиасту, делает его почти безудержным. И если Экклесиаст настойчиво повторяет, что задача человека – делать благое и радоваться своим трудам (*Вот что я увидел благим и прекрасным: / Есть и пить, и видеть благо в своих трудах... (Еккл. 5:17)* [Ветхий Завет 1998: 51]), то Гюнтер усиленно провозглашает наслаждение жизнью, молодостью, свободой, вином и пивом – до полного упоения, что вряд ли соответствует установке Библии, но правдиво отвечает кипению сил юности: *Trinckt, biß euch das Bier besiegt, / Nach Manier der Alten* [Günther 1998: 551] («Пейте, пока вас не одолеет пиво, / На манер древних»). В каждой из студенческих песен поэт напоминает о неумолимом приближении последнего часа и призывает к радости и веселью (безусловно, в этом сказывается и влияние Эпикура, упоминаемого в текстах Гюнтера, но прежде всего – нестоицизма, нового стоицизма, преломленного через призму библейского мироощущения):

Brüder! wir / Sind ietzt hier, / Und wer weiß wie lange? / Jeder Schritt / Ist ein Tritt / Zu dem letzten Gange. / Nehmt die Wollust zum Voraus, / Und besucht das Freuden-Hauß, / Eh' ein ungewisser Tag / Uns der Bahre liefern mag [Günther 1998: 548].

(Братья! мы / Сейчас здесь, / И кто знает, как долго? / Каждый шаг / Есть приближение / К последнему пути. / Отдайтесь блаженству / И посетите дом радости, / Прежде чем неизвестный день / Доставит нас в могилу.)

Призывая посетить «дом радости», Гюнтер заодно спорит с Экклесиастом, утверждающим: *Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья (Еккл. 7:4)* [Ветхий Завет 1998: 54]. В конце своей короткой и неприкаянной жизни немецкий поэт будет корить себя за то, что не прислушивался к этому совету и часто злоупотреблял вином, посещая «дома веселья». В целом же ему чрезвычайно близко парадоксальное соединение обостренного трагизма, пессимизма и радости жизни, присущее Экклесиасту.

Мотивы Экклесиаста звучат и в любовной лирике Гюнтера, но закономерно важнейшую архитектурную роль для нее играет великая библейская книга о любви – Песнь Песней, лирико-драматическая любовно-эротическая религиозно-философская поэма, открытая заново немецкими поэтами начиная с первого целостного переложения на немецкий язык, выполненного М. Опицем. Как известно, Песнь Песней, с огромной силой раскрывающая иррациональную власть любви над человеком, ее преобразующую силу, несет в себе также многомерные духовно-

религиозные смыслы (см. подробнее: [Синило 2012]). Неслучайно сама любовь определяется в Песни Песней как *Божье пламя* (Песн. 8:6), как великий дар Божий миру и человеку: *И не могут многие воды любовь погасить, / Не затопит ее рекам. // Кто захочет всем богатством своим заплатить за любовь – / Того наградят презреньем* (Песн. 8:7; здесь и далее перевод И. Дьяконова. – Г. С.) [Ветхий Завет 1998: 81]. Именно любовь, которая «сильна, как смерть» (Песн. 8:6), противостоит смерти – любовь человеческая и Божественная. Иудейская и христианская традиции прочитывают Песнь Песней как аллегорический и мистический текст, описывающий взаимоотношения любви между Богом и общиной верных Ему людей (Всевышним и Общиной Израиля, Христом и Церковью Христовой), между Богом и душой человеческой, между Всевышним и Его Шехиной – имманентностью Бога миру, женским началом в Нем (последнее – в каббалистической мистике, оказавшей влияние на мистику христианскую). Песнь Песней стал воистину «культовым» текстом для еврейской и христианской мистической поэзии (в Германии – особенно для Ф. Шпее, Ангелуса Силезиуса, К. Кульмана), а также для светской любовной поэзии, имеющей, тем не менее, мистическую подцветку, соединяющую любовь и святость (у М. Опица, П. Флеминга, А. Грифиуса и др.). Сама поэтика Песни Песней, отличающаяся соединением конкретности и сложной символики, наглядностью и эмблематичностью метафорики, особой экспрессивностью и динамичностью, пластической текучестью образов, оказалась очень родственной поэзии барокко, а ее свежая и наивная чувственность, пафос единения девственной природы и любящих сердец – поэзии рококо и штюрмерской эстетике (особенно Гёте).

Песнь Песней становится своеобразным внутренним «кодом» любовной лирики Гюнтера, в которой особенно очевидно соединение традиций XVII в. и новаторства, открывающего дорогу новой поэзии XVIII в. В лирике Гюнтера ярко представлена традиция утонченной, изысканной, изощренно-метафоричной поэзии в духе маринизма и Второй Силезской школы (прежде всего К. Г. фон Гофмансвальдау) – от раннего стихотворения «На смерть его любимой Флави» («Auf den Tod seiner geliebten Flavie») до позднего цикла стихотворений «К Филлиде» («An die Phyllis»). Чаще всего в галантных стихотворениях Гюнтера звучит тема сладостности любовных страданий и глубинной связи любви и смерти, а также тема страстных поцелуев, и все это «подсвечено» фоном Песни Песней. Как и в библейской книге, любовь уподобляется пламени (Песн. 8:6) и определяется не только как вели-

чайшая радость, но и боль («...Ибо я любовью больна» – Песн. 2:5), как «сладкая смерть»: *Giff aus Feuer-voller Hand / Wird ein süsßer Tod genannt* («Aria. Auf eine gewisse Frau in B<rieg>») [Günther 1998: 766] («Яд из полной огня ладони / Будет сладкой смертью»). В арии «К своей разгневанной красавице» («An seine erzürnte Schöne») поэт сравнивает поцелуи возлюбленной со сладкой манной, росой Эдема и дерзко перефразирует слова героини Песни Песней, грезящей о том, чтобы любимый покоился меж ее грудей, как пучок мирры (Песн. 1:13), вкладывая в собственные уста пожелание, чтобы «снег выпуклых грудей» возлюбленной стал для него смертным одром: *Laß den Schnee gewölbter Brüste / Meine Todten-Bahre seyn!* [ibid.: 775].

Одновременно в любовной лирике Гюнтера очевидно звучат рокайльные мотивы, выражающиеся прежде всего в провозглашении любви в качестве естественного и основополагающего закона жизни, что весьма соответствует пафосу Песни Песней. Так, в стихотворении «К Зелинде» («An Selinden») поэт говорит о том, что любовь – «высшее благо жизни» (*der Erden höchstes Guth*), что «лишь она дает жизни жизнь» (*Sie giebt dem Leben erst das Leben* [ibid.: 792]). В «Ответном письме одной невесты к одному известному священнику [пастору]» («Antwort-Schreiben einer Braut an einen gewissen Pfarrer») Гюнтер устами героини протестует против церковного ханжества и отстаивает подлинную любовь, возможную только в единстве духовного и телесного. Поцелуи влюбленных делают их подлинно счастливыми, а жизнь – истинно сладкой: *Mein Liebster, den ich jetzo küsse, / Und der mich wieder zärtlich küßt, / Macht mir das Leben auch so süsse, / Als ein Hoch-würdig Aemtchen ist* [ibid.: 772]. Очень часто фоном любовного излияния становится устойчивая топика Песни Песней (ароматы, поцелуи, особые именованья влюбленных). Так, в большом стихотворении «На помолвку со своей Филлидой» («Auf die Verlobung mit seiner Phyllis») поэт включает в ряд метафор, обозначающих его возлюбленную, те именованья, которые звучат из уст жениха в Песни Песней: сестра (*Schwester*), невеста (*Braut*), голубка (*Taube*), подруга (*Freundin*): *Kind, Engel, Schwester, Schatz, Braut, Taube, Freundin, Licht! / Mein Stern, mein Trost, mein Hertz, mein Ancker, und mein Leben!* [ibid.: 823]. Тот же прием использован в стихотворении «К своей невесте» («An seine Braut»), где поэт выделяет курсивом в финальной строфе слова Песни Песней, добавляя к ним «мое Я»: *Meine Freundin, meine Taube, / Meine Schwester, ja mein Jch!* [ibid.: 827] («Моя подруга, моя голубка, / Моя сестра, да, мое Я!»).

В одном из поздних стихотворений – «Когда он вручил Филлиде кольцо с изображением черепа» («Als er der Phyllis einen Ring mit einem Todten-Kopffe überreichte») в переводе Л. Гинзбурга «При вручении ей перстня с изображением черепа» – Гюнтер органично соединяет типичную эмблематику барокко (черепа как эмблема бренности бытия), топику Песни Песней и топику Экклесиаста. В первой строфе (стихотворение состоит из двух десятистишных строф) поэт поясняет парадоксальное соединение любви и смерти в «знаке любви» – кольце. Варьируя мотив Песни Песней («Любовь, как смерть, сильна...» – Песн. 8:6), Гюнтер утверждает равную силу любви и смерти, их невероятную власть над всеми людьми, их противостояние и одновременно антиномичное единение:

Erschrick nicht vor dem Liebes-Zeichen, / Es trägt unser künftig Bild, / Vor dem nur die allein erleichen, / Bey welchen die Vernunft nicht gilt. / Wie schickt sich aber Eiß und Flammen? / Wie reimt sich Lieb' und Tod zusammen? / Es schickt und reimt sich gar zu schön, / Denn beyde sind von gleicher Stärke, / Und spielen ihre Wunder-Wercke / Mit allen, die auf Erden gehn [Günther 1998: 825].

(Не страшись этого знака любви. / Он несет в себе наш будущий образ, / Перед которым бледнеет только тот, / У кого нет разума. / Но как примиряются лед и пламя? / Как рифмуются любовь и смерть? / Они примиряются и рифмуются прекрасно, / Потому что оба – равной силы / И, играя, творят свои чудеса / Со всеми, кто живет на земле.)

Перевод Л. Гинзбурга достаточно точно и афористично передает главный смысл гюнтеровского текста и его поэтический дух:

Сей дар любви, сей дар сердечный – / Грядущий образ мой и твой. / Да не страшится разум вечный / Бесплотной тени гробовой! / Но как сроднить вас, лед и пламень, / Любовь и надмогильный камень, / Вас, буйный цвет и бранный прах? / Любовь и смерть, равна их сила, / Что все в себе соединила, / И мы – ничто – в ее руках [Немецкая поэзия 1976: 190].

Во второй строфе поэт поясняет эмблематику отдельных деталей кольца: золото – символ верности (золоту уподобляется в Песни Песней голова возлюбленного, его пальцы, весь его благородный облик); голубки – символы самих влюбленных (*Die Täubchen, wie vergnügt man sey* [Günther 1998: 825]; голубкой именуется героиня Песни Песней, голубям уподобляются глаза влюбленных; важный топос голубки «потерялся» в переводе Л. Гинзбурга); череп же напоминает о краткости жизни и неминуемой смерти, о том, что «в гробу всякое желание напрасно» (*Jm Grab*

ist aller Wunsch vergebens [ibid.]). Это прямой отклик Экклесиасту, утверждающему: *Ибо живые знают, что умрут, но мертвые ничего не знают... / А любовь их, и ненависть их, и зависть – это сгнуло давно... (Еккл. 9:5–6)* [Ветхий Завет 1998: 59]. Варьируя мотивы Экклесиаста, Гюнтер призывает помнить об этом, жить и любить, сколько достанет сил; и так как никто не знает, сколько ему еще осталось (*Так и человек не знает срока... (Еккл. 9:12)* там же: 60), ценить каждое мгновение жизни, наслаждаться любовью (*Наслаждайся жизнью с женщиной, которую любишь... (Еккл. 9:19)* [там же], упиваться страстными и «верными» поцелуями (*treuen Küssen*, тема «верных поцелуев», в свою очередь, навеяна Песнью Песней: *Да целует он меня поцелуями уст своих!* – Песн. 1:1 – дословный перевод наш. – Г.С.), которые продлевают жизнь, которые и есть бесценное мгновение жизни:

Jch gebe dir diß Pfand zur Lehre; / Das Gold bedeutet feste Treu, / Der Ring daß uns die Zeit verehere, / Die Täubchen, wie vergnügt mab sey; / Der Kopff erinnert dich des Lebens, / Jm Grab is taller Wunsch vergebens, / Drum lieb' und lebe, weil man kan, / Wer weiß, wie bald wir wandern müssen! / Das Leben steckt im treuen Küssen, / Ach fang den Augenblick noch an [Günther 1998: 825].

Кольцо исполнено значенья. / В червонном золоте кольца – / Нетленность чувства, жар влеченья, / Друг другу верность до конца. / А бедный череп к нам взывает: / В гробу желаний не бывает, / Ни жизни нет там, ни любви. / Мы строим на песке зыбучем! / Так торопись! В лобзанье жгучем / Миг ускользящий лови! [Немецкая поэзия 1976: 190]

Таким образом, в любовной лирике Гюнтера мотивы Экклесиаста и мотивы Песни Песней органично дополняют друг друга, помогая поэту выразить и трагичность жизни, и ее радость, полнее всего проявляющуюся в любви, силу любви, которая «сильна, как смерть», или даже сильнее смерти.

Особенно необычен на фоне любовной поэзии того времени цикл стихотворений Гюнтера, обращенных к Леоноре. Поэт не только шлет послания своей возлюбленной, но и перелагает на стихи ее ответы. Эти стихи образуют своего рода лирический роман, исполненный живых чувств, трогательный и грустный, непонятный вне реалий быта и нравов того времени. Это история любви двух бедных людей, которые не могут соединиться ввиду тяжелых материальных обстоятельств. Леонора живет на попечении родственников и ждет, когда же ее возлюбленный сможет наконец-то вызволить ее из этой униженной ситуации, жениться на ней. Поэт также жаждал этого, заклиная Леонору не забывать его,

пока он учится и скитается в поисках заработка. Но у этой истории любви грустный финал: поэт вынужден отказаться от своей Леоноры, ибо так и не может найти места под солнцем, не может обречь возлюбленную на нищенскую и скитальческую участь. В стихотворениях Гюнтера разворачивается целая гамма чувств: радость взаимной любви и ревность, страдания в разлуке и надежда на встречу. При всей простоте языка здесь есть место для утонченной эротичности и галантной шутки. Новаторство поэта заключается в том, что он воспекает не отвлеченную пастушку или галантную красавицу, но совершенно реальную девушку по имени Магдалена Элеонора Яхман, для которой изобретает массу ласкательных имен: Леонора, Онорела, Магдалис, Ленхен и др. Как отмечает немецкий литературовед Ф. Мартини, в стихах Гюнтера выявляется «страсть подлинной любви», а у его Леоноры «действительно есть тело и душа» [Martini 1991: 168]. Стихи к Леоноре отличаются поразительной искренностью интонации, необычайной свежестью и разнообразием чувств. В них выявляются не только рокайльные тенденции (прежде всего в исследовании интимной, частной жизни человека), но и первые ростки чувствительного направления в немецкой литературе, выражающиеся в глубоком интересе к жизни души, в трогательном изображении переживаний влюбленных. Неслучайно Гюнтера считают первым поэтом, у которого сложилось то, что затем назовут «лирикой переживания» (*Erlebnislyrik*) и что в полной мере будет представлено в творчестве молодого Гёте.

Стихи к Леоноре также пронизывает топка Песни Песней, которая помогает поэту выразить силу и страстность чувств и одновременно вывести свою любовь на уровень вечности. Часто Гюнтер изящно играет библейскими образами, игриво (в духе рококо) вводит их в иронически-шутливый контекст. Так, многочисленные плоды (гранаты, гроздья винограда, яблоки) символизируют в Песни Песней созревшую для любви красоту девушки, которой наслаждается влюбленный. Гюнтер же шутливо жалуется, что эти плоды его только ранят, потому что он наслаждается ими глазами, но не может попробовать на вкус; они для него – запретный плод, лишь разжигающий «печальный аппетит» («Как ему недостает того, что он любит» – «Als er das, was er liebte entbehren musste»):

Deiner Schönheit reife Früchte / Martern mich ja auch zu scharff, / Denn sie sind nur Schau-Gerichte, / Die mein Mund nicht kosten darff: / O betrübter Appetit, / Der verbothne Früchte sieht!
[Günther 1998: 842]

Отсылка к Песни Песней, где героиня, ее целомудренная красота, сберегаемая для жениха, уподоблена замкнутому саду с множеством плодов и ароматов («Замкнутый сад – сестра моя, невеста, / Замкнутый сад, запечатанный источник. // Твоя поросль – гранатовая роща с сочными плодами, / С хною и нардом. // Нард и шафран, / Аир и корица, / И все ладановые деревья, / Мирра и алоэ / И весь лучший бальзам!» – *Песн. 4:12–14*) [Ветхий Завет 1998: 74–75]), где девушка в любовных грезах призывает возлюбленного отведать «плодов» любви («Пусть войдет мой милый в свой сад, / Пусть вкусит его сочных плодов!») (*Песн. 4:16*) [там же: 75], см. также *Песн. 7:14*), соединяется у Гюнтера с прозрачной и слегка ироничной аллюзией на знаменитое место в Книге Бытия, где Господь запрещает людям вкушать плод с Древа Познания добра и зла (*Быт. 2:16–17*).

Возлюбленная часто именуется поэтом «голубкой», «прекрасной голубкой» (см., например: «Как он наконец отважился открыть свою любовь» – «Als er endlich sich wagte Jhr seine Liebe zu entdecken», «К своей прекрасной» – «An seine Schöne», «Любовная печаль» – «Der verliebte Kummer» [Günther 1998: 845, 857, 860] и др.). Столь же частотны топоры, связанные с поцелуями, их медовой сладостью («Сотовым медом текут твои губы, невеста, / Мед и млеко под твоим языком...») – *Песн. 4:11* [Ветхий Завет 1998: 74]), с ароматами любви (нардом или миррой), с особым «садом любви», который интерпретируется и в религиозной традиции (иудейской и христианской) как сад сакральных знаний и Царство Божье. При этом в христианской иконографии именно в саду из роз изображается Дева Мария (она понимается под героиней Песни Песней в ее мариологическом прочтении). Роза – цветок Девы Марии, но одновременно и древний символ жизни и смерти (например, в египетской культуре), символ любви. В силу этого сад у Гюнтера чаще всего именуется «садом роз» (*Rosen-Garthen*) и соединяет в себе «сад любви» и «сад вечности», ведь познавший истинную любовь уже приобщен к вечности, уже пребывает в Раю. В позднем цикле к Леоноре в стихотворении «На отъезд из Дрездена в свою любимую Силезию» («Auf der abreise von Dreßden in sein geliebtes Schlesien»), написанном 2 сентября 1719 г., поэт говорит, вспоминая о своей любви: *Dort saß ich noch im rosen-garthen, / dort wüntscht ich nichts als Ewigkeit* [Günther 1998: 873] («Там сидел я в саду роз, / там не желал я ничего, кроме вечности»). Он надеется при этом, что окажется со своей любимой в земном раю, когда Господь и время утишат страдания и соединят влюбленных под миртами: *Und darum hoff' ich auch ein*

irrdisch Himmelreich, / Wenn endlich Gott und Zeit die Sehnsucht stillen wollen, / Und unsre Glieder sich in Myrthen paaren soll («An sein Lenchen») [Günther 1998: 880]. Поэт надеется на счастье со своей возлюбленной в «хижинах» («шалашах»): *...mit dir in Hütten seelig werden* [ibid.: 881]. Р. Бёльхоф трактует это как противостояние хижин и дворцов, отсылающее к библейскому фону, где «хижины со времен блуждания Израиля в пустыне оцениваются позитивно (к примеру, *Пс. 91:10; 118:15; Откр. 21:3*)» [Böhlhoff 1997: 1517]. Заметим, однако, что здесь можно усмотреть и отсылку к словам героини Песни Песней, которая призывает своего возлюбленного: «Пойдем, мой милый, выйдем в поля, / Заночуем в селеньях...» (*Песн. 7:12*). Стоящее в оригинале *бакфарим* может быть понято и как «в цветах хны» («среди коферов»), и как «в селеньях», т. е. в хижинах (именно так это будут понимать немецкие просветители, прежде всего И. Г. Гердер).

Лейтмотивом стихов к Леоноре является также отсылающее к Песни Песней (*Песн. 8:6*) «пламя любви» (*die Flammen unsrer Liebe* 'пламена нашей любви' – «*Versicherung der Beständigkeit*», «уверение в постоянстве» [Günther 1998: 884]), противостоящее злым ветрам, ненависти и, конечно, смерти (подробнее о семиотике любви и смерти у Гюнтера см.: [Kaminski 1997]). Швейдниц, где родилась их с Леонорой любовь, поэт сравнивает с образом врат Иерусалима – Небесного Града, символа Мессеианской эры: *Ach! Schweidniz, ach! Du Bild von Salems Thoren, / Du Lust-Platz meiner jungen Zeit...* [Günther 1998: 898] (Ах, Швейдниц, ах! ты образ врат Салима, / Ты место блаженства моей юности...). Благодаря многочисленным библейским аллюзиям и прежде всего топике Песни Песней в стихах к Леоноре достигается то особое единство любви и святости, которое свойственно библейской поэме о любви, а сама история любви двух простых людей обретает сакральные подтексты.

Совершенно закономерно Песнь Песней становится (наряду с античной эпиграммой) одним из генеральных архетекстов свадебных песен или свадебных стихотворений (*Hochzeitgedichte*) Гюнтера, которые он писал по заказу как стихи на случай. С легкой руки Оригена Александрийского, заложившего основы христианской аллегорической и мистической интерпретации Песни Песней, библейская книга понимается как эпиграмма, свадебная песнь, написанная Соломоном к его свадьбе с египетской царевной, но воспевающая прежде всего его любовь к Премудрости Божьей, и одновременно как буколика, в которой обмениваются песнями Христос и Церковь Христова, Бог и душа человека. В свадебных стихо-

творениях Гюнтера органично соединяются план земной и небесный, любовь и брак обретают сакральный статус. Это достигается именно за счет топике Песни Песней, прямого или аллюзивного ее цитирования.

После 1720 г., после тяжелой весны, существования на грани жизни и смерти, в поэзии Гюнтера наступает перелом: усиливаются трагические и религиозно-мистические мотивы. Душа поэта ведет диалог с Богом, то принося покаяние, то задавая дерзкие вопросы, подобные вопросам библейского Иова. Это такие стихотворения, как «Покаянные мысли о состоянии мира» («*Bussgedanken über den Zustand der Welt*»), «Верность духа Богу» («*Die Zuversicht des Geistes dem Gott*»), «К Богу» («*An Gott*»), «Как был он через внутреннее утешение укреплен в своем нетерпении» («*Als er durch innerlichen Trost bey der Ungeduld gestärket wurde*»). Они образуют своеобразный цикл, в центре которого – проблема теодицеи, проблема осмысленности мира и оправдания Бога перед лицом самого страшного и непонятного зла – страданий праведных и невинных. Поэт остро чувствует всю несправедливость мира, иронизирует над собой и этим обезбоженным миром и одновременно страстно жаждет Бога, жаждет истины. Безусловно, главным архетекстом для поздних религиозных стихотворений Гюнтера становится Книга Иова (см. подробнее: [Bütler-Schön 1982; Stenzel 1995]), но одновременно это развитие мыслей Экклесиаста, в тексте которого неоднократно звучит горький вопрос теодицеи:

И то еще я увидел под солнцем: / Место суда – а там нечестье, / Место праведного – а там нечестивый (*Еккл. 3:16*); И еще увидел я все угнетение, творимое под солнцем: / Вот слезы угнетенных – а утешителя нет им, / А в руке угнетателей их – сила, и утешителя нет им! (*Еккл. 4:1*); Всякое я видел в мои тщетные дни: / Есть праведник, гибнущий в праведности своей, / И есть нечестивец, долговечный в своих злодеяниях (*Еккл. 7:15*) [Ветхий Завет 1998: 47, 48, 55].

Как и Экклесиаст, немецкий поэт ищет опоры в вере в Бога: только она позволяет преодолеть абсурдность мира. Он ищет утешения в мечте о Царстве Божьем, где душа страдальца обретет спасение и Божественную любовь. Закономерно эту идею утешения несет в себе мистически осмысленная топика Песни Песней, как и в его надгробных плачах: уходя в мир иной, душа, как Невеста Песни Песней, соединяется со Вселюбящим Отцом, Женихом, Вечным Возлюбленным.

Необычайно разнообразное по своим регистрам творчество Гюнтера стало живым мостом, связывающим две эпохи. Через еще во многом

риторический строй его поэтической речи пробивается живая индивидуальность. Остро личностное начало, бунтарские порывы, пронизывающие поэзию Гюнтера, искренность его языка будут особенно близки молодому штюрмерскому поколению. Гёте в «Поэзии и правде» отмечал, что Гюнтер «может быть назван поэтом в полном смысле слова. Он был наделен бесспорным талантом, пылким темпераментом, силой воображения, редкой памятью, умением схватывать и воссоздавать, поразительной творческой плодотворностью. Одухотворенный, остроумный, располагающий многообразными знаниями и редким ритмическим чутьем, он обладал всем для того, чтобы поэтическими средствами создавать вторую действительность рядом с обыденной, прозаической» [Гёте 1976: 223].

Создать неповторимый «второй мир» (Гёте) Гюнтеру во многом помог живой диалог с Библией, которую поэт призывал на помощь еще в драме «Феодосий», написанной для школьного театра в Швейднице: *Komm, wehrtes Bibel-Buch, du Ausbund aller Schriften...* [Günther 1998: 41] («Приди, верная книга Библии, кладезь [образец] всех сочинений...»). И уже здесь в числе самых высоких образцов поэт называет поэзию Песни Песней и Псалмов Давида: *...hier offenbart die Liebe / Der keuschen Sulamith die unverfälschten Triebe, / Hier spielt ein David auf...* [ibid.]. А в позднем большом программном стихотворении «Последние мысли Иоганна Кристиана Гюнтера» («Johann Christian Günthers letzte Gedanken»), насыщенном библейскими аллюзиями, поэт, напоминая о мучающей его, как и его великих предшественников, суете (*Eitelkeit*), обращает мысленный взор к вершинам духа и поэзии: *David's Seyten, Assaphs Harfe, und die schöne Sulamith, / Ruffen uns nach Zions Bergen, wo man Sarons Rosen tritt...* [ibid.: 242] («Давида струны, Асафа арфа и прекрасная Суламифь / Призывают нас на горы Сиона, где ступают по розам Сарона...»). Кроме Книги Псалмов и Книги Плача, еще две великие лирические книги Библии – Экклесиаст и Песнь Песней – выступают в качестве важнейших архетекстов, смысло- и текстопорождающих текстов в поэзии Гюнтера. Они являются для него постоянным источником интертекстуальности («текста в тексте»), паратекстуальности, архитекстуальности, определяя его жанрово-стилевые поиски. Мотивы Экклесиаста и Песни Песней пронизывают все жанры поэзии Гюнтера – надгробные плачи, духовные и студенческие песни, свадебные стихотворения, любовную лирику. Архитекстуальность, связанная с Экклесиастом и Песнью Песней, дает возможность поэту выразить трагичность своего времени и своей судьбы и надежду на преобра-

жение мира, силу любви, противостоящей бренности и смерти, соединить индивидуальное, лирику непосредственного переживания с универсальным, с вечными ценностями, не только синтезировать и углубить достижения поэзии барокко, но и проложить пути рококо и сентиментализму.

Примечание

¹ О спектре значений слова *hăbäl* в Библии в целом и у Экклесиаста см. подробнее: [Синило 2012: 105–109].

Список литературы

Аверинцев С. С. Арфа царя Давида: у истоков древнейшей лирической традиции // Иностранная литература. 1988. № 6. С. 189–195.

Ветхий Завет: Плач Иеремии; Экклесиаст; Песнь Песней / пер. и коммент. И. М. Дьяконова, Л. Е. Когана при участии Л. В. Маневича. М.: РГГУ, 1998. 343 с.

Гёте И. В. Из моей жизни. Поэзия и правда / пер. Н. Ман // Собр. соч.: в 10 т. / под общ. ред. А. Аникста и Н. Вильмонта. М.: Худож. лит., 1976. Т. 3. 718 с.

Немецкая поэзия XVII века / пер., сост., предисл. и примеч. Л. Гинзбурга. М.: Худож. лит., 1976. 208 с.

Самарин Р. М. И. Х. Гюнтер // История немецкой литературы: в 5 т. / под ред. Б. И. Пуришева, Р. М. Самарина, И. М. Фрадкина. М.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 1. С. 443–449.

Синило Г. В. Библия как «осевой» архетекст европейской литературы (на примере немецкой лирической поэзии) // Журн. Белорус. гос. ун-та. Филология. 2017. № 3. С. 19–29.

Синило Г. В. Книга Экклесиаста как «осевой» архетекст поэзии барокко // Журн. Белорус. гос. ун-та. Филология. 2018. № 2. С. 5–16.

Синило Г. В. Песнь Песней в контексте мировой культуры: в 2 кн. Кн. 1: Поэтика Песни Песней и ее религиозные интерпретации. Минск: Экономпресс, 2012. 680 с.

Синило Г. В. Экклесиаст и его рецепция в мировой культуре: в 2 ч. Минск: БГУ, 2012. Ч. 1: Предтечи, поэтика, религиозные интерпретации. 220 с.

Тураев С. В. Немецкая литература // История всемирной литературы: в 9 т. / редкол.: С. В. Тураев (отв. ред.) [и др.]. М.: Наука, 1988. Т. 5. С. 193–244.

Böhlhoff R. Kommentar // Günther J. Chr. Werke / hrsg. von R. Böhlhoff. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1998. S. 913–1548.

Bütler-Schön H. Dichtungsverständnis und Selbstdarstellung bei Johann Christian Günther. Bonn: Bouvier Verlag, 1980. 262 S.

Bütler-Schön H. Theodizeeproblem und Hiobnachahmung: Ein Beitrag zur Interpretation von Günthers Gedicht "Gedult, Gelaßenheit..." // Text + Kritik. 1982. № 74/75. S. 13–25.

Dahlke H. Johann Christian Günther: Seine dichterische Entwicklung. Berlin [Ost]: Rütten & Loening Verlag, 1960. 260 S.

Das Buch in den Büchern: Wechselwirkungen von Bibel und Literatur / hrsg. von A. Polaschegg und D. Weidner. München: W. Fink Verlag, 2012. 397 S.

Günther J. Chr. Werke / hrsg. von R. Bölhoff. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1998. 1596 S.

Kaminski N. Textualität des Erlebens und Materialität der Zeichen. Zu einer Semiotik der Liebe und des Todes in Johann Christian Günthers Liebesgedichten // Johann Christian Günther (1695–1723): Oldenburger Symposium zum 300. Geburtstag des Dichters / hrsg. von J. Stüben. München: Oldenbourg Verlag, 1997. S. 229–248.

Konrad U., Pape M. Johann Christian Günther in der Tradition der evangelischen Kirchenliteratur // Zeitschrift für die deutsche Philologie. 1981. No 100. S. 504–527.

Krämer W. Das Leben des schlesischen Dichters Johann Christian Günther (1695–1725). Mit Quellen und Anmerkungen zum Leben und Schaffen des Dichters und seiner Zeitgenossen. Stuttgart: Klett-Gotta Verlag, 1980. 619 S.

Martini F. Deutsche Literaturgeschichte. Stuttgart: Kröner Verlag, 1991. 765 S.

Osterkamp E. Das Kreuz des Poeten: zur Leidensmetaphorik bei Johann Christian Günther // Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 1981. № 55. S. 278–292.

Stenzel J. Ein anderer Hiob: Johann Christian Günthers Klagegedicht *Als er durch innerlichen Trost bey der Ungeduld gestärcket wurde* // Gedichte und Interpretationen: in 6 Bd. Stuttgart: Philipp Reclam jun. Verlag, 1995. Bd. 1: Renaissance und Barock / hrsg. von V. Meid. S. 405–414.

Stüben J. (Hrsg.) Johann Christian Günther (1695–1723): Oldenburger Symposium zum 300. Geburtstag des Dichters. München: Oldenbourg Verlag, 1997. 436 S.

Sutherland C. S. The lyric poetry of Johann Christian Günther as a paradigm of the transition from Baroque to Enlightenment: Thesis (PhD). London: Goldsmith's College (University of London), 1991. URL: <https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.307981> (дата обращения: 20.05.2019).

Winkler J. Sh. Johann Christian Günther – A Study in Contrasts and Controversy: Diss. Princeton (New Jersey): Princeton University, 1963.

References

Averintsev S. S. Arfa tsarya Davida: U istokov drevneyshey liricheskoy traditsii [The harp of King David: At the origin of the oldest lyrical tradition]. *Inostrannaya Literatura* [Foreign Literature], 1988, issue 6, pp. 189–191. (In Russ.)

Vetkhiy Zavet: Plach Ieremii; Ekklesiast; Pesn' Pesney [The Old Testament: The Lamentations of Jeremiah; Ecclesiastes; The Song of Songs]. Transl. and notes by I. M. D'yakonov, L. E. Kogan, L. V. Manevich. Moscow, Russian State University for the Humanities Press, 1998. 343 p. (In Russ.)

Goethe J. W. Iz moey zhizni. Poeziya i pravda [From my life. Poetry and truth]. Transl. by N. Man. Goethe J. W. *Sobraniye sochineniy: v 10 t.* [Collected Works: in 10 vols.]. Ed. by A. Anikst and N. Vilmont. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1976, vol. 3. 718 p. (In Russ.)

Nemetskaya poeziya 17 veka [The German poetry of the 17th century]. Ed., comp., preface and notes by L. Ginsburg. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1976. 208 p. (In Russ.)

Samarin R. M. I. Kh. Gyunter [J. Chr. Günther]. *Istoriya nemetskoy literatury: v 5 t.* [The History of German Literature: in 5 vols.]. Ed. by B. I. Purishev, R. M. Samarin, I. M. Fradkin. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1962, vol. 1, pp. 443–449. (In Russ.)

Sinilo G. V. Bibliya kak 'osevoy' arkhitekt evropeyskoy literatury (na primere nemetskoy liricheskoy poezii) [The Bible as the 'axial' archetext of European literature (by the example of German lyric poetry)]. *Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya* [Journal of the Belarusian State University. Philology], 2017, issue 3, pp. 19–29. (In Russ.)

Sinilo G. V. Kniga Ekklesiasta kak 'osevoy' arkhitekt poezii barokko [The book of Ecclesiastes as "axial" archetext of the Baroque poetry]. *Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya* [Journal of the Belarusian State University. Philology], 2018, issue 2, pp. 5–16. (In Russ.)

Sinilo G. V. *Pesn' Pesney v kontekste mirovoy kultury: v 2 kn. Kn. 1: Poetika Pesni Pesney i ee religioznye interpretatsii* [The Song of Songs in the context of world culture: in 2 books. Book 1: The Poetics of The Song of Songs and its religious interpretations]. Minsk, Econompres Publ., 2012. 680 p. (In Russ.)

Sinilo G. V. *Ekklesiast i ego retseptsiya v mirovoy culture: v 2 ch.* [Ecclesiastes and its reception in world culture: in 2 pts.]. Minsk, Belarusian State University Press, 2012, pt. 1: *Predtechy, poetica, religioznye interpretatsii* [Precursors, poetics, religious interpretations]. 220 p. (In Russ.)

Turaev S. V. Nemetskaya literatura [German Literature]. *Istoriya vsemirnoy literatury: v 9 t.* [The history of world literature: in 9 vols.]. Ed. by S. V. Turaev and et al. Moscow, Nauka Publ., 1988, vol. 5, pp. 193–244. (In Russ.).

Böhlhoff R. Kommentar. Günther J. Chr. *Werke*. Publ. by R. Böhlhoff. Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker Verlag, 1998, pp. 913–1548. (In Germ.).

Bütler-Schön H. *Dichtungsverständnis und Selbstdarstellung bei Johann Christian Günther*. Bonn, Bouvier Verlag, 1980. 262 p. (In Germ.).

Bütler-Schön H. Theodizeeproblem und Hiobnachahmung: Ein Beitrag zur Interpretation von Günthers Gedicht 'Gedult, Gelaßenheit...'. *Text + Kritik*, 1982, issue 74/75, pp. 13–25. (In Germ.).

Dahlke H. *Johann Christian Günther: Seine dichterische Entwicklung*. Berlin [Ost], Rütten & Loening Verlag, 1960. 260 p. (In Germ.).

Polaschegg A, Weidner D. (eds.) *Das Buch in den Büchern: Wechselwirkungen von Bibel und Literatur* [The Book in Books: Interactions of Bible and Literature]. Munich, W. Fink Verlag, 2012. 397 p. (In Germ.).

Günther J. Chr. *Werke*. Publ. by R. Böhlhoff. Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker Verlag, 1998. 1596 p. (In Germ.).

Kaminski N. Textualität des Erlebens und Materialität der Zeichen. Zu einer Semiotik der Liebe und des Todes in Johann Christian Günthers Liebesgedichten. Stüben J. (Publ.). *Johann Christian Günther (1695–1723): Oldenburger Symposium zum 300. Geburtstag des Dichters*. München, Oldenbourg Verlag, 1997, pp. 229–248. (In Germ.).

Konrad U., Pape M. Johann Christian Günther in der Tradition der evangelischen Kirchenliteratur.

Zeitschrift für die deutsche Philologie, 1981, issue 100, pp. 504–527. (In Germ.).

Krämer W. *Das Leben des schlesischen Dichters Johann Christian Günther (1695–1725). Mit Quellen und Anmerkungen zum Leben und Schaffen des Dichters und seiner Zeitgenossen*. Stuttgart, Klett-Gotta Verlag, 1980. 619 p. (In Germ.).

Martini F. *Deutsche Literaturgeschichte*. Stuttgart, Kröner Verlag, 1991. 765 p. (In Germ.).

Osterkamp E. Das Kreuz des Poeten: zur Leidensmetaphorik bei Johann Christian Günther. *Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*. 1981, issue 55, pp. 278–292. (In Germ.).

Stenzel J. Ein anderer Hiob: Johann Christian Günthers Klagegedicht "Als er durch innerlichen Trost bey der Ungeduld gestärcket wurde". Meid V. (Publ.). *Gedichte und Interpretationen*: in 6 Bd. Stuttgart, Philipp Reclam jun. Verlag, 1995, vol. 1, pp. 405–414. (In Germ.).

Stüben J. (Publ.) *Johann Christian Günther (1695–1723): Oldenburger Symposium zum 300. Geburtstag des Dichters*. Munich, Oldenbourg Verlag, 1997. 436 p. (In Germ.).

Sutherland C. S. *The lyric poetry of Johann Christian Gunther as a paradigm of the transition from Baroque to Enlightenment*: Thesis (PhD). London, Goldsmith's College (University of London) Press, 1991. Available at: <https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.307981> (accessed 20.05.2019). (In Eng.)

Winkler J. Sh. *Johann Christian Günther – A Study in Contrasts and Controversy*: Diss. Princeton (New Jersey), Princeton University, 1963. (In Eng.)

**THE MOTIFS OF 'ECCLESIASTES' AND 'THE SONG OF SONGS'
IN J. CHR. GÜNTHER'S POETRY
(on the Issue of Biblical Archetextuality)**

Galina V. Sinilo

**Professor in the Department of Cultural Studies,
Associate Professor in the Department of Foreign Literature**

Belarusian State University

4, Nezavisimosti prospekt, Minsk, 220030, Republic of Belarus. sinilo@mail.ru

SPIN-code: 4945-2985

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2430-4538>

Submitted 29.05.2019

The problem of correlation between literature and the Bible is one of the relevant issues of contemporary literature studies, with the Bible being an 'axial' archetext of the European culture and literature, an ancient text of a crucially high axiological and aesthetical importance, performing the function of meaning- and text-generation. This research paper is focused on the investigation of the archetextual function of *The Book of Ecclesiastes* and *The Song of Songs* in J. Chr. Günther's (1695–1723) poetry. The concept of dialogue of cultures, especially 'the dialogue of texts' (M. Bakhtin), as well as the theory of intertextuality (J. Kristeva, R. Barthes, G. Genette) provide theoretical and philosophical basis for the investigation. We employ a combination of cultural, historical, biographical, comparative, hermeneutic, structural and holistic analysis methods.

Günther is constantly engaged in dialogue with the Bible, no matter in what genre he creates his poetry. He is often guided by the Biblical poetics. *The Book of Ecclesiastes* became highly consonant with the poetry of Baroque, as it investigates tragic antinomies of the world and in a paradoxical way connects the idea of vanity and absurd of life with the call for getting joy and pleasure from its every moment. Günther preserves the features of the Baroque worldview to a large extent, therefore the motifs of *Ecclesiastes* naturally permeate his lyrical poetry (spiritual and student songs, love and philosophical poems). Günther's hedonism is stronger in comparison to that of the ancient Hebrew poet and the Baroque poets of the 17th century. However, his hedonism is that of a new type as it is built on the reasonable nature of a human and the natural pursuit of happiness, which is first of all seen in the poet's student songs (*Studentenlieder*), being the first works of Rococo in German poetry. The new hedonism together with the motifs of the vanity of life, seen through the topoi of *The Book of Ecclesiastes* and *The Song of Songs*, manifests itself in Günther's innovative love poetry, standing out due to its special confessional manner. In the late works of Günther, reflections on the irresolvable problem of theodicy from the perspective of *The Book of Job* and *The Book of Ecclesiastes* are intensifying and becoming organically interwoven with the aspiration to redemption and Divine love in the world. Therefore, the poet refers to the mystically understood topoi of *The Song of Songs*. The Biblical archetextuality allowed Günther to express his individuality and the problems of human spirit in a deeper way during the difficult and life-changing period of time.

Key words: German poetry of the beginning of the 18th century; J. Chr. Günther; Bible; Book of Ecclesiastes; Song of Songs; archetext; archetextuality; Baroque; Rococo.

Научный периодический журнал «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» зарегистрирован в 2009 г. как самостоятельное издание, объединяющее две серии журнала «Вестник Пермского университета», издаваемого с 1994 г. («Филология» и «Иностранные языки и литературы»).

Цель журнала «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» – освещение новых результатов научной деятельности российского и зарубежного научного сообщества в области современной филологической науки; содействие развитию теоретических и практических исследований в области социогуманитарного знания; установление и укрепление научных связей между учеными из различных регионов России и других стран. Журнал публикует проблемные статьи и аналитические обзоры по актуальным вопросам современной филологической науки; результаты теоретических, экспериментальных и практических исследований в области языкознания, литературоведения, журналистики, методики преподавания языков и литератур; рецензии на научные публикации; хронику научных событий, сообщения о достижениях ведущих научных школ. Одна из задач журнала – формирование тематических научных площадок для обмена мнениями, предложениями и опытом в данных научных областях. Научный журнал «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» публикует качественные, оригинальные авторские исследования, ранее нигде не публиковавшиеся.

Полнотекстовая версия выставляется на сайте <http://press.psu.ru/index.php/philology> и на сайте НЭБ [Elibrary.ru](http://elibrary.ru).

С 19.02.2010 журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (10.01.01 – Русская литература, 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы), 10.01.08 – Теория литературы. Текстология, 10.01.09 – Фольклористика, 10.01.10 – Журналистика, 10.02.01 – Русский язык, 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи), 10.02.03 – Славянские языки, 10.02.04 – Германские языки, 10.02.14 – Классическая филология, византийская и новогреческая филология, 10.02.19 – Теория языка, 10.02.20 – Сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное языкознание, 10.02.21 – Прикладная и математическая лингвистика).

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ

Рукопись сопровождается внешней рецензией специалиста в исследуемой области, имеющего степень кандидата или доктора наук и не являющегося сотрудником вуза автора. Подпись рецензента заверяется в отделе кадров по месту работы. Авторы, не имеющие ученой степени, представляют, кроме внешней рецензии, отзыв научного руководителя, подписанный и заверенный по месту его работы. В рецензии и отзыве должны быть указаны полностью ФИО, ученая степень, должность, место работы и электронный адрес рецензента. Аспиранты дополнительно представляют официальную справку о сроках обучения в аспирантуре с указанием контактного телефона зав. отделом аспирантуры, подписавшим его документ.

Все три документа с печатями могут присылаться по почте или в сканированном виде отправляться на электронный адрес редакции вместе со статьей. Письмо с вложенными файлами должно быть отправлено с адреса, указанного в сведениях об авторе, и сопровождаться следующим текстом: «Передавая статью в научный журнал “Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология”, я гарантирую, что статья создана мной лично и не была ранее опубликована. Согласен на размещение статьи на сайте “Вестника” <http://press.psu.ru/index.php/philology/index>. Беру на себя полную ответственность за соблюдение авторских прав в отношении используемых мной материалов» (в случае частичной публикации представляемой статьи здесь должны быть указаны сведения об уже опубликованном фрагменте и месте его публикации).

Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 1–6 месяцев. Окончательное решение о публикации статьи принимается редколлегией и главным редактором. Члены международного редакционного совета или редколлегии даже при наличии положительной рецензии могут обратиться к главному редактору с предложением о дополнительном рецензировании статьи. В этом случае назначаются три эксперта из состава редколлегии или совета для подготовки обоснованного заключения. В случае отрицательного решения автору рукописи направляется мотивированный отказ от имени редколлегии. Рукопись, сопровождаемая внутренней рецензией, может быть отправлена автору на доработку для устранения замечаний. Срок доработки не ограничен. Статья, не соответствующая требованиям, предъявляемым к публикациям, вторично на доработку не отправляется. Статьи аспирантов, одобренные редколлегией, публикуются бесплатно.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ

Рукопись объемом от 20 до 40 тыс. знаков, оформленная в соответствии с выложенной на сайте ФОРМОЙ, должна поступить вместе с ПАСПОРТОМ СТАТЬИ и со всеми указанными выше документами по электронному адресу langlit2009@mail.ru (попросите отправить подтверждение). Основной текст может быть написан на русском или английском языках. **Правила оформления рукописей помещены на сайте журнала в разделе «Руководство для авторов».**

Главный редактор – Ирина Александровна Новокрещенных. Зам. гл. редактора – Ирина Ивановна Русинова, Наталья Валерьевна Шутемова, администратор сайта – Алексей Васильевич Пустовалов, контент-редактор англоязычной версии сайта – Екатерина Владимировна Исаева.

Адрес редакции: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 5, ауд. 28 (Лаборатория региональной лексикологии и лексикографии, тел. (342)2396795), ауд. 111 (Лаборатория сравнительно-исторических исследований и культурных инноваций, тел. (342)2396290).

Научное издание

**Вестник Пермского университета
Российская и зарубежная филология**

Том 11. Выпуск 3 / 2019

Редакторы *Л. А. Богданова, О. И. Кирьянова*
Корректоры *Л. А. Семицетова, Е. В. Шумилова*
Компьютерная верстка: *Л. С. Нечаева*
Макет обложки: *Т. А. Басова*

Подписано в печать 20.09.2019. Дата выхода в свет 27.09.2019
Формат 60×84/8. Усл. печ. л. 17,09. Тираж 500 экз. Заказ 138



Издательский центр
Пермского государственного
национального исследовательского университета
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Типография
Пермского государственного
национального исследовательского университета
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Подписной индекс журнала
«Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология»
в общероссийском каталоге «Пресса России» – 41008

Распространяется бесплатно и по подписке

